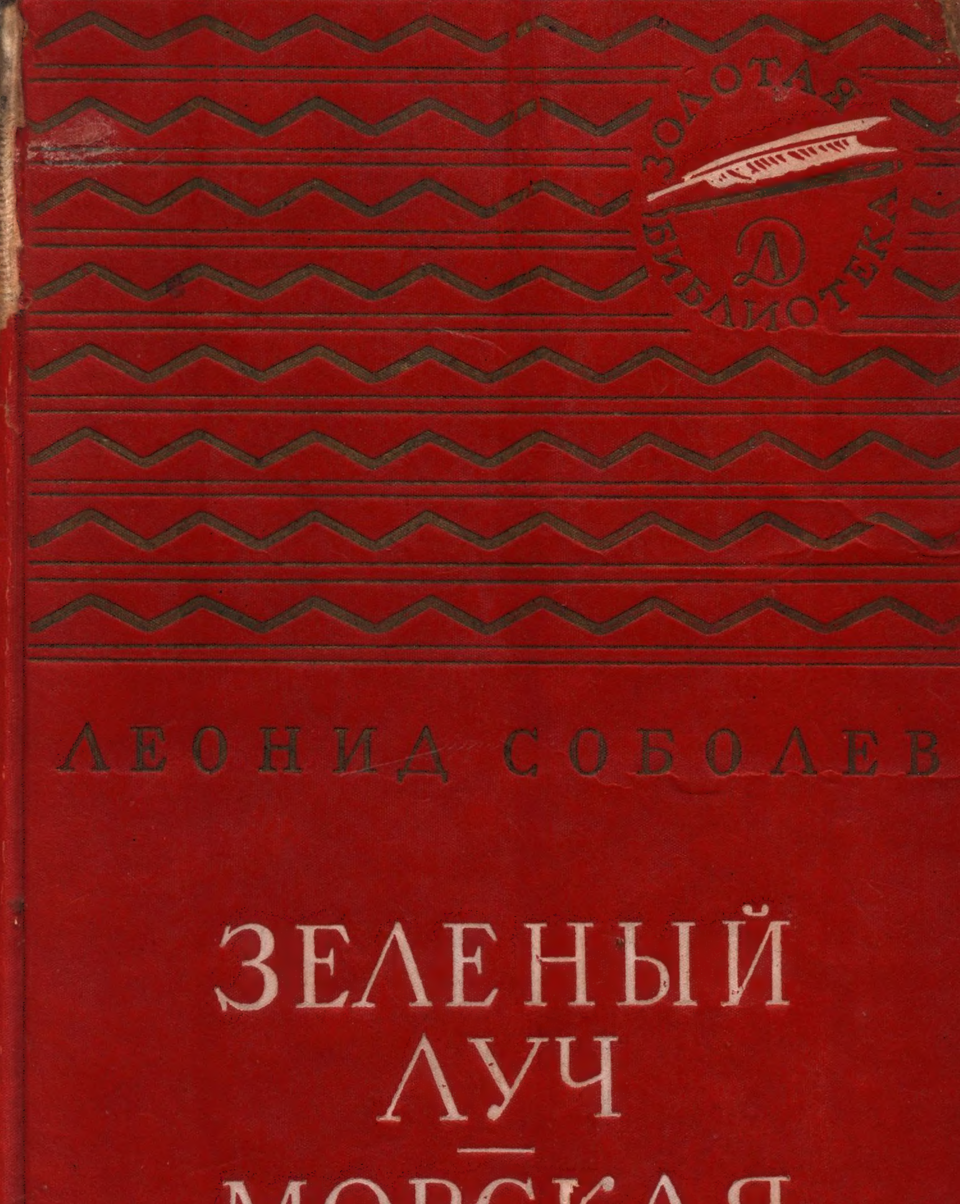
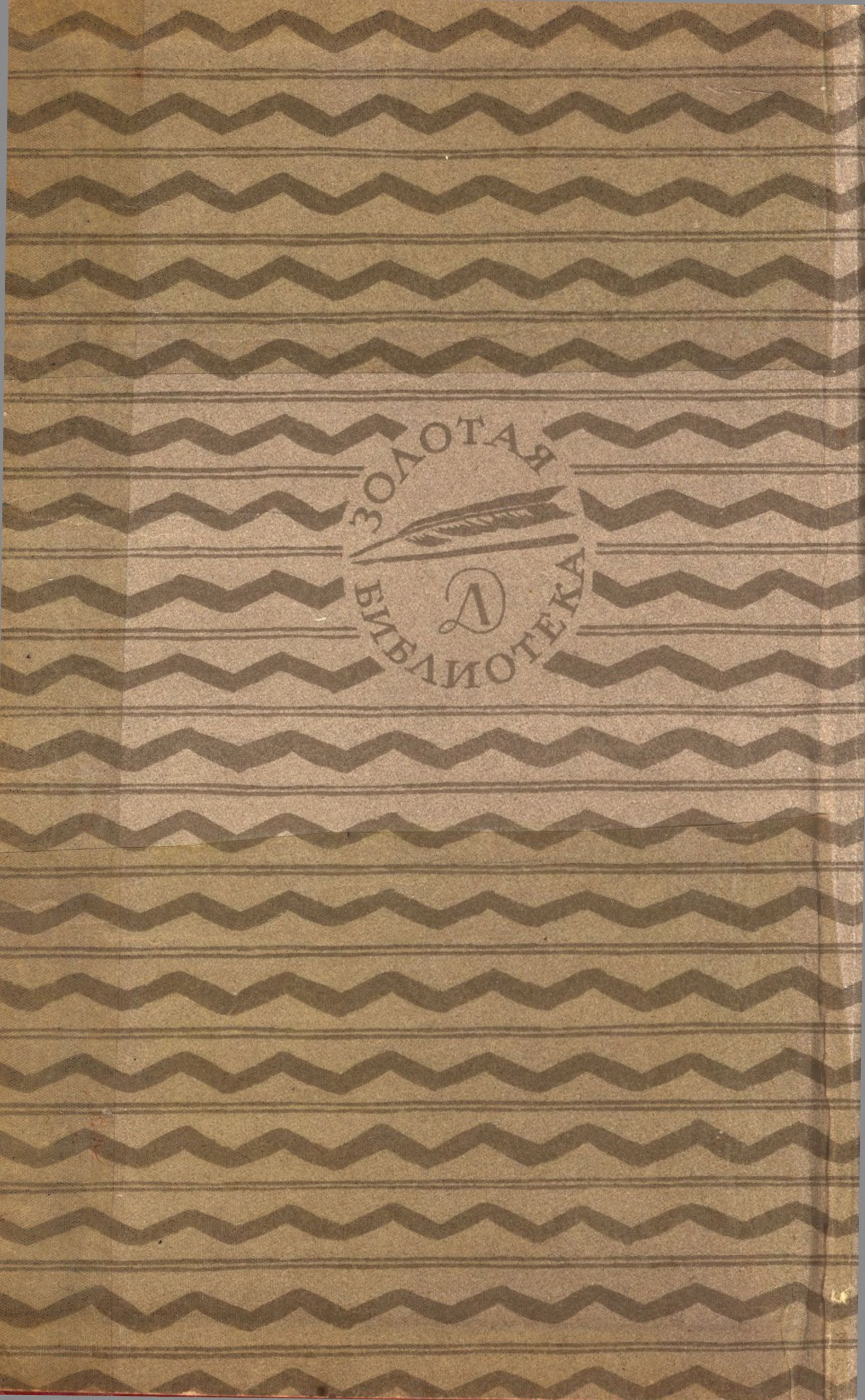


ЛЕОНИД СОБОЛЕВ

ЗЕЛЕНЫЙ ЛУЧ
—
МОРСКАЯ ДУША


ЗОЛОТАЯ
БИБЛИОТЕКА
Д

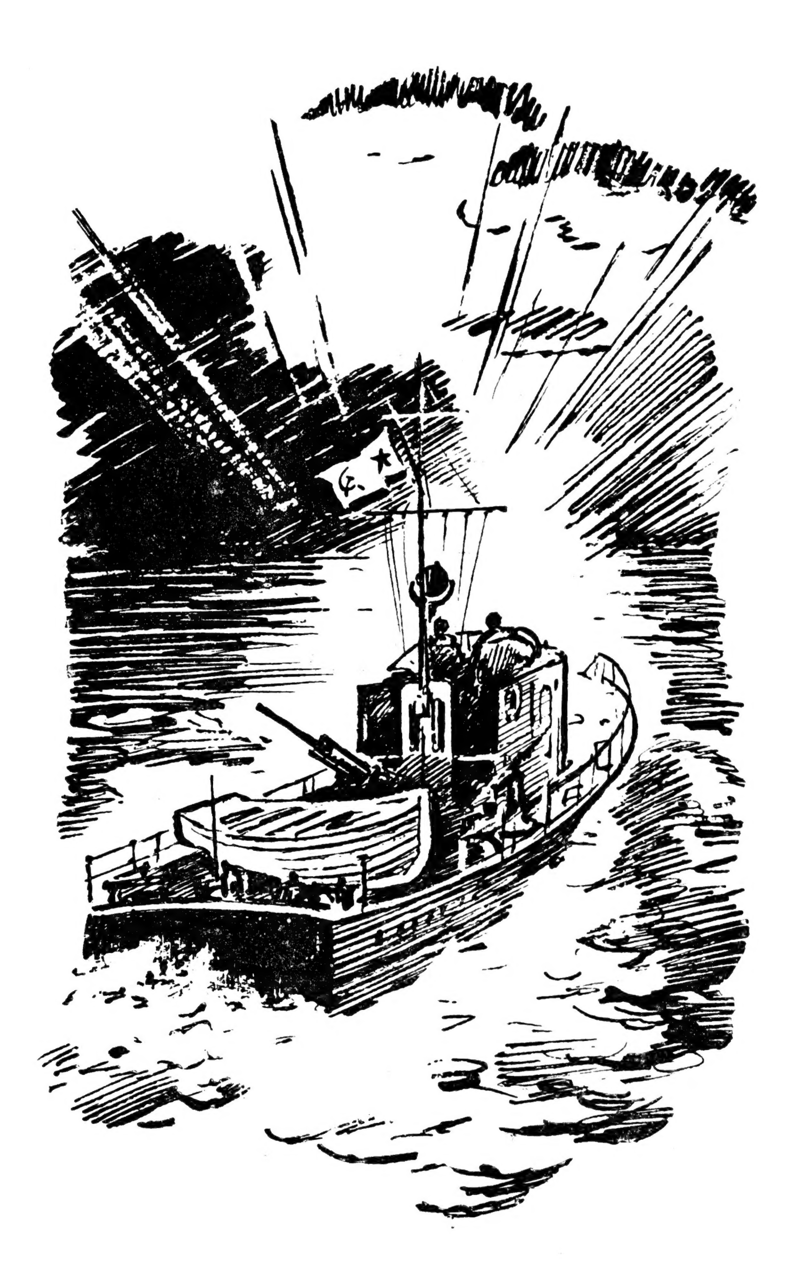

ЗОЛОТАЯ
Д
БИБЛИОТЕКА



Избранные произведения для детей и юношества

ЗЕЛЕНЫЙ ЛУЧ

Повесть





Неизменному другу — О. И.

Глава первая

Сторожевой катер «0944» шел к занятому противником берегу для выполнения особого задания в глубоком тылу врага.

На Кавказском побережье стояла ранняя весна, но в море ее сейчас не чувствовалось: солнце, опускавшееся к горизонту, уже не согревало воздуха, отчего встречный ветерок был почти холодным. Море медленно вздыхало длинной зыбью вчерашнего шторма, и шедший под всеми тремя моторами катер свободно ее обгонял. Пологая ленивая волна, вспоротая форштевнем, плавно проносилась вдоль бортов, едва успевая накренить уходящий от нее кораблик, а за кормой, где винты подхватывали ее, мяли и вскидывали, она вставала высоким пенящимся буруном, и казалось, что именно здесь, в бурлении растревоженной

воды, и рождается то низкое, мощное рычание, которым сопровождался стремительный ход катера.

Нет лучшей музыки для командирского уха, чем этот уверенный голос боевого корабля. Сильное и красивое трезвучие моторов, ясно различимое сквозь пальбу выхлопных газов, успокоительно докладывает, что катер в порядке и что достаточно малейшего движения руля, чтобы вовремя отвернуть от плавающей мины, внезапно высунувшей из воды свою круглую черную плешь, или от бомбы, мелькнувшей под крылом пикирующего на катер самолета. Поэтому у лейтенанта Алексея Решетникова было отличное настроение.

Упершись правым боком в поручни так, чтобы одновременно видеть и компас и море перед собой, он неподвижно стоял на мостике, занимая своей командирской особой добрую его треть: мостик был крохотный, а овчинный тулуп, в котором лейтенант весь исчезал с головой, огромный. От бешеного вращения гребных винтов все на мостике ходило ходуном: упруго вибрировала палуба, дрожали стойки поручней, мелко тряслась картушка компаса, щелкали по парусине обвеса туго обтянутые сигнальные фалы, и деревянным стуком отзывались блоки на рее невысокой мачты,— а лейтенантский тулуп непоколебимо высился неким символом спокойствия и непреклонной настойчивости, то есть тех человеческих качеств, которым на командирском мостике как раз самое место. Рядом, совершенно прикрывая маленький штурвал широкими рукавами, недвижно стоял второй тулуп, в недрах которого был упрятан рулевой, а на баке, у носового орудия, таким же монументом застыл третий. Крупные брызги, срывавшиеся порой с высокого султана пены под форштевнем, с треском окатывали его, но, не в силах пробить плотную светлую кожу, сбегали по ней быстрыми темнеющими дорожками. Это лучше всего доказывало, что прозвище «дворники», которое навлек на свою команду лейтенант Решетников, было вызвано прямой завистью других командиров, не догадавшихся вовремя ухватить в порту эти «индивидуальные ходовые рубки», как называл он свою выдумку.

Командирский тулуп пошевелился, и из косматой овчины воротника выглянуло обветренное, неожиданно молодое и несколько курносое лицо. Живые серые глаза,

прищурясь, быстро и требовательно окинули небо и горизонт, потом так же быстро и требовательно обвели весь катер с носа до кормы, заставив этим всю овчинную «рубку» повернуться с несвойственным постовому тулупу проворством.

Отсюда, с мостика, катер был виден весь — крохотный кусок дерева и металла, затерянный в пустынном просторе огромного моря. Однако при взгляде на него этой малости не чувствовалось: настолько точны и соразмерны были пропорции его стройного корпуса, мачты, рубки, мостика и вооружения.

Чистые, мытые-перемытые солеными волнами доски палубы сияли влажной желтизной, и люки, ведущие в машинное отделение и в кают-компанию, темнели резко очерченными квадратами. Черные пулеметы, воинственно задрав в небо свои стволы с дырчатыми кожухами (которые делали их похожими на какие-то странные музыкальные инструменты), поблескивали маслом и вороненой сталью. За ними, упористо вцепившись в палубу серо-голубой конической тумбой, сверкало медью и никелем приборов кормовое орудие, нарядное и изящное, а возле, в металлическом ящике, крышка которого была многозначительно откинута, ровными золотыми сотами сияли медные донышки снарядных гильз. Рядом выстроились вдоль поручней гладкие темные цилиндры глубинных бомб малого размера. Больших нынче на катере не было; вместо них на корме неуклюже — наискось — расположилась пассажирка-шестерка. И оттого, что обыкновенная шлюпка никак не помещалась по ширине катера между поручнями, становилось понятно, что в люки с трудом может пролезть тепло одетый человек, что кормовое орудие больше похоже на пистолет, установленный на тумбе, что от борта до борта каких-нибудь пять-шесть шагов и что весь этот грозный боевой корабль с его орудиями, пулеметами, глубинными бомбами всего-навсего маленький катерок, искусно придуманная оболочка для его могучего сердца — трех сильных моторов.

Шестерка была для катера элементом чужеродным. Ее взяли на поход, чтобы выполнить ту операцию, для какой «СК 0944» шел к берегу, занятому противником.

Неделю назад там, в укромной бухточке, пропала такая же шлюпка, на которой катер «0874» высаживал раз-

ведчиков. Старший лейтенант Сомов прождал ее возвращения до рассвета и был вынужден уйти, так и не узнав, что́ случилось с шестеркой или с теми двумя матросами, которые должны были привести ее с берега после высадки группы.

При тайных ночных высадках бывали всякие неожиданности. Порой в том месте, где не раз уже удавалось провести такую скрытную операцию, появлялись немцы: подпустив шлюпку к берегу вплотную, они встречали ее гранатами и пулеметным огнем, а иногда, наоборот, дав ей спокойно закончить высадку и отойти подальше от берега, обрушивались на разведчиков, не позволяя и шлюпке вернуться за ними. Порой в камнях поджидала мина, и тогда огненный столб вставал над темным морем мгновенным светящимся памятником и моряки на катере молча снимали фуражки; но на этот раз с катера «0874» не видели ни стрельбы, ни взрыва, а шестерка не вернулась.

Конечно, бывало и так, что в свежую погоду шлюпку при высадке разбивало о камни или выкидывало на берег. Тогда ее топили у берега, и гребцы уходили в тыл врага вместе с теми, кого привезли, не имея возможности сообщить об этом на катер, ибо всякий сигнал мог погубить дело. Но в ту ночь, когда старший лейтенант Сомов потерял шестерку, море было спокойно.

Так или иначе, шлюпка к катеру не вернулась, и было совершенно неизвестно, что стало с ней и с людьми: сообщить о себе по радио группа по условиям задания не могла, а ждать, пока кто-либо из нее проберется через фронт и расскажет, что случилось с шестеркой, было нельзя. Между тем через неделю обстановка потребовала высадить там же еще одну группу разведчиков, с другим важным заданием. И, так как прямых признаков невозможности операции не было, лейтенанту Решетникову было приказано попытаться сделать это, более того — произвести обратную посадку разведчиков на катер.

Если бы было возможно, лейтенант предпочел бы пойти на шестерке сам: как известно, много легче разобраться на месте самому, чем объяснять другим, что делать в том или ином случае. Но оставить катер он, конечно, не мог, и ему пришлось лишь поручить это дело тем, кому он верил, как самому себе. Из охотников, вызвавшихся

гребцами на шестерку, он выбрал боцмана Хазова и рулевого Артюшина. Артюшин отличался крепкими мышцами и греб за троих, кроме того, был парнем смелым и сообразительным. Боцман же еще до вступления лейтенанта Решетникова в командование катером спас однажды шлюпку и людей в таком же подозрительном случае. Тогда было предположение, что немцы готовят встречу, и Хазов, остерегаясь неприятностей, стал подводить шлюпку к берегу не носом, а кормой, чтобы в случае чего отскочить в море. Так оно и вышло. Шестерка уже коснулась кормой песка, когда между ногами боцмана, ударив его по коленке, упала шипящая граната. Он тотчас схватил ее за длинную деревянную ручку и, не вставая, с силой перекинул через голову обратно на берег. Она взорвалась там; вслед за ней в кусты полетели гранаты разведчиков, Хазов крикнул: «Навались!» — и шлюпка помчалась обратно к катеру под стук автомата, которым боцман поливал негостеприимные кусты.

Судя по неодобрительному виду, с каким Решетников разглядывал шестерку, она продолжала занимать его мысли. Один раз он брал уже с собой в операцию такую большую шлюпку, и с ней пришлось порядком повозиться. Вести ее на буксире было нельзя: тяжелая и пузатая, она заставила бы катер тащиться на малых оборотах (на большом ходу буксир рвался). Поэтому, поминая ее несуществующих родственников, шестерку взбодрили на палубу, поставив на стеллажи глубинных бомб — единственное место, где она кое-как, криво и косо, поместилась. Спускать же ее отсюда ночью, под носом у врагов, оказалось занятием хлопотливым: с высоких стеллажей она сползла под слишком большим углом, вернее — воткнулась в море, как ложка в борщ, и корма, не в силах свободно всплыть, зачерпнула так, что воду пришлось отливать ведром добрые полчаса, чем в непосредственной близости от захваченного противником берега заниматься было вовсе не интересно. Но тогда катер доставлял партизан в другое, сравнительно спокойное место, а нынче...

Некоторое время лейтенант Решетников, поджимая губы, посматривал на шестерку. Потом с той быстротой движений, которая, очевидно, была свойственна его натуре, вытащил из кармана свисток, дважды коротко свистнул, после чего принял прежнюю позу с видом человека,

который твердо знает, что приглашение повторять не придется.

И точно, боцман без задержки появился у мостика.

Вероятно, он был тут же, на палубе, потому что аккуратно подтянутый поясом клеенчатый его реглан поблескивал от брызг, а наушники меховой шапки были опущены. Мостик, как сказано, был очень невысоким, и боцман, не поднимаясь на него, просто остановился на палубе возле командира, выжидательно подняв к нему лицо. Покрасневшее от ветра, спокойное и серьезное, с правильными, несколько грубоватыми чертами, оно было почти красивым, но не очень приветливым. Казалось, какая-то тень задумчивости или рассеянности лежала на нем, будто Хазов постоянно чувствовал внутри себя что-то неотвязное и, наверное, невеселое, чего не могли отогнать даже забавлявшие весь катер шутки признанного заводиловки — рулевого Артюшина (того самого, кто сейчас был упрятан в тулуп у штурвала). Неразговорчивость боцмана, видимо, была хорошо известна командиру, и поэтому он, не ожидая официального вопроса, наклонился с мостика, перекрикивая гул моторов:

— А что, если к транцу пояса́ подвязать, штук пять? Пожалуй, не черпнет?

Хазов повернулся к шестерке, и лейтенант с беспокойством увидел, что левая его рука потянулась к щеке. Ладонь дважды медленно прошлась по чисто выбритой коже в недоверчивом раздумье, потом крепкие пальцы стиснули подбородок, и глаза боцмана, устремленные на корму, прищурились. Решетников в нетерпении переступил с ноги на ногу, всколыхнув тулуп, а Артюшин улыбнулся в компас, ожидая, что боцман скажет сейчас сожалеюще, но твердо: «Не получится, товарищ лейтенант», и тогда начнется содержательный разговор, который поможет скоротать скучную мирную вахту.

Но спектакль не состоялся. Боцман отпустил подбородок и ответил:

— Лучше под киль возьмем. Выше держать будет.

Теперь к шлюпке повернулся Решетников. Он тоже прищурился, оценивая боцманскую поправку.

Собственный его проект был основан на том, что пробку, как известно, загнать в воду трудно: если к корме шестерки — транцу — привязать спасательные пояса, то

при спуске они будут держать корму на плаву, не давая шлюпке черпать воду, пока нос ее не сползет с катера. Но, конечно, пропустить пояса под килем у кормы, как предложил боцман, было проще и правильнее.

— Добро́,— сказал лейтенант, кивнув головой.

На этом разговор, краткость которого была обусловлена сразу тремя причинами — характером боцмана, гулом моторов и полным взаимопониманием собеседников, закончился. Решетников посмотрел на часы.

— Однако надо и поужинать, пока все нормально,— сказал он.— Вахтенный! Лейтенанта Михеева на мостик!

И он снова спрятался в тулуп. Высунувшись из него для очередного обследования горизонта, лейтенант с удивлением заметил, что боцман по-прежнему стоит на палубе.

— Шли бы ужинать, Никита Петрович,— окликнул его Решетников.— Намерзнетесь еще на шлюпке.

— Красота большая,— отозвался Хазов, задумчиво глядя перед собой.

Решетников повернулся к левому борту, и вечернее небо, которого он почему-то до сих пор не замечал, развернуло перед его глазами все властное свое великолепие.

Над спокойно вздыхающим морем низко висело огромное, уже приплюснутое солнце. Выше тянулось по небу облако, длинной и узкой чертой разделявшее воздушный простор на два туго натянутых полотнища прозрачного шелка: нижнее пылало ровным желтоватым пламенем, верхнее поражало взгляд бледнеющей синевой, чистой и свежей. По ней веером расходились ввысь летучие перистые облака, легкие, как сонное мечтание; они еще блистали белизной, но мягкий розовый отсвет заката уже тронул снизу их сквозные края, обещая фантастическую игру красок. И, когда с тревожного зарева над морем взгляд переходил на эту вольную синеву, дышать как будто становилось легче и начинало казаться, что в мире нет ни войны, ни горя, ни смертей, ни ненависти и что впереди ждут только удача, счастье и покой.

Сперва Решетников просто рассматривал закат, удивляясь, как это он не заметил раньше всей его красоты. Но вскоре смутные, ускользающие мысли неясной чередой поплыли в его голове под низкий, мощный гул моторов, торжественный, как органный аккорд. Он и сам не

мог бы пересказать их, как не может человек выразить словами мягкой предсонной грезы, где видения вспыхивают и гаснут, возникая на миг, чтобы тут же смениться другими. Выставив ветру лицо и всем телом ощущая через поручни могучую дрожь катера, он наслаждался быстрым ходом, морем и закатом, прислушиваясь к тому непонятному, но сильному и прекрасному чувству, которое росло в нем, заставляя невольно улыбаться, и которому трудно подыскать название. Может быть, это было просто счастьем.

Счастьем?..

Что можно говорить о счастье на этом катере, который идет в пустынном военном море, где смерть поджидает в каждой волне и каждой тучке, когда с каждым пройденным им кабельтовым бомба, снаряд или пуля уносят в разных местах земного шара по крайней мере десять человеческих жизней, когда с каждой каплей бензина, врывающейся в карбюраторы его моторов, падает где-то в мире скорбная человеческая слеза — на письмо. на пожарище родного дома, на корку хлеба, к которой тянется голодный ребенок? Да и существует ли еще на каком-нибудь человеческом языке это заветное слово, самое звучание которого радует душу?.. Полно! Нет его в мире, где страшная сила войны выпущена на волю, где она гуляет и гикает, сжигает и убивает, душит, топит и разрушает.

На мостике появился лейтенант Михеев, помощник командира катера. Скинув тулуп и с удовольствием расправляя плечи, Решетников коротко передал ему вахту, но, сойдя с мостика, не пошел вниз, а остановился возле машинного люка лицом к закату.

Солнце уже коснулось воды, и сияющая полоса, проложенная им на море, начала розоветь. Огромный земной шар, переполненный горем и ненавистью, поворачивался, и вместе с ним откатывалось от лучей солнца Черное море. Маленький, крошечный катер, настойчиво гудя моторами, карабкался по выпуклости Земли, упрямо догоняя солнце, заваливающееся за горизонт. И тот, кто командовал этим катером, лейтенант Алексей Решетников, вовсе не думал сейчас о том, что́ такое счастье и может ли оно быть в человеческом сердце, стиснутом равнодушной рукой войны. Он просто любовался закатом и испытывал то

внутреннее удовлетворение, которое приходит к человеку лишь тогда, когда весь внутренний мир его находится в полной уравновешенности (и которое, может быть, и следует называть счастьем). И, хотя катер шел в опасную ночную операцию и мысль об этом, казалось, должна была волновать лейтенанта, он с видимым любопытством и ожиданием всматривался в раскаленный диск, уже безопасный для взгляда.

В великой неудержимости планетного хода солнце расплющенной алой массой проваливалось в воду все быстрей и быстрей, непрерывно меняя очертания. Из диска оно стало овалом, потом пылающей огромной горой, затем растеклось по краю горизонта дрожащей огненной долиной.

Решетников быстро обернулся, ища взглядом Хазова.

— Никита Петрович, не прозевайте! — торопливо сказал он, снова поворачиваясь к закату.— Нынче будет, вот увидите, будет!

Что-то мальчишеское было и в этом восклицании и в том нетерпеливом движении, каким он весь подался вперед, как бы готовясь получше рассмотреть то, что должно было произойти. С мостика донеслась команда лейтенанта Михеева: «На флаг, смирно!» Решетников выпрямился, отступил к борту лицом к середине корабля, как и полагается стоять при спуске флага, но глаза его по-прежнему неотрывно следили за уходящим солнцем. Затаив дыхание он подстерегал тот миг, когда верхний край его окончательно уйдет в воду и оттуда, быть может, вырвется тот удивительный луч, который окрашивает небо и море в чистейший зеленый цвет, более яркий, чем зелень весенней травы или изумруда, и который появляется так редко, что моряки сложили легенду, будто лишь очень счастливому человеку удается поймать то кратчайшее мгновение, когда вспыхивает над морем знаменитый зеленый луч, ослепительный, как само счастье, и памятный на всю жизнь, как оно.

Жидкое пламя, бушевавшее в огненной долине, вдруг с необычайной стремительностью начало стекаться с краев к середине, и через миг все стянулось в одну алую точку, маленькую и яркую, как огонь сильного маяка. Секунду-две она, мерцая и вздрагивая, сияла на самом крае воды, потом внезапно исчезла. блеснув на прощание

еще меньшей точкой очень яркого и чистого зеленого цвета, и в тот же момент лейтенант Михеев скомандовал:

— Флаг спустить!

Крохотный кормовой флаг пополз вниз с гафеля невысокой мачты. Приложив руку к ушанке, Решетников проводил его взглядом и, потеряв сразу всякий интерес к тому, что происходит на небе, пошел на корму. Возле правого пулемета стоял Хазов, по-прежнему задумчиво смотря на закат.

— Ничего, Никита Петрович, когда-нибудь мы его все-таки поймаем,— сказал лейтенант утешающим тоном, как будто именно боцман, а не он сам с таким нетерпением ожидал сейчас появления зеленого луча.— Пошли ужинать, в самом деле...

— Поспею, товарищ лейтенант,— ответил Хазов.— Пока светло, пояса под шестерку подведу.

Решетников кивнул головой и, задержавшись у кормового люка, чтобы в последний раз окинуть горизонт все тем же быстрым и требовательным командирским взглядом, нырнул вниз.

Длинное узкое облако, висевшее над местом, куда ушло солнце, стало уже темно-красным. Раскалившее его пламя, вырывающееся из-за края воды, поднималось теперь ввысь, и сквозные края легких перистых вееров, раскинутых там и здесь по бледнеющей синеве небосвода, тоже занялись огнем. Все выше забиралось к зениту пылающее зарево, покуда его не начала оттеснять густеющая фиолетовая мгла, собравшаяся в темной части горизонта.

Над Черным морем спускалась ночь. Сторожевой катер «0944» шел к занятому противником берегу для выполнения особого задания в глубоком тылу врага.

Глава вторая

Лейтенант Решетников только что вступил в тот счастливый период флотской службы, который бывает в жизни военного моряка лишь однажды: когда он впервые получает в командование корабль.

Это не забывается, как не забывается первый вылет,

первый бой и первая любовь. Сколько бы раз ни привелось потом моряку стоять на других мостиках, какие бы огромные корабли ни водил он потом в дальние походы, даже тяжкая громада линкора не сможет заслонить в его сердце тот маленький кораблик, где в первый раз испытал он гордое, тревожное и радостное доверие к самому себе, поняв наконец вполне, всем существом, что он — командир корабля.

Это удивительное, ни с чем не сравнимое чувство приходит не сразу. Путь к нему лежит через мучительные, тяжелые порой переживания. Тут и боязнь ответственности, и опасный хмель власти, и неуверенность в себе, и борьба с самолюбием, и неудержимое желание найти советчика и учителя. Тут и долгие бессонные ночи, полные тревоги за корабль и отчаяния перед собственной неумелостью, ночи, когда мозг горит и в мыслях теснятся цифры и фамилии, снаряды и капуста, механизмы и человеческие судьбы — весь тот клокочущий водоворот трудносоединимых понятий, привести который в систему и направить не мешающими друг другу потоками в мерном течении нормальной службы корабля может только его командир — тот, кто из людей и машин способен создать единый, послушный своей воле организм, чтобы иметь возможность управлять им в любой момент боя или шторма.

Лейтенант Решетников и сам не сумел бы сказать, когда именно он поверил в себя как в командира.

Получилось так, что это особенное командирское чувство сложилось в нем незаметно: из тысячи мелких и крупных событий, догадок, поступков, удач и ошибок. То, что мучило вчера, сегодня оказывалось будничной мелочью; то, что всякий раз требовало значительного напряжения воли и мысли, вдруг выходило само собой, автоматически, освобождая мозг для решения более сложных задач. Так, подходя однажды к стенке, он с удивлением заметил, что застопорил моторы и скомандовал руля как раз вовремя, хотя все мысли его были заняты совсем другим — как разместить на катере десантников. И с этого дня он перестал готовиться «постом и молитвой» к каждой швартовке, которая обычно заставляла его еще за пять миль до бухты мучиться в поисках той проклятой точки, где следует уменьшить ход, чтобы не врезаться в

стенку или, наоборот, не остановиться дурак дураком в десяти метрах от нее. Первое время, подобно этому, он перед каждым походом заранее его «переживал», то есть старался предугадать свои действия в мельчайших подробностях, и проводил в этой бесполезной и утомительной игре воображения бессонную ночь, пока не научился выходить в море, выспавшись на совесть и приведя себя в полную готовность ко всяким внезапным изменениям обстановки.

Конечно, еще недавно он вряд ли смог бы любоваться на таком походе закатом и с любопытством ждать зеленого луча. Вероятно, он в сотый раз перебирал бы в уме, все ли сделал для того, чтобы обеспечить скрытность высадки, бегал бы в рубку к карте, дергал бы боцмана вопросами: не забыл ли тот о гранатах и взял ли в шестерку шлюпочный компас — словом, проявлял бы ту ненужную суетливость, которую лишь неопытный командир может считать распорядительностью и которая, по существу, только раздражает людей.

Эту спокойную — командирскую — уверенность лейтенант Решетников ощущал в себе не так давно: пятый или шестой боевой поход. До этого он добрых полтора месяца жил в непрерывных сомнениях и сам уже был не рад тому, что страстная его мечта — командовать боевым катером — исполнилась. В самом деле, когда он очутился на «СК 0944» полновластным командиром, ему было неполных двадцать два года и немногим больше года службы. Да и из него Решетников восемь месяцев командовал зенитной батареей крейсера под опекой сразу трех опытных командиров — артиллериста, старпома и командира крейсера, что не очень-то, конечно, приучило его к самостоятельности действий. Правда, в тот единственный раз, когда ему пришлось остаться без их поддержки, он развернулся так решительно и смело, что именно этот случай и привел его к командованию катером.

В августе крейсер ходил на стрельбу по немецким укреплениям, и лейтенант Решетников с пятью моряками благополучно высадился ночью на «малую землю» у переднего края, прекрасно провел корректировку с высоты 206,5, сообщил по радио, что спускается к шлюпке, после чего пропал. Крейсер, прождав свою шлюпку до рассвета, был вынужден уйти и уже в море принял радио от Решет-

никова: пробираясь к шлюпке, группа оказалась отрезанной от берега автоматчиками противника и с боем отошла к своим частям. В ответ Решетников получил приказание добираться до корабля самостоятельно ближайшей оказией, что он и выполнил, явившись через неделю на крейсер с перевязанной рукой и не по форме одетым — в краснофлотском бушлате без нашивок.

И тогда выяснилось, что лейтенант Решетников, «следуя на «СК 0519» в качестве пассажира, в критический момент боя с пикировщиками противника принял на себя командование катером взамен убитого старшего лейтенанта Смирнова и довел до базы катер и конвоируемый им транспорт, проявив при этом личную инициативу и мужество».

Именно в таких суховатых и сдержанных, как обычно, словах было изложено в наградном листе событие, заставившее лейтенанта Решетникова серьезно задуматься над дальнейшим прохождением службы и начать проситься на катера, изменив крейсеру и превосходной его артиллерии, которая раньше казалась ему самым подходящим в жизни делом. По этому документу трудно понять, что именно вызвало в нем такое настойчивое желание, ибо здесь опущены многие детали события; в частности, нет ни слова о том, почему же лейтенант вернулся на крейсер не в своей шинели, а в матросском бушлате.

Когда «СК 0519», приняв на борт корректировщиков, отошел от «малой земли», шинель лейтенанта Решетникова была еще в полном порядке, если не считать серых пятен от удивительно въедливой грязи, по которой ему пришлось отползать от автоматчиков, и двух дырок в поле́, проделанных их очередями. Шинель была цела и утром, когда он стоял на палубе возле рубки, наблюдая стрельбу катера по самолетам, два из которых шли на конвоируемый транспорт, а третий — на самый катер. Но когда этот третий спикировал и «СК 0519», резко отвернув на полном ходу, метнулся в сторону от свистнувших в воздухе бомб и когда одновременно с горячим ударом взрывной волны застучали по рубке пули и в ней тотчас что-то зашипело, затрещало и густой дым повалил из открывшейся двери, лейтенант Решетников кинулся в рубку, и там шинель его потерпела серьезную аварию.

Сперва он чуть было не выскочил обратно. Дым бил

в лицо, мешая что-либо видеть. Он присел на корточки, стараясь рассмотреть, откуда валит дым, и тогда наткнулся на помощника командира, веселого лейтенанта, с которым шутил наперебой полчаса назад. Тот пытался ползти к штурманскому столу и, увидев Решетникова, прохрипел: «Ракеты... Скорей...» Решетников сунул руку между столом и переборкой, ощупью отыскивая под столом ящик, и уже отчаялся было найти ракеты, когда рука его сама отдернулась от накалившегося металла и он понял, что ракеты лежат в железном ящике. Усилием воли он заставил ладонь сжаться вокруг накалившейся ручки, потянул на себя ящик, оказавшийся неожиданно легким, но тут какая-то шипящая струя ударила ему в спину, потом забила под штурманский стол, растекаясь пышной пеной. Лейтенант отвернул лицо от брызг и увидел сквозь дым матроса, который поливал из пеногона стол, ящик с ракетами, раненого помощника и его самого.

— Не надо, уже тащу! — крикнул он ему.

Матрос ответил:

— Бензобак под палубой! — и перевел струю на занявшийся огнем стол.

Решетников выскочил из рубки с ящиком в руке и кинул его за борт. С правого борта снова свистнула бомба, но он мог думать только о руке: кожа на ладони и на пальцах сморщилась и стала темно-красной. Острая боль, от которой занялось дыхание, охватила его. Он стоял, тряся кистью и дуя на ладонь, когда кто-то легонько ударил его по плечу. Он повернул голову и у самого лица увидел свисающую с мостика руку. Из-под рукава с лейтенантскими нашивками быстро капала кровь. Решетников поднял глаза: командир катера лежал на поручнях мостика лицом вниз.

Решетников вскочил на мостик, чтобы помочь ему, но тут же увидел, что рукоятки машинного телеграфа стоят враздрай, отчего катер, теряя ход, разворачивается на месте. Он поставил правую рукоятку на «стоп» и задрал голову вверх, следя за самолетом, который снова заходил по носу на катер. Решетников и сам не знал еще, куда отвернуть от бомбы, готовой отвалиться от крыла. Но когда та мелькнула, ему показалось, что она упадет недолетом впереди по носу, и он тотчас рванул все три рукоятки на «полный назад». Столб воды встал впереди, горя-

чая волна воздуха и воющие осколки пронеслись над головой, но лейтенант Решетников почти не заметил этого. Первая удача обрадовала его, и, не снимая обожженной ладони с рукоятки телеграфа, он повернулся к самолету, который снова начинал атаку.

На этот раз лейтенант повел катер прямо на него, чтобы встретить его огнем обоих пулеметов в лоб, и махнул здоровой рукой, показывая на самолет. Очевидно, люди у пулеметов поняли его, потому что две цветные прерывистые струи помчались в небо, и одна из них задела левое крыло, а вторая — мотор. Самолет попытался вскинуть вверх тупую черную морду, чтобы выйти из пике, но движение это, судорожное и неверное, не было уже осмысленным; дернувшись вбок, он лег на крыло и, не сбросив бомб, ушел по аккуратной кривой в воду...

Все это Решетников запомнил в мельчайших деталях, хотя никак не мог толком рассказать потом, когда именно он заменил своими матросами раненых катерников у носового орудия, как вышел на правый борт транспорта и встретил новую группу самолетов плотной, хорошо поставленной завесой, как подбил при этом второй самолет. Упоение боем несло его на высокой и стремительной своей волне, подсказывая необходимые поступки, и время спуталось: секунды тянулись часами, а часы мелькали мгновениями. И только бушлат, который дали ему на катере взамен прогоревшей и вконец испорченной пеной огнетушителя шинели, да обнаженная до мяса ладонь, кожа которой прилипла к рукоятке машинного телеграфа, остались доказательствами того, что этот бой и случайное — ненастоящее, краткое, но все-таки самостоятельное — командование кораблем ему не приснилось.

С этого времени лейтенант Решетников только и думал, что о сторожевых катерах.

Он не раз пробовал говорить об этом с командиром крейсера, ходил к нему по вечерам и в долгих душевных разговорах раскрывал свою мечту. Но ничего не получалось: его ценили на крейсере как артиллериста, обещающего стать мастером, и командир даже намекнул на возможность перевода его на главный калибр, что, несомненно, еще месяц назад заставило бы его подпрыгнуть от радости. И так бы и пошел лейтенант Решетников по артиллерийской дорожке, если бы не счастливый случай.

В день получения ордена он оказался в зале Дома флота рядом с незнакомым капитаном третьего ранга, вернувшимся от стола со вторым орденом Красного Знамени в руках. Фамилию его Решетников не расслышал, потому что очень волновался в ожидании, когда назовут его собственную. Когда наконец это случилось и он, багровый до ушей, сел на свое место с орденом Красной Звезды, капитан третьего ранга с любопытством взглянул на него:

— Значит, вы и есть Решетников? Поздравляю... Давайте дырочку проверчу, вам не с руки...

Они разговорились, и оказалось, что это капитан третьего ранга Владыкин. Владыкин!.. Командир дивизиона катеров северной базы!.. И он знает о случае на «СК 0519», хотя этот катер вовсе не его дивизиона!.. У Решетникова застучало сердце.

Они вышли вместе, и битый час он выкладывал Владыкину все то, чего не хотел понять командир крейсера. Владыкин смотрел на него сбоку с видимым любопытством, благожелательно поддакивал, расспрашивал и, прощаясь, сказал, что попробует перетащить его на катера: хорошо, когда человек твердо знает, чего он хочет. Недели две Решетникову только и снился катер, которым он скоро будет командовать, но действительность его несколько огорчила.

На катера его и точно перевели, но не командиром катера, как твердо он надеялся после разговора с Владыкиным, а артиллеристом дивизиона, и даже не того, которым командовал Владыкин, а здешнего, охранявшего базу, где находился и крейсер. Ему пришлось проводить нудные учебные стрельбы, надоедать командирам катеров осмотрами материальной части, возиться в мастерских, заниматься с комендорами — словом, делать совсем не то, о чем мечтал, просясь на катера. Он пользовался каждым случаем, чтобы выходить в море на катерах, но походы эти даже и не напоминали его переход на «СК 0519»: катера несли скучный дозор, проводили траление, мирно сопровождали транспорты, передавая их катерам другого дивизиона как раз в том порту, за которым можно было ждать боевых встреч, и только раза два ему привелось пострелять по самолетам, залетевшим в этот далекий от фронта участок моря. Между тем на се-

вере этого же моря, там, у Владыкина, такие же катера ежедневно встречались с врагом, перевозили десанты, ходили по ночам в тыл противника, конвоировали транспорты, вступая в яростные бои с самолетами, и слава о сторожевых катерах все росла и росла.

Поэтому вполне понятно то волнение, с каким через четыре месяца лейтенант Решетников прочитал приказ о переводе его на дивизион Владыкина и о назначении командиром «СК 0944» вместо старшего лейтенанта Парамонова, убитого при высадке десанта неделю назад.

Может быть, кому-либо другому превращение дивизионного специалиста в командира катера показалось бы понижением, но для лейтенанта Решетникова это было свершением мечты. Товарищи по выпуску, когда он пришел на крейсер проститься, отлично это поняли. Они поздравляли его с нескрываемой завистью: хоть маленький кораблик, да свой, полная самостоятельность, вот есть где развернуться!

С чувством уважения к самому себе лейтенант покинул дивизион и все двое суток, пока добирался до базы, где ожидал его катер, стоящий в ремонте после боя, держал себя с достоинством, не давал воли жестам и мальчишеской своей веселости, говорил с попутчиками медленно и веско и, раз двести повторив в разговорах «мой катер», «у меня на корабле», совсем уже привык к этому приятному сочетанию слов. Но когда с полуразрушенной бомбежками пристани он увидел этот «свой корабль» и на нем «свою команду» — двадцать человек, ожидающих в строю того, кому они отныне доверяют себя и от кого ждут непрерывных, ежеминутных действий и распоряжений, обеспечивающих им жизнь и победу,— ноги его подкосились и в горле стало сухо, отчего первый бодрый выкрик «Здравствуйте, товарищи!» вышел хриплым и смущенным.

Странное дело, этот крохотный кораблик, который был точь-в-точь таким, как те катера, на каких он уже не раз ходил в море, и который на палубе крейсера поместился бы без особого стеснения для прочих шлюпок, показался ему совсем незнакомым кораблем, вдвое больше и сложнее самого крейсера. И, хотя людей здесь было меньше, чем комендоров на его дивизионе, он смог различить только одного — того, кто стоял на правом фланге.

Лицо его, красивое и сумрачное, выражало, казалось, явное разочарование: вот, мол, салажонка прислали, такой, пожалуй, накомандует, будь здоров в святую пасху... И в этом неприветливом взгляде Решетникову померещилось самое страшное: убийственное для него сравнение со старшим лейтенантом Парамоновым. Хуже всего было то, что, как выяснилось тут же, взгляд этот принадлежал старшине первой статьи Никите Хазову, моряку, плававшему на катерах седьмой год и бывшему на «СК 0944» боцманом, то есть главной опорой командира в походе, в шторме и в бою.

Со всей отчетливостью лейтенант Решетников понял, что нужно немедленно же разбить то неверное впечатление, которое произвел на боцмана (да, вероятно, и на остальных) безнадежно мальчишеский вид нового командира. К сожалению, с основного козыря никак нельзя было сейчас пойти: неожиданная встреча на палубе не давала лейтенанту повода скинуть шинель. Поэтому он поднес к глазам руку с часами тем решительным жестом, который давно нравился ему у командира крейсера, и его же шутливым, но не допускающим возражения тоном сказал, весело оглядывая строй:

— Так... теплого разговора тут на холоде у нас, пожалуй, не получится... Соберите команду в кубрике, товарищ лейтенант, там поближе познакомимся!

И, все еще продолжая чувствовать на себе недоверчивый взгляд боцмана, он постарался как можно ловчее нырнуть в узкий люк командирского отсека, где, как помнилось ему по своим походам на других катерах, пистолет обязательно зацепляется кобурой за какой-то чертов обушок, надолго стопоря в люке непривычного человека. Обушок он миновал благополучно и, войдя в крохотную каютку, в которой ему предстояло теперь жить, быстро скинул шинель и тщательно поправил перед зеркалом орден Красной Звезды.

Это и был его основной козырь: орден должен был показать команде катера (и боцману в первую очередь!), с кем им придется иметь дело, и молчаливо подчеркнуть всю значимость тех немногих, но сильных слов, какие он приготовил для первого знакомства с командой. Он мысленно повторил их, сдвинув брови и стараясь придать неприлично жизнерадостному своему лицу выражение су-

ровости и значительности, но тут же увидел в зеркале, что лицо это само собой расплывается в улыбку; в коридорчике у люка прогремели чьи-то сапоги, и голос помощника, лейтенанта Михеева, сказал:

— Прямо в каюту командира поставьте...

«Командира»!.. Не удержавшись, Решетников подмигнул себе в зеркало и вышел из каюты, с удовольствием заметив взгляд, который вскинул на орден матрос, принесший чемодан. В самом лучшем настроении Решетников поднялся на палубу, шагнул в люк кубрика и услышал команду «смирно», раздавшуюся тогда, когда ноги его только еще показались из люка. Он звонко крикнул в ответ: «Вольно!», соскочил с отвесного трапика, и в глазах у него поплыло.

Перед ним, тесно сгрудившись между койками, стояли взрослые спокойные люди в аккуратных фланелевках с синими воротниками, и почти на каждой из них блестел орден или краснела ленточка медали. В первом ряду был боцман Хазов с орденом Красного Знамени и с медалью «За отвагу».

Краска кинулась в лицо Решетникову. Выдумка его, которой он собирался поразить этих людей (и боцмана в первую очередь), показалась ему глупой, недостойной и нестерпимо стыдной. Он растерянно обводил глазами моряков, и все те значительные и нужные, казалось, слова, которые он так тщательно обдумал дорогой,— о воинском долге, о чести черноморца, о мужестве, которого ждет родина,— мгновенно вылетели из его головы. Мужество, флотская честь, выполненный долг стояли перед ним в живом воплощении, командовать этими людьми, каждый из которых видел смерть в глаза и все-таки был готов встретиться с нею еще раз, теперь приходилось ему, лейтенанту Алексею Решетникову... Волнение, охватившее его при этой мысли, было настолько сильным, что, забывшись, он сказал то, что думал и чего, конечно, никак не следовало говорить:

— Вон вы какие, друзья... Как же мне таким катером командовать?..

Такое вступление, будь оно сделано любым другим, несомненно, раз и навсегда погубило бы авторитет нового командира в глазах команды, которая увидела бы в этом прямое заискивание. Но Решетников сказал это с

такой искренностью и такое почти восторженное изумление выразилось на смущенном его лице, что новый командир сразу же расположил к себе всех, и Артюшин, как всегда первым, ответил без задержки:

— А так, как «пятьсот девятнадцатым» тогда покомандовали, товарищ лейтенант, обижаться не будем...

Остальные одобрительно улыбнулись, а Решетников еще больше смутился.

— А вы разве с «пятьсот девятнадцатого»? — спросил он, не зная, что ответить.

— Да нет, товарищ лейтенант,— по-прежнему бойко сказал Артюшин,— я-то здешний, прирожденный, с самóй Одессы тут рулевым... Ребята рассказывали. Сами знаете, на катерах — что в колхозе: слышно, в какой хате пиво варят, в какой патефон купили... Соседство, конечно...

Артюшин говорил это шутливым тоном, но по выжидательным и любопытным взглядам остальных лейтенант понял, что «соседство» тут решительно ни при чем, а что, наоборот, команда катера, разузнав фамилию нового командира, сама ревниво собрала о нем сведения со всех катеров и что всесторонняя характеристика его уже составлена, а сейчас идет только проверка ее личными наблюдениями. И в глазах Артюшина он прочел первый горький, но справедливый упрек: провалил ты, мол, командир... видишь, мы о тебе все знаем, а тебе и то в новость, что у нас на катере орденов полно...

Вероятно, Артюшин ничего похожего и не думал. Но лейтенанту Решетникову всегда казалось, что о его ошибках и недостатках другие думают словами самыми жестокими и обидными. Он внутренне выругал себя за мальчишескую торопливость. Конечно, надо было дождаться в штабе дивизиона, когда вернется с моря Владыкин, поговорить с ним о катере, узнать, чтó за люди на нем, а он не смог дождаться утра и поспешил на «свой катер» поскорее «вступить в командование»... Вот и вступил, как в лужу плюхнулся с размаху...

Было совершенно неизвестно, как держать себя дальше и что говорить, но та присущая ему прямота, которая не раз причиняла в жизни хлопоты, тут его выручила: он снял фуражку и, присев на чью-то койку, сказал очень просто и душевно:



Решетников крикнул: «Вольно!» — и соскочил с отвесного трапика.

— Садитесь, товарищи, поговорим... Я о катере толком ничего не знаю: приехал, а начальство в море... Ну, давайте сами знакомиться... Рассказывайте... о нашем катере!

Знакомство это затянулось до ночи. Вернувшись в каюту, он долго не мог заснуть. Он ворочался на узенькой, короткой койке, слушая тихий плеск воды за бортом и думая о катере, с которым связана теперь его жизнь и командирская честь.

Дунай и Одесса, Севастополь и Новороссийск, ночные походы и долгие штормы, десанты и траления, бои и аварии — вся огромная, насыщенная, блистательная и трагическая история крохотного кораблика вновь и вновь проходила перед ним. И моряки, делавшие на катере все эти героические дела, казалось, смотрели на него из темноты, спрашивая: «А как ты теперь будешь командовать нами?..»

Он перебирал в памяти их лица, еще едва знакомые, вспоминая, кто бросил обратно гранату со шлюпки — боцман или Морошкин, кто сбил в тумане самолет, вылетевший прямо на катер, кто именно стоял по пояс в ледяной воде, поддерживая сходню, по которой пробегали на берег десантники, у кого такое «снайперское» зрение, что все спокойны, когда он на вахте?.. Или, может быть, это были те, кого уже нет на катере и о ком только говорилось нынче,— убитые, отправленные в тыл с тяжкими ранами?..

Люди и поступки путались у него в голове, как путались бои и походы. Но во взволнованном его воображении все ярче и яснее вставал образ одного человека — старшего лейтенанта Парамонова, командовавшего катером последние десять месяцев; все, что рассказывали о катере моряки, неизбежно связывалось с ним. И лейтенант Решетников, ворочаясь без сна, думал об этом человеке, которого не видел и не знал, но заменить которого на корабле привелось ему. Будут ли эти люди говорить о нем, лейтенанте Решетникове, с тем же уважением, любовью и грустью, с какими говорили они нынче о старшем лейтенанте Парамонове? И, может быть, первый раз в жизни он понял на самом деле, что́ такое командир — душа и воля корабля, его мужество и спасение, его мысль и его совесть.

И эта долгая ночь подсказала ему поступок, который положил начало его дружбе с командой катера: в носовом восьмиместном кубрике над дверью появился портрет старшего лейтенанта Парамонова. Портрет был небольшой, в простой рамке. Но, когда лейтенант Решетников, прикрепив его, повернулся лицом к морякам, молча следившим за ним, он увидел, что глаза их блестят. И у самого у него перехватило горло, когда он негромко сказал:

— Ну вот... Пусть смотрит, как мы тут без него воевать будем...

Глава третья

Живой и общительный характер Решетникова быстро располагал к нему людей, и со стороны казалось, будто он всегда окружен друзьями. На самом деле все, с кем он до сих пор сходился в училище и на крейсере, были ему только приятели. С ними можно было шутить, спорить, говорить на тысячи разнообразных тем и даже делиться многими своими мыслями и чувствами, но ни перед кем из них не хотелось раскрыть то глубокое и значительное, что волновало душу и что приходилось поэтому обдумывать и переживать наедине с самим собою.

А то глубокое и значительное, что волновало Решетникова, очень трудно было выразить понятно.

Этого веселого, жизнерадостного, действительно молодого человека, как будто очень уверенного в себе, на самом деле беспокоило неясное, смутное чувство непонимания чего-то самого главного в жизни. С какого-то времени он ждал, что случится что-то, от чего все вдруг станет ясно и в темном сумраке будущего вспыхнет то, к чему надо стремиться. Ему казалось, что откроется это мгновенно, на таком же высоком подъеме чувств, какой он испытал в тот давний полдень седьмого августа 1937 года, когда над краем степи висела черная, в полнеба туча и когда ему с совершенной ясностью «открылось», что он должен стать флотским командиром и что другого дела ему в жизни нет.

Детство Решетникова прошло вдали от какого бы то ни было моря — на Алтае, в животноводческом совхозе, где отец его работал зоотехником.

К этой деятельности Сергей Петрович обратился не случайно, а по глубокому внутреннему убеждению, оставив для нее профессию врача. Он буквально был помешан на приплодах и окотах, на выкормке и эпизоотиях и вел серьезную научную работу по созданию новой породы овцы, пригодной для северной казахской степи и предгорьев Алтая. Уже много лет он терпеливо скрещивал разные породы с обыкновенной казахской овцой, добиваясь от нее и тонкорунности, и мясистости, и неприхотливости к погоде и к корму. В это далекое от поэзии занятие Сергей Петрович вкладывал столько душевной страстности, что оно приобретало содержание философское и поэтическое: назначение мыслящего человека он видел в том, чтобы охранять жизнь во всех формах, заботливо раздувая чудесный ее огонек, вспыхнувший в любом существе, и совершенствовать эти формы для блага людей, исправляя слепую природу. И каждый раз, когда четвероногие его друзья радовали богатым прибавлением семейства или удачным гибридом, в маленьком домике на краю совхоза было ликование и необъятная Парфеновна, нянька Алеши, стряпуха и постоянный лаборант отца, пекла пирог в честь очередной двойни или какого-нибудь длинношерстного ягненка.

Поэтому в комнатах у них шагу нельзя было ступить, чтобы под ногами что-то не заверещало или не заблеяло. Разнообразные отпрыски племенных пород, дорогих сердцу Сергея Петровича, воспитывались в доме до тех пор, пока пребывание их не начинало угрожать мебели или посуде. Тут были ангорские козочки с печальными чистыми глазами и с копытцами, похожими на хрупкие китайские чашечки; ягнята-линкольны с длинной волнистой шерсткой, скользкой, как шелк; массивные, словно литые из какого-то небывалого упругого чугуна, телки-герриформы с твердыми желваками рожек на плоском широком лбу; розовые, суетливые поросята с труднопроизносимыми титулами древних пород и даже жеребята, высокие, плоские и тонконогие. Все они были чистенькие, мытые-перемытые Парфеновной, матерью и самим Алешей, веселые, сытые, ласковые, и все имели имена: «Панночка», «Мазепа», «Руслан», «Демон», «Каштанка» (называл их сам Алеша, и это зависело от того, что читала ему вслух по вечерам мать).

В детстве Алеша любил играть с ними. Порой, навозившись, он схватывал вздрагивающее тельце и валился с ним на диван, прижав лицо к теплой пушистой шерстке. Закрыв глаза, он слушал биение крохотного робкого сердца, и ему казалось, что тот чудесный огонек, о котором говорил отец, трепещет и вспыхивает, готовый погаснуть. Жалостное и тревожное чувство овладевало им, и ему становилось совершенно ясно, что надо немедленно сделать все, чтобы огонек этот не погас. Он вскакивал и мчался к отцу, крича, что Онегин гибнет (в слове «умирает», по его мнению, было мало трагизма). И тогда Сергей Петрович, пощипывая рыженькую бородку, тоже наклонялся над беспомощным тельцем, но потом, выпрямившись, улыбался и успокаивал Алешу. Они садились рядом на диван, и отец, почесывая за ухом очередного Алешиного любимца, говорил о том, что, заболев, этот козленок сам найдет травку, которая его вылечит, хотя никто его этому не учил. Он увлекался и, забывая, что говорит с ребенком, сбивался на восторженную биологическую поэму, воспевая великую силу таинственного чудесного огонька. Он рассказывал о жизни, которая сама прокладывает себе дорогу, совершенствуясь в поколениях, расцветая в новых, все улучшающихся формах, и убеждал сына в том, что в заботах о всякой жизни, в охране ее, в помощи ей и заключается смысл существования человека, самого умного из живых существ и потому ответственного за них. Алеша не все понимал, но огромная любовь к миру, до краев наполненному жизнью, сладко сжимала его сердце, и очень хотелось, чтобы все поскорее были красивы и счастливы.

Тринадцати лет он пережил потрясение, внезапно опрокинувшее философию отца. Это произошло в областном городе, куда отец отправлял его на зиму к тетке, чтобы дать ему возможность учиться в десятилетке.

Какой-то незадачливый педагог додумался устроить экскурсию детей на мясокомбинат — «в целях приближения к освоению понимания значения животноводства как решающей проблемы края», а другие чиновники, равнодушные к детям, однако такими же суконными словами уверенно рассуждавшие о детской психологии, не только не остановили его в преступном этом намерении, но, наоборот, одобрили данное мероприятие.

Запах крови, томительный и душный, встретил детей за первой же дверью, ведущей в цехи. Кровь темным и еще горячим ручейком текла по канавкам в полу, кровью были забрызганы белые халаты людей, мелькавших в теплом, влажном тумане, подымавшемся от парного мяса. Они снимали шкуры, отрубали копыта, спиливали рога, и всюду, задевая детей, медленным нескончаемым потоком плыли над головами подвешенные к рельсам красные ободранные туши.

Бледные от волнения, с бьющимися маленькими сердцами, дети, стараясь храбро делать вид, что им все равно, дрожащей, теснящейся друг к другу стайкой шли за самодовольным педагогом, который, расспрашивая сопровождавшего экскурсию инженера, так и сыпал цифрами, названиями, техническими пояснениями.

Наконец их привели в светлый, просторный зал. Здесь было пусто, чисто и тихо, но тишина эта была зловещей и страшной. Хитро устроенные загородки вели к помостам с какими-то цепями и крючьями, странными, качающимися досками. Положив руки на блестящий рычаг доски, инженер сказал привычным равнодушным тоном:

— Вот тут, собственно, и происходит самый процесс освобождения от жизни. Животное вводится сюда, затем...

Дальше Алеша ничего уже не слышал — так поразила его необычная формулировка: «освобождение от жизни». Как убивают, детям, слава богу, не показали, и они вышли на площадку пятого этажа, примыкающую к страшному цеху. Отсюда далеко внизу были видны загоны для скота. Они кишели стадами — мычащими, блеющими, хрюкающими. Алеша узнал в них геррифордов, йоркширов, линкольнов — все породы, которые разводил его отец, и с ужасом подумал, что среди них может метаться Панночка или Онегин.

Открытие это раздавило его.

Неужели тот чудесный огонек жизни, в заботах о котором отец полагал смысл собственного своего существования, был нужен только для того, чтобы вокруг него наросло достаточное количество мяса, белков, жиров и костей, после чего от него освобождались, как от чего-то лишнего и мешающего делу?

Мир начал представляться ему совсем не таким, ка-

ким изображал его отец, и рай, царивший в домике на краю совхоза, потускнел.

К лету Алеша вернулся домой совсем другим. Восторженность отца по поводу народившихся весною новых милых существ казалась ему теперь ложью, или слепотой, или (что было хуже всего) ограниченностью. Он долго не решался задать отцу прямой вопрос, но однажды, за очередным пирогом по случаю рождения ягненка того веса, которого добивался Сергей Петрович, не сдержался и выложил все, что видел на мясокомбинате и что думал об этом. Он рассказал это с тем страстным, вдохновенным и скорбным гневом, с каким может говорить только подросток, впервые столкнувшийся с несправедливостью и осознавший ее.

Эффект получился чрезвычайный. Ему удалось так живописно представить поразившую его картину, что мать ахнула, Парфеновна заголосила, прижав к огромной своей груди обреченного ягненка, а отец, помолчав, посмотрел на Алешу с новым, серьезным любопытством и сказал, что он, видимо, вырос.

Все то, что потом в долгих, часто повторявшихся разговорах приводил отец, Алешу никак не убеждало. Он и сам отлично понимал, что те благодетельные изменения в жизни окружавших его людей, которые происходили в степи у него на глазах — каменные дома и электричество в них, школы и больницы, сытная еда и облегчаемый машинами труд,— не могли бы произойти, если бы колхозные и совхозные стада, основа благосостояния этих людей, не увеличились и не улучшились бы в качестве за последние годы. Ему было совершенно понятно и то, что прибавка в живом весе каждого ягненка прямо отражалась на судьбе каждого голопузого ребенка, копошащегося в юрте, так как давала возможность образования, совершенствования и, в конечном счете, счастья. Следовательно, отец, увеличивая число ягнят и улучшая их качество, делал важное, нужное и доброе дело. Алеша соглашался даже с тем, что раз каждое живое существо само по себе все равно должно когда-нибудь умереть, то вопрос лишь в том, чтобы краткое его существование и неотвратимая гибель принесли возможно больше пользы другим существам, в данном случае — людям.

Но, понимая умом, он никак не мог принять эти не-

оспоримые истины чувством. Возможно, если бы той страшной экскурсии не было, вопрос о жизни и смерти раскрылся бы перед ним незаметно и постепенно — так, как раскрывается он в течение всей человеческой жизни, в которой всякому познанию есть свое время. А может быть, иначе — он сам равнодушно прошел бы мимо него, как проходят многие люди, не думающие, а иногда и не желающие думать, что же такое жизнь и смерть. Но вставший перед ним так рано, когда ни ум его, ни чувства еще не созрели и не окрепли, этот вопрос был для него непостижим и непосилен.

Жизнь, обрывающаяся в смерть, чтобы вспыхнуть в новых, неузнаваемых формах; расцвет, возникающий на распаде; исчезновение для возрождения; вечный круговорот материи, вечно и неистребимо живущей в различных воплощениях,— все это принималось его юной, влюбленной во все живое душой не как слитность причин, которая и движет и развивает жизнь, а как чудовищное и несправедливое противоречие. То обстоятельство, что жизнь, уничтожаемая там, на бойне, питала собой другие, более совершенные существа — людей, никак не совмещалось с мыслью о «чудесном огоньке», который так трогал и волновал его раньше и который сам же отец вызывал и поддерживал с такой заботой и любовью.

И в отношениях его с отцом наступило охлаждение. Исчерпав разумные доводы, отец перешел к насмешкам. Он предлагал Алеше быть, по крайней мере, последовательным — не восторгаться заливным из поросенка и не уплетать за обе щеки пельмени, в сочной начинке которых, по сибирскому обычаю Парфеновны, были смешаны бычьи, свиные, телячьи жизни. Алеша раздражался и отвечал, что, занимаясь поставкой скота на бойню, надо так и рассматривать это занятие, а не говорить красивые слова о драгоценности всякой жизни и о «чудесном огоньке». Отец тоже вспыхивал и кричал, что не позволит мальчишке оскорблять свои убеждения, и часто обед кончался тем, что мать плакала, а Алеша вскакивал на велосипед и уезжал за тридцать километров дня на три-четыре к своему приятелю и однокласснику Ваське Глухову, сыну командира пограничного отряда.

Отряд стоял у китайской границы на берегу большого степного озера. Еще с прошлого года, когда в конце ле-

та приезжал в отпуск страший брат Васьки, курсант Военно-морского училища имени Фрунзе, у них завелась там парусная шлюпка. Собственно говоря, это была обыкновенная рыбачья лодка из тех, что целыми стаями выходили на озеро с сетями. Но Николай, гордясь перед мальчиками флотским умением, приделал к ней киль, выкроил из старой палатки разрезной фок, основал ванты и шкоты и научил обоих искусству держать в крутой бейдевинд. Лодка стала называться «вельботом» и отлично выбиралась почти против ветра, изумляя рыбаков, которые на своих тяжелых лодках с прямым парусом испокон веку выгребали навстречу ветру на веслах.

Всякий раз, когда Алеша приезжал к Ваське, мальчики до ночи деловито собирали все, что требовалось для большого похода: тетрадь, где были записаны завещанные Николаем морские слова и команды; другую, в клеенчатом переплете, служившую вахтенным журналом; бидон из-под бензина с пресной водой (в озере была отличная вода, но так уж полагалось на морской шлюпке); ведра, удочки, спички, ружья и компас, который Васька для каждого похода заимствовал из наплечных ремней отца и который на всяком курсе исправно указывал на ближайшее от него ружье. Погрузив все это в шлюпку, приятели с рассветом выходили в озеро, как в океан: оно широко расплескалось в степи, и низких его берегов с середины и в самом деле не было видно.

Первые сутки они проводили «в открытом море», поочередно принимая на себя обязанности и права капитана и команды, кормились захваченной с берега снедью, стойко запивая ее теплой, припахивающей бензином «пресной водой». К вечеру второго дня в команде обычно разражалась цинга или назревал голодный бунт, и тогда обсуждался план набега на вражеские берега за свежей провизией. В зависимости от сезона и от места, где застигло корабль несчастье, вражескими берегами оказывались либо западный мыс с огородами подсобного хозяйства погранотряда, либо южная бухта, в которой хорошо ловилась рыба, либо устье реки, где в камышах водились утки и прочая дичь.

И там с удивительной непоследовательностью юности Алеша, готовый загасить выстрелом «чудесный огонек», часами лежал с ружьем на дне шлюпки, выжидая, когда

из камышей, крякая и плещась, выплывет кильватерная колонна выводка. Впрочем, в этом тоже была игра: утки были вражескими кораблями, прорывающими блокаду, двустволка — огромной башней линкора, а сам он казался себе спокойным и властным командиром с трубкой в зубах. В романтическом этом образе было намешано решительно все, что Алеша слышал о море или прочитал в тех книжках, которые Васька натаскал домой из школьной, отрядной и городской библиотек, утверждая, что тут, в степи, никто не сможет оценить этой литературы так, как он, прирожденный моряк.

Об этих походах по озеру, так же как и об охоте, Алеша, возвращаясь домой, предпочитал не распространяться. Во-первых, не к чему было расстраивать мать: она смертельно боялась всякой воды в количествах, бóльших того корыта, в котором когда-то со страхом купала его, и совхоз благословляла именно за то, что в нем не было пруда, где Алеша обязательно бы утонул. Во-вторых, ему решительно нечего было бы ответить отцу, который, несомненно, заинтересовался бы, как же это так он, страстно обвиняя отца в убийствах, сам уничтожает жизнь, и вдобавок собственными своими руками! Нельзя же было в самом деле пытаться объяснять ему, что в морских приключениях, когда экипаж готов погибнуть от голода, разбираться в средствах не приходится, тем более что утка, поджаренная на шомполе в дыму костра, удивительно, совсем-совсем по-особому вкусна... Ну, а втолковывать отцу, что это, собственно, вовсе и не утка, а вражеская шхуна, нагруженная продовольствием, и что выстрел в камышах — не охота, а морской бой, уж совсем было невозможно.

На «вельботе» приятели вели разговоры решительно обо всем, но чаще их занимал вопрос будущей профессии; об этом пора было всерьез задуматься: как-никак ведь им скоро стукнет четырнадцать лет!.. Может быть, потому, что Васька жил в суровой и напряженной обстановке погранзаставы, а может быть, потому, что мужчины в этом возрасте представляют собой особый род необычайно чуткого радиоприемника, улавливающего то, что говорится между слов и пишется между строк,— но так или иначе в эти почти детские еще разговоры вошла большая и грозная тема: война. Обоим было неопровержимо ясно,

что рано или поздно война с фашизмом будет, вопрос лишь в том, успеют ли они к тому времени вырасти. И поэтому прямая их обязанность — готовиться защищать революцию и Советский Союз на военном корабле (по возможности, на одном). И однажды, выйдя на «вельботе» на середину озера и подняв на мачте настоящий военно-морской флаг, сшитый специально на этот случай, приятели, став «смирно», торжественно поклялись под ним, что поступят в Военно-морское училище имени Фрунзе.

С этого дня Алешей целиком овладела мечта о флоте.

Впрочем, по совести говоря, в этой мечте что-то было ему еще не очень ясно. Там, на озере, он с увлечением спорил с Васькой, кто же в конце концов победил в Ютландском бою — англичане или немцы, и что решает морской бой — торпедный залп или артиллерийский огонь? Там ему было понятно, что в будущем он станет артиллеристом линейного корабля. Но здесь, дома, в густой тени пахнущих смолою пихт, куда забирался он с книжкой Станюковича или Стивенсона, ему думалось об озере и о ждущем его там «вельботе» совсем по-другому.

Вспоминались почему-то не споры об оружии и маневрах. Вспоминался влажный воздух озера, широкий его простор, свежий ветерок, шквалом налетающий на парус и кренящий шлюпку, те две жестокие бури, в которых они едва не погибли (и которые оба потом небрежно называли «неплохими штормиками»). Вспоминалась торжественная и пленительная тишина закатов и утренних зорь, загадочная мгла низких туманов, лежащая на воде. Но важнее всего и дороже всего было поскрипывание мачты и журчание воды за бортом, рожденное движением по воде, и само это движение вперед, все вперед, непрерывное, неостановимое — бег, стремление, скольжение по ровному широкому простору, где все пути одинаково возможны и одинаково заманчивы... И море — далекое, огромное, расплескавшееся океанами по всему земному шару, никогда не виденное, но желанное — манило и звало его к себе.

Он не понимал еще этого зова и не знал, что именно будет делать на море: стрелять с палубы военного корабля или водить по океанам совторгфлотские пароходы. Второе привлекало его больше. Это была дорога в мир, в неведомые страны, в далекие города, в Индию, в Австра-

лию, в Арктику, и глубоко в душе Алеша признавался себе, что тянет его не война — а море, не бои — а плавания, не орудия — а компасы.

Но об этих мыслях он пока что не говорил Ваське, чтобы не расстраивать дружбы. И так уж вышло, что, вернувшись осенью в город, Алеша вместе с ним развил бешеную деятельность по пропаганде военно-морского флота. В пионерском отряде школы оба наперебой делали доклады о кораблях, о морской войне, об истории флота, в военно-морском кружке обучали других флотскому семафору и сигнальным флагам, читали вместе книги и журналы, аккуратно присылаемые из Ленинграда Николаем, который горячо поддерживал их увлечение, и оба завоевали себе славу лучших знатоков всего, что касается флота. Но порой, оставшись один, Алеша как бы останавливался с разбегу и, опомнившись, осматривался, пытаясь понять, что же такое выходит.

В самом деле, выходила какая-то чепуха: все были уверены в том, что по окончании школы кто-кто, а уж Решетников и Глухов обязательно уедут в Ленинград, в Военно-морское училище имени Фрунзе. Не уверен в этом был только он сам. В минуты раздумья и тишины в душе его снова подымалась знакомая волнующая мечта о море, просторном и свободном, о плаваниях, далеких и долгих, о незнакомых берегах, о тихих закатах, торжественных и величественных, таящих в себе редчайшее чудо зеленого луча, возможное только в океане и видимое лишь счастливцами.

Об этом луче и о связанной с ним легенде Алеша узнал зимой, когда Васька в своих исступленных поисках всяческой морской литературы наткнулся в городской библиотеке на роман Жюля Верна с таким названием. Книгу приятели проглотили залпом, хотя в ней говорилось не столько о морских приключениях, сколько о каком-то чудаке, который изъездил весь мир, чтобы увидеть последний луч уходящего в воду солнца — зеленый луч, приносящий счастье тому, кто сумеет его поймать. Само явление их, однако, заинтересовало, и летом они поставили ряд научных опытов, наблюдая на своем «вельботе» закаты на озере. Никакого зеленого луча при этом не обнаружилось, хотя Васька, многим рискуя ради науки, каждый раз заимствовал для этого полевой би-

нокль отца. Был запрошен особым письмом такой авторитет, как Николай. Тот ответил, что зеленого луча ему лично видеть не приходилось, хотя плавает он уже четвертую летнюю кампанию, но действительно среди старых моряков, преимущественно торгового флота, такая легенда бытует. Тогда Алеша объявил, что, наверное, зеленый луч можно увидеть только в океане, иначе какое же это редкое явление природы, если все могут наблюдать его где угодно. Васька же утверждал, что раз дело в физике, в простом разложении солнечного спектра нижними слоями атмосферы, то оно может случиться и на озере, были бы эти слои достаточно плотны да чист горизонт.

Но тут в погранотряде начали строить вышку для прыжков в воду, потом приятели занялись отработкой стиля кроль, который у них не ладился, и опыты были забыты, но зеленый луч так и остался для Алеши символом океана и всего, что связано с его простором. И порой в закатный час, когда солнце медленно опускалось над краем степи, ровной, как само море, сладкая, манящая тоска сжимала сердце Алеши. Он представлял себе это же солнце над живым простором океана, и ему казалось, что в первый же раз, когда он увидит его там, из воды навстречу ему блеснет волшебный зеленый луч, как бы подтверждая, что счастье наконец достигнуто, если он, Алеша, выбрал своим жизненным путем желанный, манящий к себе океан...

И, может быть, эти видения взяли бы верх, если бы следующее лето не разъяснило ему, чем же именно привлекает его к себе море.

Приехав в совхоз на каникулы, Алеша застал отца прихрамывающим. Оказалось, что Русалка, некогда топотавшая копытцами в домике, чувствительно лягнула отца, когда он прижигал сбитую ее спину. Нога болела, и совхозный врач посоветовал Сергею Петровичу взять путевку в Сеченовский институт физических методов лечения в Севастополе. Отец сообщил об этом за вечерним чаем матери и, хитро подмигнув, сказал, что неплохо было бы поехать всем вместе, показать Алеше по дороге Москву и дать ему возможность посмотреть Крым, на что вполне хватит недавно полученных премиальных. У Алеши захватило дух, остановилось сердце, и, забыв прогло-

тить горячий чай, он безмолвно поднял глаза на мать, ибо в столь важном семейном вопросе голос ее был решающий. И мать, видя в глазах его трепетную мольбу, согласилась, не подозревая, что означает эта мольба и к чему она приведет.

Все было как сон: поезд, станции, новые лица, Москва, Красная площадь, Мавзолей, не виданные никогда трамваи, шум, грохот, залитые светом улицы, снова поезд, поля, леса, тоннели, Крым, солнце... Все это смешалось и все было где-то в тумане памяти. Реальностью осталось одно: Черное море, огромное море, настоящее соленое море, просторное, шумящее, благословенное, долгожданное...

Оно ворвалось в сердце видением громадной бухты, блеснувшей в вагонном окне после какого-то длинного тоннеля. Темная ее синева лежала в белых и зеленых откосах скал, и не успел Алеша разглядеть, что за черточки и палочки чернеют на мягком синем шелке воды, как поезд повернул и бухта исчезла. И лишь потом, поднимаясь на трамвайчике в город вдоль обрывистого ската и рассматривая бухту во все глаза, Алеша понял, что черточки эти и были военные корабли.

И они стали центром его внимания все то время, которое он провел в этом городе флота и моря. Часами он просиживал на пристани с колоннадой, встречая и провожая военные шлюпки и катера, или торчал на Приморском бульваре возле Памятника затопленным кораблям, жадно всматриваясь в близко проходящие у бонов крейсера, миноносцы, подлодки. Деньги, которые Анна Иннокентьевна давала ему на кино, уходили на другое: он брал в яхт-клубе байдарку и делал на ней смотр кораблям, стоящим в бухте. Замирая от восторга, он медленно греб вдоль серо-голубых бортов линкора и крейсеров, останавливался, положив мокрое, теплое весло на голые ноги, и прислушивался к дудкам, звонкам, склянкам, горнам, к командам и песням, влюбленно впиваясь взглядом в орудия, шлюпки и мостики, готовый обнять и расцеловать каждую якорную цепь, свисающую в воду (если бы часовой у гюйса позволил байдарке подойти вплотную).

Алеша дорого дал бы за то, чтобы хоть одним глазком взглянуть на таинственную жизнь за чистыми



Часами он просиживал на Приморском бульваре, жадно всматриваясь в проходящие корабли.

голубыми бортами, и, покачиваясь на байдарке, мечтал о чуде. Чудес было множество — на выбор. Мог, например, вылететь из иллюминатора подхваченный сквозняком секретный пакет? Он вылавливает его из воды и доставляет командиру. Мог, скажем, во время купания начать тонуть краснофлотец? Он спасает его, кладет на байдарку и доставляет командиру. Или с бакштова отрывается шлюпка и ее несет в море,— он нагоняет ее, берет на буксир и доставляет командиру. Диверсант на такой же байдарке мог вечером подкрадываться к борту с адской машиной? Он задерживает его и доставляет командиру... Все чудеса обязательно заканчивались стандартным свиданием с командиром и его вопросом: что же хочет Алеша в награду? Тут он скромно говорит, что ему ничего не нужно, кроме разрешения осмотреть корабль или (здесь даже в мечтах Алеша сомневался, не перехватил ли он) согласия взять его с собой на поход.

Но чудо не приходило, а дни проходили, и пора было оставлять Севастополь. И вдруг за пять дней до отъезда чудо — невероятное и простое, как всякое настоящее чудо,— само свалилось на голову.

В выходной день Алеша сидел на пристани на своей любимой скамейке у колонн. Звучало радио, светило солнце, темной синевой лежала за ступенями бухта, и далекой мечтой виднелись там корабли. От них то и дело отваливали баркасы и катера: был час праздничного увольнения на берег. Краснофлотцы, выскакивая из шлюпок, мгновенно заполняли всю пристань, потом взбегали по ступеням и растекались по площади. Сверху, от колоннады, казалось, что с бухты на пристань накатывается мерный прибой: ступени то исчезали под бело-синей волной моряков, то появлялись, яркие платья девушек крутились в этой волне, словно лепестки цветов, подхваченных набегающим валом. Скоро прибой кончился, а на краю пристани все еще пестрел букет платьев и ковбоек, и Алеша понял, что это очередная экскурсия на корабли, ожидающая катера.

Он с острой завистью посмотрел на шумную группу молодежи. Ужасно все-таки быть неорганизованным одиночкой!.. Какие-то девчонки, которым что зоосад, что крейсер, попадут сейчас на корабль, а он... И, увидев, что три «девчонки», устав дожидаться на солнцепеке,

побежали к его скамье, встал, собираясь уйти, как вдруг одна из них приветливо поздоровалась и назвала его по имени. Он узнал в ней Панечку, медицинскую сестру, ухаживавшую за отцом в санатории. Она заговорила с ним о скором отъезде, стала спрашивать, все ли успел он в Севастополе посмотреть, но тут их перебил юноша в ковбойке, подошедший со списком в руках. Он спросил, не видели ли они какого-то Петьку. Девушки сказали, что Петька, верно, проспал по случаю выходного, и Алеша, не сдержавшись, буркнул, что такого Петьку мало за это расстрелять. Девушки расхохотались, юноша удивленно на него посмотрел, а Панечка объяснила, что это Алеша Решетников, пионер с Алтая. Юноша в ковбойке оказался работником горкома комсомола, и с ним можно было говорить как мужчина с мужчиной. Алеша отвел его в сторонку и выложил ему всю душу (проделав это, впрочем, в крайне быстрых темпах, ибо катер с крейсера уже приближался). Тот ответил, что лишнего человека он взять не может, но что если Петька опоздает...

Петька опоздал — и чудо свершилось.

В комнатку, которую они с матерью снимали возле санатория, Алеша вернулся к вечеру в таком самозабвенном, открытом восторге, что мать спросила, что такое случилось. И Алеша тут же честно признался ей во всем: и в дружбе с Васькой, и в походах по озеру, и в любви своей к морю, и в том, что теперь, побывав на крейсере и пощупав своими руками орудия, он уже окончательно, твердо, бесповоротно понял, что после школы ему одна дорога — в училище имени Фрунзе. Мать заплакала и заговорила о том, что на море тонут. Алеша засмеялся, обнял ее поласковее и сел рядом с ней. Они провели один из тех вечеров, которые так драгоценны в дружбе матери с взрослеющим сыном,— вечер откровенностей, душевных признаний, слез, сожалений, готовности к взаимным жертвам,— и Анна Иннокентьевна обещала ему не мешать в его разговоре с отцом.

Разговор этот Алеша отложил до возвращения в совхоз: нельзя же было в вагоне, при чужих людях, говорить о том, что переполняло сердце. И только там, на Алтае, повидавшись сперва с Васькой и доведя себя рассказами о Севастополе и о крейсере до последнего

накала, Алеша решился поговорить с отцом. Но все время что-то мешало: то у отца было неподходящее настроение, то сам Алеша чувствовал себя «не в форме» для такого серьезного разговора, то колебался, говорить наедине или привлечь в союзники мать. И разговор все откладывался и откладывался, пока не возник сам собой в тот день, когда отец, отправляясь на горный выпас совхозного стада, предложил Алеше прокатиться с ним верхом.

На втором часу пути степь перешла в лесистое взгорье. Все выше и гуще становились пихты, ели, сосны, и наконец всадники въехали в старый сосновый бор. Сухой зной степи сменился свежей прохладой, и притомившиеся кони пошли бок о бок медленным шагом, осторожно ступая по мягкому и скользкому ковру прошлогодней хвои, желтевшей у подножий мощных колонн. Величественная тишина стояла под высоким сводом ветвей, и после ослепляющего простора степи все здесь казалось погруженным в полумрак. Лишь порой проникавший сюда солнечный луч, узкий и яркий, вырывал из него муравейник в глубокой впадине между корнями, поросший мхом пень с лужицей застоявшейся в нем коричневой воды или блестел на крупных каплях янтарной смолы, стекающей по стволу,— и все, чего касалось солнце, вдруг обретало краски и объем, кидалось в глаза и задерживало на себе взгляд. Алеша, покачиваясь в седле, долго любовался этой игрой света молча и вдруг усмехнулся. Отец взглянул на него сбоку:

— Ты чему?

— Мыслям...

— А именно?

— Так их разве расскажешь? — засмеялся Алеша и повернул к отцу оживленное лицо.— Ну вот у тебя бывает так, что все вдруг сразу понятно и ясно? Будто как сейчас: ударило солнце в муравейник — он и виден, а не ударило бы — так и пройдешь мимо...

— Чтобы все понятно, этого не бывало,— улыбнулся отец,— а кой о чем догадываться случалось... Только, конечно, не вдруг.

— Нет, именно вдруг,— упрямо повторил Алеша,— именно вдруг... Мучился-мучился человек, думал-думал, колебался, не знал, как решить, и вдруг — раз! — и от-

крылось... И оказывается, все очень просто... А главное — ясно! Так ясно, так легко, что прямо кричать хочется. — И он в самом деле закричал звонко и счастливо.

Конь под ним шарахнулся, и Сергей Петрович, сдерживая своего, засмеялся, любуясь сыном: такое откровенное счастье было на его загорелом лице, так блестели глаза и такая решимость была во всем его тонком и хрупком, еще не сложившемся теле, наклонившемся в седле, что, казалось, дай только волю — и ударит Алеша коня и умчится к видимой ему одному далекой и прекрасной цели, только что открывшейся для него, не понимая, что цель эта — просто юношеская мечта, привидевшаяся в горячке воображения, мираж, который растает в воздухе, едва заведет человека в пустыню, где тот долго будет оглядываться и искать, что же так прекрасно и сильно манило его к себе и что завлекло его сюда... Сергей Петрович любил в сыне эту способность мгновенно загораться, но в глубине души считал ее опасной чертой характера, могущей быть причиной многих жизненных ошибок.

— Эк тебя надирает! — сказал Сергей Петрович, все еще улыбаясь.— Счастливый у тебя возраст... Ну ладно, как говорится, «простим горячке юных лет и юный жар и юный бред»... Только имей в виду: такому наитию, брат, грош цена. Решение должно в самом человеке созреть, а не с неба свалиться.

— Да ты не понимаешь! — досадливо отмахнулся Алеша.— Я и не говорю, что с неба. Человек перед этим долго думал и мучился, а тут... Скачок, понимаешь? — добавил он важно.— Переход количества в качество...

— Вон что! Тогда понятно,— так же важно ответил отец.— И какой же в тебе произошел скачок?

Он спросил совершенно серьезным тоном, но в глазах его Алеша увидел искорки смеха, и это его подхлестнуло: неужели отец все еще считает его мальчиком, неспособным к раздумьям, колебаниям и решениям! И неожиданно для самого себя Алеша заговорил о том, что «открылось» ему в Севастополе на палубе крейсера.

Сергей Петрович слушал его, не прерывая и даже не поворачивая к нему лица. Опустив голову и глядя прямо перед собой меж прядающими ушами коня, он молча

следил за тем внезапным потоком слов, который вырвался наконец из самого сердца Алеши. Это были удивительные слова мечты и надежды, исполненные юношеской горячности и одержимости, целая поэма о море, кораблях и орудиях, развернутый трактат о воинском долге мужчины, страстное исповедание веры в свое призвание. Алеша говорил негромко и взволнованно, устремив взгляд в полумрак бора, будто видел в нем мерещившиеся ему просторы. И, только выложив все и закончив тем, что жизненный путь избран им навсегда и что путь этот — военный флот, Алеша повернулся к отцу.

И тогда острая жалость стиснула его сердце: у Сергея Петровича, ссутулившегося в седле, был совсем несчастный вид. Минуты две они ехали молча, только легкий треск сухих игл под копытами, пофыркивание коней да позвякивание стремян нарушали тишину леса. Алеша проклинал в душе и эту тишину, настроившую его на откровенность, и солнечные пятна, напомнившие о прекрасном и легком чувстве там, на палубе крейсера, когда ему вдруг все «открылось». Оживление его как рукой сняло, и он ехал, молчаливо мучаясь: зря завел он этот разговор, все отлично обошлось бы как-нибудь само собой, со временем, и не было бы у отца этого убитого вида, который хуже всякого гнева и крика... Алеша уже готов был сказать какие-то ласковые слова, чтобы поддержать отца, который, несомненно, очень тяжело переживает эту новость, когда тот, по-прежнему глядя между ушами коня, негромко сказал:

— Так, брат... Выходит, ты и в самом деле вырос... Рановато, конечно, в пятнадцать лет всю свою судьбу решать, но против рожна, видно, не попрешь... Значит, решил ты всерьез?

— Да,— виновато сказал Алеша.

— Ну что ж, дело твое. У меня к тебе один только вопрос: ты вполне уверен, что тянет тебя именно военный флот?

— Вполне,— сказал Алеша, собрав всю свою убежденность.

— А не море?

— Что — море? — спросил Алеша настораживаясь: все, что, казалось, бесследно исчезло в Севастополе — океаны, плавания, словом, «зеленый луч»,— снова вста-

ло перед ним. Походило, будто отец подслушал самые тайные (и самые грозные) его сомнения.

— Ну, море. Просто море. Вода, волны, простор, путешествия. Стихия заманчивая и прекрасная, такой и впрямь можно увлечься.

— Ну, и море, конечно... Нельзя быть военным моряком и не любить моря: это одно и то же...

— Теперь ты меня не понимаешь,— серьезно сказал отец и впервые поднял на него взгляд.— Я хочу знать, хорошо ли ты в себе разобрался, что именно тебя привлекает. Может, просто-напросто тебе плавать хочется? По морям побродить, мир посмотреть, а?

— Видишь ли... — смутился Алеша и тут же нагнулся подтянуть стремя.— До Севастополя я и сам путался... наверное, потому, что военные корабли только на картинках видал... А там... Ну, я ж тебе только что говорил: это совсем-совсем особое чувство...

Он наконец выпрямился, подняв покрасневшее не то от натуги, не то от смущения лицо, и закончил, уже овладев собой:

— Теперь-то я твердо знаю: именно военные корабли... И потом, ты сам подумай: ну, пойду я в Совторгфлот, похожу по океанам, привыкну к торговому пароходу, полюблю его, а война бахнет — и пожалуйте бриться... Нет уж, раз все равно воевать придется, так лучше заранее научиться как... И лучше воевать на море, чем в пехоте, верно ведь?

Алеша залпом выложил свои последние доводы, но Сергей Петрович на них не ответил. Он снова уставился взглядом меж ушей коня, на этот раз тихонько насвистывая, что означало у него сдерживаемое раздражение. Потом горько усмехнулся:

— Н-да... Прямо, брат, как в сказке: и все прялки во дворце попрятали, и прясть во всем царстве запретили, а дочка сама веретено нашла, укололась — и папаше все-таки на сто лет компот устроила... — Он помолчал и вздохнул.— Одно мне удивительно: откуда в тебе этот интерес к войне взялся? В городе ты его набрался, что ли? В школе или в пионеротряде?

Алеша обиделся.

— Что значит — набрался? — сказал он, чувствуя, что начинается спор, который ни к чему не приведет.—

Фашисты все равно нападут — рано или поздно, это ясно всем, кроме тебя. Война же обязательно будет.

— Ну хорошо, пусть будет, черт с ней совсем! — так же резко перебил его Сергей Петрович и снова посвистал, пощипывая бородку.

Потом, успокоившись, продолжал раздумчиво и негромко:

— Но ведь ты понимаешь, что одно дело — взяться за оружие в час опасности, когда за горло схватят, а другое — быть военным-профессионалом. Вдобавок командиром. Тут, брат ты мой, нужно быть человеком совсем особой складки. Одного желания для этого маловато. Для командира требуются задатки, определенный характер, способности... Ничего этого я в тебе не вижу. Вот помнишь, как ты о войне разорялся?

— Помню,— сказал Алеша, снова покраснев.— Так я же мальчишкой тогда был...

— Не в том, брат, дело. Для тысяч мальчишек это в порядке вещей: ну, росла корова, зарезали ее и съели — подумаешь, трагедия! А для тебя это оказалось прямо-таки потрясением. Отчего? Хочешь ты или не хочешь, а сидит в тебе любовь ко всякой жизни, и сидит глубже, чем сам ты предполагаешь... Это, брат, с детства: чудесный огонек помнишь? Вернется это к тебе с возрастом — ох, вернется! — да поздно будет. И увидишь ты себя несчастным человеком, который чувствует, что не своим делом занимается. Не позавидую я тебе, когда ты на это открытие наткнешься. Страшное, брат, дело — в собственной жизни раскаиваться...

Он покачал головой, нахмурился и значительно поджал губы, потом снова заговорил негромко и доверительно:

— Мне вот тоже когда-то было совершенно ясно, что я непременно должен стать врачом. Годы на это положил — учился, дипломы получал, потом людей мучил и сам мучился, пока не понял, что это вовсе не мое дело: ни таланта во мне к этому, ни охоты настоящей, ни смелости, ни упорства, а так — лечу людей, потому что чему-то учился, а вдохновения во всем этом шиш... Всякое дело, Алеша, надо делать страстно, убежденно, веря, что оно для тебя единственное. А я годы в чужой сбруе ходил... Уж и ты народился, а я все врачом ковырялся.

И плохим врачом... Пока не понял, что настоящее мое дело — скот разводить. Через скот людям помогать жить, а не припарками да микстурами, в которых я ни бе ни ме... Только тогда смысл своей жизни понял — и вздохнул, будто из каторги на волю вырвался. А кто же мне эту каторгу устроил? Сам... Но мне-то можно было бросить одно дело и заняться другим, что по душе оказалось, а тебе будет трудновато. Командир, брат,— это дело такое: назвался груздем, полезай в кузов до конца жизни. Вот ты о чем подумай, прежде чем жизнь решать... Небось тебе это в голову не приходило, а?

Алеша молчал. Что ему было ответить? Снова говорить о своей мечте? Но легкие, радостные слова, которые только что так свободно и весело срывались с языка, вдруг отяжелели и потускнели, и никакая сила в мире не заставила бы его снова заговорить так, как он недавно говорил отцу о флоте. Он молчал, упрямо смотря перед собой.

И отец, видимо, понял, что́ происходило в нем, потому что вдруг протянул к нему руку и ласково пожал ему локоть.

— А впрочем, я тебя не отговариваю,— сказал он совсем другим тоном.— Да и чего отговаривать: чужой опыт, как известно, никого еще не убеждал. Так уж человек устроен, что ему свою стенку собственным лбом прошибать хочется. Раз тебе кажется, что это настоящее твое призвание, что ж, спорить не стану. Решай как знаешь... А пока что давай позавтракаем, благо тут тень...

Три дня Алеша был в самом лучшем настроении — все обошлось неожиданно просто: спорить, убеждать, доказывать оказалось совсем не нужно. Но все же разговор в лесу оставил в нем странное чувство растерянности и неудовлетворенности. Получилось так, будто он изо всех сил навалился на дверь, думая, что ее подпирают плечом с той стороны, а она внезапно распахнулась, и он с размаху влетел в пустую комнату, где вместо ожидаемого противника увидел в зеркале самого себя. И лесной разговор и последующие неизменно заканчивались тем, что Сергей Петрович предоставлял Алеше полную свободу выбора. А это было хуже всего, потому что вопрос отца: «А не просто море?» — опять поднял в нем целый ворох давнишних размышлений и сомнений.

Чтобы укрепиться в своей мысли о военном флоте, Алеша поделился с Васькой доводами отца, умолчав впрочем, обо всем том, что именовалось у него «зеленым лучом», так как раскрыть Ваське свою смутную мечту об океанах означало немедленно схлопотать какое-нибудь ядовитое словечко, вроде «безработного Колумба».

Васька, как и следовало ожидать, подошел к вопросу со свойственной ему прямолинейностью: Сергей Петрович — просто упрямый старик (хотя тому было немногим за сорок), который эгоистически боится за жизнь сына и прикрывает это всякими теорийками, попахивающими «беспочвенным пацифизмом». Впрочем, зоотехнику простительно говорить о каком-то особом складе характера и врожденных задатках, якобы необходимых для командира: все это только отрыжка биологической теории отбора и этой... как ее... секреции (Васька хотел сказать «селекции», но в негодовании перепутал слово). Однако прислушиваться к этим теорийкам, конечно, опасно, и на месте Алеши он решил бы вопрос четко, по-командирски: немедленно порвал бы с семьей, переехал до зимы в погранотряд, а зимой устроился бы жить при школе, чтобы не отравлять сознания разговорами с теткой, которую Сергей Петрович, понятно, сумеет соответственно настроить.

Такие крайние меры никак не устраивали Алешу, и, успокоив Ваську тем, что отец, собственно, не протестует, а только предоставляет ему решать самому, он больше не заводил разговора о своих сомнениях. И беседы их на «вельботе» вернулись к обсуждению пути на флот. Путь этот был ясен: как только их примут в комсомол, они сразу же заговорят о путевках в училище имени Фрунзе, чтобы их кто-нибудь не опередил. Впрочем, кому-кому, а им-то, лучшим активистам военно-морского дела, горком, несомненно, путевки забронирует...

По возвращении в город они пошли в горком комсомола разузнать обо всем. Путевки им действительно обещали, но тут же предупредили, что рассчитывать на них могут только отличники (которыми друзья отродясь не бывали). Кроме того, выяснилось, что путевка, собственно, дает лишь право держать вступительные экзамены в училище, на которых за каждую вакансию борются шесть-семь, а в иной год и все десять таких же отлич-

ников-комсомольцев. Поэтому пришлось сильно навалиться на учебу, и зима пролетела незаметно. Подошла весна — и Алеша снова приехал на лето домой, в совхоз.

За эту зиму Сергей Петрович подготовил новый, тщательно обдуманный ход. Отлично понимая, что, если в это решающее лето — последнее перед окончанием школы — ему не удастся переубедить сына, тот пойдет по пути, о котором он не мог думать без глубокой тревоги за его судьбу. Все в нем восставало при мысли, что Алеша избирает пожизненную профессию командира. В этом протесте смешивались различные чувства. Тут была и горечь, что сын не понимает и не хочет понять его, и боязнь, что это незрелое юношеское увлечение, в котором Алеша будет потом запоздало каяться, и простой отцовский страх за его жизнь.

Но отговаривать, убеждать, протестовать — значило только сделать хуже: он вспоминал самого себя в этом же возрасте и понимал, что противодействием можно только разжечь желание и укрепить решение Алеши. Поэтому он пустил в ход иное, сильное средство.

Глава четвертая

В середине июня директорский «газик» привез со станции необычного для алтайского совхоза гостя — высокого и полного, немолодого уже моряка в белом кителе с четырьмя золотыми обручами на рукавах, веселого, громкоголосого, пахнущего душистым трубочным табаком и морем: и сам он и все его вещи были пропитаны запахом смоленого троса, угольного дымка, свежей краски и еще чего-то неуловимого, что трудно было определить, но что сразу же перенесло Алешу на палубу севастопольского крейсера. Он поразился, каким образом мог так долго сохраниться на госте этот удивительный корабельный запах, но на другое же утро выяснил, что причиной его был какой-то необыкновенный одеколон со штормующей шхуной на этикетке, которым гость протирал после бритья крепкие розовые щеки и крутую шею и который он купил сам не помнил, в каком порту.

Это был капитан дальнего плавания Петр Ильич Ер-

шов, давний друг семьи. Алеша знал о нем только по рассказам отца и по тем шуткам, которыми тот смущал иногда мать, напоминая ей, как в свое время она мучилась, за кого же ей выходить замуж — за Сережу или за Петро. Появление его в совхозе объяснилось за обедом: вкусно уминая пирог, Ершов рассказал, что получил назначение на достраивающийся новый теплоход «Дежнев» и что ему пришло в голову воспользоваться переездом из Владивостока в Ленинград, чтобы повидаться с друзьями, поохотиться и отдохнуть недельку в степи — вдали от всякой воды, которая ему порядком надоела.

Само собой понятно, что Алеша с места по уши влюбился в Петра Ильича. Как и большинство пожилых моряков, Ершов умел и любил порассказать, а ему, за тридцать лет исходившему почти все моря и океаны, было что вспомнить. Неведомая Алеше жизнь тружеников моря — лесовозов, танкеров, чернорабочих грузовых пароходов, скоростных пассажирских лайнеров — все яснее и привлекательнее открывалась перед ним. Знакомое и дорогое видение севастопольской бухты и серо-голубых кораблей в ней, которое жило в его сердце, тускнело и отступало, заволакиваясь туманами Ламанша, захлестываясь высокими валами океанских штормов, заслоняясь пальмами Африки и нью-йоркскими небоскребами. За обедом он дрейфовал во льдах Арктики, за ужином штормовал в Бискайке, засыпал у экватора на танкере, идущем в Бразилию, и просыпался на каком-нибудь лесовозе в Портсмуте. Все когда-либо прочитанные им Стивенсоны, Конрады, Станюковичи, Марлинские, Джеки Лондоны, фрегаты «Паллады» и «Надежды», «Пятнадцатилетние капитаны» и капитаны Марриоты снова ожили в нем с силой чрезвычайной, и все в мире свелось к Ершову, к рокочущему его голосу и его упоительным рассказам.

Отец наблюдал эту внезапно вспыхнувшую дружбу с удовлетворенным видом исследователя, который убеждается в правильном течении поставленного им опыта. И по тому, как благожелательно слушал он за столом Ершова и даже сам наводил его на новые рассказы о плаваниях, Алеша догадывался, что капитан появился в совхозе вовсе не случайно. Однако хитрая политика отца ничуть не обидела его. Напротив, в глубине души он был

даже благодарен ему за такой поворот дела. Наконец-то стало вполне ясно (и на этот раз неопровержимо!), кем же следовало быть ему, Алеше: конечно, штурманом, а потом капитаном дальнего плавания!.. И лишь в те редкие часы, когда Петр Ильич уходил гулять вдвоем с отцом, а он, пожираемый ревностью, оставался один, ему вспоминался Васька Глухов, их планы и мечты о военном флоте, горком комсомола и путевки в военно-морское училище... Если бы не эти укоры совести да не самолюбие, он давно бы признался Ершову в своем новом решении и начал бы расспрашивать о том, как поступить в морской техникум.

По счастливому повороту событий, надобность в таком признании отпала. Судьба (или отец?) снова пошла навстречу Алеше.

Незадолго до отъезда капитана Сергей Петрович за обедом завел разговор о том, долго ли придется Ершову быть в Ленинграде, и тот ответил, что, к сожалению, проторчит всю зиму. Поругав наркомат, который заставляет его заниматься совсем не капитанским делом, Ершов сказал, что он, конечно, отвертелся бы от этого назначения, если бы не заманчивые перспективы. Дело в том, что «Дежнев» предназначен для тихоокеанского бассейна, а так как в Средиземке нынче безобразничают фашисты, то, если к весне с ними в Испании не покончат, вести «Дежнева» во Владивосток придется не через Суэцкий канал, а вокруг Африки, мимо мыса Доброй Надежды. В наши времена такой редкостный походик не так уж часто случается, и пропускать его просто глупо. И тут же Петр Ильич начал подробно рассказывать о маршруте — Портсмут, Кейптаун, Мадагаскар, Сингапур, Гонконг — и вдруг, осененный внезапной мыслью, посмотрел на Алешу и спросил, не хочет ли он пройтись на «Дежневе» без малого кругом света.

От неожиданности Алеша подавился пельменем и лишился языка. Ершов расхохотался:

— Ну чего ты на меня уставился? Проще простого... Ты школу когда кончаешь?

— В июне,— сказал Алеша, проглотив наконец пельмень.

— Добре. Раньше и «Дежнев» испытаний не закончит.

И он сразу же начал строить планы, оказавшиеся вполне реальными.

Переход «Дежнева» займет около двух месяцев. Готовиться к экзаменам в Военно-морское училище имени Фрунзе Алеша сможет и на судне, а иметь у себя за кормой до начала военной службы добрые двадцать тысяч миль и накопить морской опыт будет, пожалуй, неплохо. Только, понятно, без дела на судне болтаться нечего, и уж если идти в поход, то не пассажиром, а, скажем, палубным юнгой: так и ему пользы больше будет, и с оформлением легче...

Дни, оставшиеся до отъезда волшебного гостя, прошли в каком-то счастливом и тревожном чаду. Алеша, растерянный, ошалевший, изнемогающий от избытка счастья, ходил за Ершовым по пятам, влюбленно смотрел ему в глаза и в тысячный раз допытывался, не пошутил ли он. Но какие там шутки! Все было обговорено и обсуждено на различных частных совещаниях и потом утверждено на общем семейном собрании: сдав в школе последний экзамен, Алеша тотчас же едет в Ленинград и включается в экипаж «Дежнева» при одном, впрочем, условии, что школу он кончит отличником (требование это было выставлено Сергеем Петровичем, который выразил опасение, что зимой Алеша будет целыми вечерами сидеть над атласом мира, забыв об учении).

При этих обсуждениях Алеша сильно кривил душой, умалчивая об одном существенном обстоятельстве: прикидывая, когда «Дежнев» должен прийти во Владивосток, чтобы Алеша успел в Ленинград к началу экзаменов в военно-морское училище, все считали крайним сроком половину августа. Между тем самому Алеше отлично было известно, что экзамены начинаются гораздо раньше и, кроме того, нужно учитывать еще и двенадцать дней дороги до Ленинграда (о чем почему-то все забывали). Получалось так, что к экзаменам он поспевал лишь в том случае, если «Дежнев» придет во Владивосток не позднее половины июля, чего никак не могло произойти. Но обо всем этом Алеша предпочитал не говорить, ибо тогда пришлось бы признаться, что военно-морское училище его теперь совершенно не интересовало.

Алеша прекрасно понимал, что этот сказочный поход и поступление той же осенью в училище имени Фрунзе

несовместимы и приходится выбирать что-либо одно. И он выбрал «Дежнева» и все, что связано с ним: в далеком будущем диплом капитана дальнего плавания, а в самом ближайшем — мореходный техникум. Какой именно — во Владивостоке или в Ленинграде, сразу по возвращении «Дежнева» или через год, по экзамену или простым откомандированием с судна (Алеша уже привык заменять этим словом военное — корабль),— надо было обсудить с Петром Ильичом теперь же, но тогда приходилось признаваться ему в своем новом решении.

А как об этом заговорить? Нельзя же, в самом деле, взять и бухнуть: «Петр Ильич, а я, мол, оказывается, вовсе не на военные корабли хочу, а в Совторгфлот...» Вдруг Ершов расхохочется и начнет издеваться: «Что же, у тебя семь пятниц на неделе? Шумел-шумел, разорялся, отца расстроил — и вдруг на обратный курс?..»

И Алеша все откладывал разговор, поджидая удобного случая. Наконец он решил, что лучше всего будет поговорить с Ершовым в машине, когда тот поедет на железнодорожную станцию: за шесть-семь часов пути удобный случай всегда найдется. Поэтому он напросился проводить гостя. Ершов будто угадал его желание поговорить напоследок, потому что, распрощавшись со всеми и подойдя к «газику», поставил свой чемодан к шоферу, а сам сел на заднее сиденье с Алешей, растрогав его таким вниманием.

Время было уже к закату и жара спадала, когда из перелесков предгорья они выехали на шоссе, уходящее в степь широкой пыльной полосой, отмеченной частоколом телеграфных столбов. Древний тракт, помнящий почтовую гоньбу, был сильно побит грузовиками. Отчаянно прыгая и дребезжа, «газик» завилял от обочины к обочине в поисках дороги поровнее, и разговаривать по душам было невозможно. Алеша решительно наклонился к шоферу:

— Федя, давай через Ак-Таш, тут все кишки вытрясешь...

— А чий? — возразил шофер.

— Ну и что ж, что чий, его там немного... Сворачивай, вон съезд!

Машина скатилась с шоссе на колею проселка, едва заметную в низкой траве, и сразу пошла мягче и быст-

рее, но разговор все-таки не налаживался. Первые полчаса он перескакивал с одного на другое, и Алеше никак не удавалось навести его на свое, а потом и вовсе прекратился: проселок весь оказался в глубоких ухабах, «газик» резко сбавил ход и запылил так, что Ершов закрыл платком рот. Колеса, проваливаясь в ямы, вздымали густые облака мелкой душной пыли, и она неотступно двигалась вместе с машиной, закрывая и степь и небо плотным серо-желтым туманом. Сквозь него виднелись только густые заросли высокой и жесткой, похожей на осоку травы, близко обступившей узкую дорогу.

Это и был чий — враг степной дороги.

В степи, как известно, дорог не строят: их просто наезживают раз за разом, пока травяной покров не превратится в плотную серую ленту накатанной дороги. Всякая трава гибнет под колесами покорно, но чий, который растет пучками, почти кустами, глубоко запуская в почву крепкие и длинные корни, мстит за свою гибель крупными, высокими кочками, и чем больше по ним ездят, тем глубже становятся между ними ухабы.

Все это Алеша, чихая и кашляя от пыли, извиняющимся тоном объяснил Ершову. Тот глухо ответил из-под платка:

— А чего же тебя сюда понесло? Уж на что шоссе дрянь, а такой пакости не было.

— Да тут кусочек, километров шесть...

— Спасибо,— буркнул Ершов.— Тоже мне штурман...

— Да нет, все правильно,— убежденно сказал Алеша.— Лучше уж тут потерпеть, чем по шоссейке трястись... Она вся битая, быстро не поедешь, а тут — увидите, как дунем! Сами ахнете!

И точно, вскоре машина выбралась из чия и помчалась на запад по гладкой природной дороге, пересекающей степь напрямки, почти без поворотов. Ершов снял фуражку и облегченно подставил лицо ветерку, рожденному быстрым движением.

— Ф-фу, твоя правда,— сказал он, отдуваясь, и с удовольствием осмотрелся по сторонам.— Вон она, оказывается, какая — степь... Просторно, что в море!

Теперь, когда пыль отставала, крутясь за «газиком» длинным хвостом, однообразная огромность степи открылась перед глазами во всю свою ширь. Желто-зеленая

гладь раскинулась во все стороны и, не заслоняя неба ни гребнем леса, ни зазубринами гор, сходилась с ним такой безупречно ровной линией, что она и впрямь напоминала о морском горизонте. Солнце висело над степью совсем низко; длинные тени тянулись от каждого бугорка, отчего становилось понятно, что степь, кажущаяся днем гладкой, как стол, на самом деле составлена из пологих холмов, плавно вздымающихся друг за другом, как застывшие волны. «Газик» взбирался на них и скатывался так незаметно, что уловить это можно было только по тому, как он то погружался в тень, прячась от солнца, то вновь попадал в его мягкие по-вечернему лучи.

Петр Ильич усмехнулся:

— И зыбь совсем океанская... Увидишь сам, до чего занятно: штиль, вода будто зеркало, а встретишь судно — оно где-то внизу, вроде как под горой. Глазам не поверишь — вон куда тебя, оказывается, вознесло...

Знакомая просторная мечта поднялась в Алеше с неодолимой силой, как та волна, о которой говорил капитан,— могуче и вздымающе, и все в нем сладко заныло при мысли, что мечта эта близка к осуществлению. Все видения, связанные с океаном, обступили его тесной толпой, и можно было говорить о них как о чем-то доступном и возможном. От этой мысли Алеша счастливо улыбнулся.

— Петр Ильич, мы вот с Васькой спорили,— сказал он оживленно,— ведь правда, зеленый луч только в океане бывает? Вот вы, например, где его видели?

— Да нигде.

— Как — нигде? — поразился Алеша.— Столько плавали и ни разу не видели?

Ершов усмехнулся:

— Этот твой зеленый луч вроде морского змея: все о нем по-разному врут, а какой он на самом деле, никому не известно. Вот я и не знаю, видел его или нет.

— А что же вы видели?

— Зеленую точку. И не так уж редко. Потому и считаю, что зеленый луч наблюдать не сподобился. Вот есть такой мореходный деятель, капитан дальнего плавания Васенька Краснюков — ему шестьдесят лет, а он все Васенька,— так тот на каждом рейсе зеленый луч видит,

да еще какой! Говорит, вырывается из воды прямо вверх, узкий, как луч прожектора, но держится мгновение; если в этот момент глазом случайно моргнешь, так и не заметишь его... Видно, все у него на палубе как раз в это мгновение и моргают, потому что каждый раз он один видит. Но в судовой журнал для науки обязательно записывает с широтой-долготой и давлением барометра... Впрочем, был и у меня случай увидеть, только не на закате, а на восходе, да я проспал. Матросы наши видели и вряд ли врали. В науке это не отмечено, потому что дело было в девятьсот десятом году на шхуне одесского грека Постополу, и записывать, понятно, никому и в голову не взбрело...

— А я вот раз тоже интересно заметил,— вмешался Федя.— Еду из Зайсана аккурат на закат, а небо все в облаках, только в одном месте...

— Да погоди ты! — нетерпеливо оборвал его Алеша.— Ну, и что они видели, Петр Ильич?

— Шли мы Суэцким заливом — грек наш семерых казанских купцов подрядился в Мекку на паломничество свозить,— я только что со штурвала сошел спать, а матросы вставали, седьмой час был. Как начало солнце всходить — а оно там из-за Синайских гор вылазит,— так все ахнули: и небо зеленым стало, и вода, и все на палубе, как мертвецы, зеленые. Говорят, секунду-две так держалось, потом пропало и солнце показалось. А я проспал. Но если о легенде говорить, будто зеленый луч только счастливому удается видеть, то вышло наоборот: я вот еще плаваю, а грек со всеми матросами той же осенью утонул. И где: в Новороссийской бухте, у самого берега — бора с якорей шхуну сорвала и разбила о камни. А я только неделю как расчет взял. Вот тебе и легенда...

— Приметы — это пережиток,— авторитетно сказал Федя.— Взять кошку. Иной машину остановит и давай вкруг нее крутиться, чтобы след перейти, а я...

— Федя!..— угрожающе повернулся к нему Алеша.— Дай ты человеку говорить, что у тебя за характер! А точка, Петр Ильич, как вы ее видели?

— Ну, это часто. Ты ее где хочешь увидишь, не только в океане. Я и на Балтике видел и на Черном море. Если горизонт чист и солнце в самую воду идет — следи.

Как только верхний край станет исчезать, тут, бывает, она и появляется. Яркая-яркая, и цвет очень чистый. Будто кто на сильном свету изумруд просвечивает. Подержится секунду, а то и меньше, и погаснет. Иногда ярче видна, иногда послабее...

— Буду плавать — ни одного заката не пропущу,— убежденно сказал Алеша.— Когда-нибудь настоящий зеленый луч поймаю, вот увидите!

— У каждого человека своя мечта есть,— опять вмешался Федя.— У меня вот — птицу на лету машиной сшибить. Мечтаю, а не выходит. А вот Петров в погранотряде прошлой осенью беркута...

«Газик» вдруг зачихал, зафыркал, выстрелил несколько раз и остановился.

— Наелись все-таки пыли... Чертов чий! — сказал недовольно Федя и открыл дверцу.— Теперь карбюратор сымать.

Ершов тоже открыл дверцу и грузно шагнул в траву.

— Ладно, мы промнемся... Пойдем вперед, Алеша.

Все складывалось как нельзя лучше: конечно, вести серьезный разговор в присутствии словоохотливого Феди было трудно. Но, отойдя от машины, когда ничто уже не мешало, Алеша продолжал молчать. Молчал и Петр Ильич, неторопливо набивая на ходу трубку, и все вокруг было так тихо, что шорох травы под ногами или треск колючки, попавшей под каблук, казались неуместно громкими. Алеша даже поймал себя на том, что ему хочется идти на цыпочках.

Удивительный покой стоял над вечерней степью. Пустое, без облаков, небо, до какой-то легкости, почти звонкости высушенное долгим дневным зноем, еще сохраняло в вершине своего купола яркую синеву, но ближе к закатной стороне все более бледнело, желтело и, наконец, становилось странно бесцветным. Казалось, будто там солнце по-прежнему продолжало выжигать вокруг себя все краски, хотя лучи его, нежаркие, вовсе утерявшие силу, даже не ощущались кожей лица. Теплый воздух был совершенно недвижен, и подымающийся от разогретой земли слабый запах высохших по-июньски трав явственно ощущался в нем, горьковатый и печальный.

От этого запаха, от уходящего солнца, от медленного

молчаливого шага Алешу охватило грустное и томительное чувство, предвестие близкой разлуки. Ему уже не думалось ни об океане, ни о «Дежневе», ни о сказочном походе вокруг света, ни даже о том, что сейчас в разговоре с Ершовым надо решить свою судьбу. Он шел, опустив глаза, следя, как распрямляется желтая, упругая в своей сухости трава, отклоняемая ногами Ершова, и ему казалось, что вот-вот ноги эти исчезнут где-то впереди и след их закроется вставшей травой, а он останется один, совсем один во всей громадной, пустынной, нескончаемой степи, в которой совершенно неизвестно, куда идти, как неизвестно ему было, куда идти в жизни, такой же громадной, нескончаемо раскинувшейся во все стороны.

С такой силой Алеша, пожалуй, впервые почувствовал горькую тяжесть разлуки. Сколько раз прощался он осенью с отцом и матерью, но мысль об одиночестве никогда еще не приходила ему в голову. Он мог скучать по ним, даже тосковать, но вот это чувство — один в жизни — до сих пор было ему совершенно неизвестно. Вдруг столкнувшись с ним, он даже как-то растерялся. Оно оказалось таким неожиданно страшным, наполнило его такой тоскливой тревогой, что он попытался успокоить себя. Ведь ничего особенного не происходит: ну, уедет Петр Ильич — останутся мать и отец, которых он любит, с которыми дружит, останется Васька Глухов, приятели в школе... Но тут же его поразила очень ясная мысль, что никому из этих людей он никогда не смог бы признаться в том, в чем готов был сейчас открыться Ершову, и что никто из них не сможет ответить ему так, как, несомненно, ответит Петр Ильич... Вместе с ним из жизни Алеши исчезало что-то спасительное, облегчающее, без чего будет невыносимо трудно. Уедет Петр Ильич, и он останется один. Совершенно один. И это как раз тогда, когда надо всерьез начинать жить...

А как жить... Кем?.. Может быть, эта новая мысль о техникуме — ерундовая, ошибочная мысль, и вызвана она только жадным, бешеным желанием не пропустить возможности пошататься по океанам? Ведь почему-нибудь ноет же у него сердце, когда он думает о севастопольских кораблях, о серо-голубой броне и стройных стволах орудий, да как еще ноет! Может быть, сама

судьба послала ему это испытание, чтобы проверить, способен ли он быть стойким, убежденным в своих решениях командиром, человеком сильной воли, умеющим вести свою линию, а он... Где у него там воля! Ему скоро шестнадцать лет, а он ничего еще не решил. Все ждет, что кто-то или что-то ему подскажет, поможет, возьмет за ручку и поведет... Небось Пушкин в шестнадцать лет отлично знал, что делать... И Нахимов знал, и Макаров... И Чкалов в том же возрасте уже твердо решил стать летчиком, хотя это казалось недостижимым. Да что там Чкалов! Васька Глухов и тот выбрал себе путь и стойко держится своего... Один он какая-то тряпка, ни два ни полтора: то училище имени Фрунзе, то техникум...

— Петр Ильич,— сказал он неожиданно для самого себя.— Вот когда вам шестнадцать лет было, вы кем собирались быть?

Ершов, разжигая трубку, искоса взглянул на Алешу, подняв левую бровь. И в том, как он смотрел — ласково и чуть насмешливо,— и в полуулыбке губ, зажавших мундштук, было что-то такое, от чего Алеша смутился: походило, что Ершов отлично понимал, к чему этот вопрос. Трубка наконец разгорелась, и Петр Ильич вынул ее изо рта.

— Дьяконом,— ответил он и дунул дымом на спичку, гася ее.

Алеша обиделся:

— Да нет, правда... Я серьезно спрашиваю...

— А я серьезно и отвечаю. У меня батька псаломщиком был, только об этом и мечтал.

— Так это он мечтал, а вы сами?

— Я? — Ершов усмехнулся.— Мне шестнадцать лет в девятьсот седьмом году было. Тогда, милый мой, не то, что нынче: ни мечтать, ни выбирать не приходилось. Куда жизнь погонит, туда и топай. Вымолил батька у благочинного вакансию на казенный кошт, отвез меня в семинарию, а оттуда уж одна дорога...

У Алеши понимающе заблестели глаза:

— А вы, значит, убежали?

— Куда это убежал?

— Ну, из семинарии... на море!

— Вот чудак! — удивился Ершов.— Как же мне бы-

ло бежать? Батька у нас вовсе хворый был — он раз на Иордани в прорубь оступился, так и не мог оправиться. Чахотку, что ли, нажил — каждой весной помирать собирался. А нас шестеро. И все, кроме меня, девчонки. Только и надежды было, когда я начну семью кормить. Тут, милый мой, не разбегаешься... Да ни о каком море я тогда и не думал.

— Так почему же вы моряком стали?

— Я же тебе объясняю: жизнь. Приехал я на каникулы — мы в сельце под Херсоном жили, приход вовсе нищий, с хлеба на квас,— а отец опять слег. Меня к семнадцати годам вот как вымахало — плечи во! — я и нанялся на мельницу мешки таскать, все ж таки подспорье. А отец полежал да и помер. Меня прямо оторопь взяла: еще три года семинарии осталось; пока я ее кончу, вся моя орава с голоду помрет. Думал-думал, а на мельнице грузчики говорят: «Чего тебе, такому бугаю, тут задешево спину мять? Подавайся в Одессу, там вчетверо выколотишь, а главная вещь — там и зимой работа: порт». Ну, я и поехал. Сперва в одиночку помучился, а потом меня за силу в хорошую артель взяли. Осень подошла — я на семинарию рукой махнул: сам сыт и домой высылаю. А к весне меня на шхуну «Царица» шкипер матросом сманил, тоже за силу. Сам он без трех вершков сажень был, ну и людей любил крупных: парус, говорил, хлипких не уважает. Вот так и началась моя морская жизнь: Одесса — Яффа, Яффа — Одесса; оттуда — апельсины, а туда — что бог даст. Походил с ним полтора годика, ну и привык к воде. С судна на судно, с моря на море — вот тебе и вся моя жизненная линия.

Алеша вздохнул:

— Значит, у вас все как-то само собой вышло... А вот когда самому решать надо...

— А что ж тебе решать? — спокойно возразил Петр Ильич.— Ты уже решил — и на всю жизнь. Да еще батьку переломил — он мне порассказал, какие у вас споры были. Молодец, видать, в тебе твердость есть...

— Какая во мне твердость! — горько усмехнулся Алеша.— Я, Петр Ильич, если хотите знать... Словом, так тут получилось... Ну, вы сами все понимаете...

— Ничего не понимаю,— прежним спокойным тоном ответил Ершов.

— Чего вы не понимаете? — с отчаянием воскликнул Алеша.— Вы же видите, что я... что мне... В общем, изменник я, вот что! Настоящий изменник: товарищам изменил, школе, военным кораблям, сам себе изменил, своей же клятве...

В голосе его зазвучали слезы, и Ершов, взглянув на побледневшее лицо Алеши, хотел сказать что-то успокаивающее, но тот продолжал говорить — взволнованно, путано, сбивчиво, обрывая самого себя, совсем не так, как собирался вести этот серьезный мужской разговор. Он повторил Ершову все, чем пытался успокаивать и самого себя: конечно, в горкоме комсомола понимают, что не всем морякам обязательно быть военными, в школе же будут просто завидовать и говорить, что ему повезло в мировом масштабе... Даже Васька Глухов, мысль о котором больше всего беспокоила его, и тот, сперва освирепев и наговорив кучу самых обидных вещей, подумав, скажет, что отец очень здорово все подстроил — этот козырь перекрыть нечем, и надо быть круглым дураком, чтобы упустить такой походик... Значит, все как будто хорошо получалось, но почему же у него такое чувство, будто он собирался сделать что-то не то?..

Впрочем, Алеша довольно ясно чувствовал, в чем именно упрекала его совесть. Объяснить это можно было одним словом, но оно никак не годилось для душевного разговора. В нем была официальность и излишняя книжная торжественность, совсем не подходившая к случаю, и сказать его по отношению к самому себе было даже как-то не очень удобно, однако другого он найти не мог.

Это слово было «долг».

Когда оно вошло в разговор, Ершов посмотрел на Алешу с каким-то серьезным любопытством, будто в устах юноши, почти еще подростка, это суровое, требовательное слово приобретало неожиданно новое значение. И даже после, слушая Алешу, он то и дело взглядывал на него, как бы проверяя, не ослышался ли.

Между тем ничего особенного тот не говорил. Он рассказывал о том, как два года назад они с Васькой поклялись друг другу стать командирами военно-морского флота («Будто Герцен с Огаревым»,— усмехнувшись, добавил Алеша). Может быть, тогда получилось это помальчишески, но с течением времени он стал все яснее

понимать и острее чувствовать неизбежно надвигающуюся, неотвратимую опасность войны. Тут и начались его колебания: в глубине души он мечтал о торговом флоте, прельщавшем его дальними плаваниями, а мысль о неизбежности войны и сознание своего долга вынуждали готовиться к службе на военных кораблях. Наконец у него словно камень с души свалился: это было тогда, когда первое знакомство с крейсером в Севастополе победило в нем неясную, но манящую мечту об океанах. Почти год он был спокоен — все шло правильно,— но «Дежнев» опять спутал все.

Понятно, дело сейчас заключалось вовсе не в том, что из-за «Дежнева» он нарушает свою детскую клятву. Все было серьезнее и важнее: ведь, отказываясь стать флотским командиром, он уклоняется от выполнения своего долга комсомольца, советского человека — быть в самых первых рядах защитников родины и революции. Вот, скажем, если бы он не чувствовал неотвратимого приближения войны с фашизмом (как почему-то не чувствуют этого многие, взять хотя бы отца), если бы не начал с детских лет готовиться к тому, чтобы посвятить жизнь военно-морской службе, ну, тогда можно было бы говорить о том, что не всем же быть профессионалами-военными и что кому-то надо заниматься и мирными делами. Но раз он видит угрозу войны, понимает ее приближение, для него уход на торговые суда — просто нарушение долга.

И, наверное, поэтому-то у него так нехорошо на душе, хотя, по совести говоря, конечно, «Дежнев» и все, что связано с ним, ему ближе, роднее и нужнее, чем крейсер, о котором он перестал бы и думать, если бы не Васька и его напор. У Васьки ведь все четко, по-командирски, «волево», а на людей это здорово действует. Будь он сам таким, как Васька, наверное, не мучился бы: решил, мол, и все тут! А ему так паршиво, так неладно, прямо хоть отказывайся от «Дежнева». И, может быть, действительно так и надо сделать, чтобы все опять пошло правильно, но на это не хватает ни силы, ни решимости... И получается снова, как раньше: ни два ни полтора... В общем, зря отец все нагородил: Петра Ильича вызвал, «Дежнева» подстроил... Он, наверное, хотел помочь ему решиться, подтолкнуть его, но беда-то в том,

что отцу никак не понять одной важной вещи: он все думает, что мысль о военном флоте — это блажь, детское упрямство, когда на самом деле это необходимость, обязанность, долг... Раньше он, Алеша, и сам не очень понимал это и разобрался во всем, пожалуй, именно из-за «Дежнева». Выходит, что «Дежнев» сработал совсем не так, как ожидал отец. Ну что ж, так ему и надо: ты борись по-честному, убеждай, доказывай... А «Дежнев» — это просто свинство; за такие штуки с поля гонят. Это же запрещенный прием!..

Ершов впервые за разговор усмехнулся.

— Ну, уж и свинство... Просто тактика. И батька твой тут ни при чем. «Дежнева» я тебе подсунул.

Алеша даже остановился:

— Вы?

— Ну да. Уговор у нас с ним был только агитацию наводить, с тем я и ехал. А узнал тебя поближе, смотрю — паренек стоящий, зачем нам морячка уступать?.. Вот и решил для верности забрать на походик, а в океане ты сам поймешь, зачем на свет родился...

Искренность, с которой Ершов открыл карты, поразила Алешу, и он почувствовал в горле теплый комок. Что за человек Петр Ильич, до чего же с ним легко и просто! А Ершов, посасывая трубку, продолжал с мягкой усмешкой:

— Так что на батьку своего ты не злись. Он, во-первых, человек умный, а во-вторых, очень тебя любит. Чего он добивается? Чтоб ты дал сам себе ясный отчет: чего же хочешь от жизни? И, пожалуй, он прав. Сам посуди: можно ли тебе уже верить как человеку сложившемуся, если ты увидел крейсер и решил: «Военная служба», а показали «Дежнева» — наоборот: «Иду на торговые суда»!

— Не дразнитесь уж, Петр Ильич,— умоляюще сказал Алеша,— и сам знаю, что я тряпка!

— Да нет, милый, не тряпка, а, как говорится, сильно увлекающаяся натура. Тряпка — это человек безвольный, неспособный к действию, а ты вон как руля кладешь — с борта на борт! Только, по-моему, ты и сейчас на курс еще не лег. Раз тебя что-то грызет — значит, нет в тебе полной убежденности, что иначе поступить никак нельзя. А раз убежденности нет, какая же решению цена?

— А как же узнать, убежденность это или еще нет? — уныло спросил Алеша.— Вон после Севастополя уж как я был убежден!

Ершов успокоительно поднял руку:

— Не беспокойся, узнаешь! Само скажется. И ничего тебя грызть не будет, и никакие сомнения не станут одолевать, и на всякий свой вопрос ответ найдешь, а не найдешь, так ясно почувствуешь, что иначе нельзя, хотя объяснить даже и самому себе не сможешь... А разве тогда у тебя так было?

— Нет,— честно признался Алеша.

— То-то и есть. Кроме того, когда человек убежден, он просто действует, а не копается в себе. Колеблется тот, кто еще не дошел до убежденности. Вот и ты: раз еще думаешь — так или этак,— значит, решение в тебе не созрело, ты сам ни в чем еще не убежден. Ну и подожди. Решение придет.

— А если не придет?

— А это тоже решение,— улыбнулся Петр Ильич,— только называется оно «отказ от действия». Но ты-то, повторяю, не тряпка и решение обязательно найдешь. Не сам отыщешь, так жизнь поможет. Вот я тебе «Дежнева» и подсунул: поплавай, осмотрись, примерься...

— Так что же тут примеряться, Петр Ильич? — вздохнул Алеша.— Раз «Дежнев» — значит, с боевыми кораблями всё...

— Почему же это?

Алеша запоздало спохватился, что заговорил о том, чего вовсе не собирался касаться.

— Ну, так уж оно получается,— уклончиво ответил он.

Ершов пожал плечами:

— Уж больно решительный вывод. Для того тебе «Дежнева» и предлагаю, чтобы ты разобрался.

— Да, Петр Ильич, мне не там разбираться надо, а здесь. Ведь пойду на нем плавать — на крейсер уж никак не вернусь.

— Вон как! Что же тебе «Дежнев» — монастырь? Постригся — и всему конец, так, что ли?

— Не очень так, но вроде,— принужденно усмехнулся Алеша.— Ну, в общем, решать все приходится именно теперь, а не в плавании...

— Непонятно почему. Говори прямо, что-то ты крутишь!

— Так я же и говорю: раз «Дежнев» — это уже не на лето, а на всю жизнь...

— Вот заладил! — недовольно фыркнул Ершов.— Да кто тебя там держать будет? Ну, почувствуешь, что это не по тебе или совесть тебя загрызет,— сделай милость, иди в училище имени Фрунзе! При чем тут «на всю жизнь»!

Алеша невольно опустил глаза и замедлил шаг, чтобы, несколько отстав от Ершова, скрыть от него свое смущение и растерянность. Ответить что-либо было чрезвычайно трудно.

Дело заключалось в том, что у него был свой тайный расчет. Довольно быстро поняв, что предложение пойти в поход на «Дежневе» было ловушкой, Алеша решил использовать хитрость отца в своих собственных целях. Для этого следовало делать вид, что ничего не замечаешь, согласиться «поплавать летом», а потом как бы неожиданно для себя очутиться перед фактом невозможности попасть к экзаменам в Ленинград и — ну раз уж так вышло! — волей-неволей идти в мореходку в самом Владивостоке... Тогда получилось бы так, будто профессию торгового моряка он выбрал не сам, а принудили его к тому обстоятельства. Иначе говоря, Алеша старался сделать то, что делают очень многие люди: избежать необходимости самому решать серьезнейший вопрос и свалить решение на других. Поэтому-то он и молчал, не зная, что ответить, так как ему приходилось либо откровенно сознаться в своем тайном и нечестном замысле, либо солгать.

И он собрался уже сказать что-нибудь вроде того, что он-де не додумал, что Петр Ильич, мол, совершенно прав,— словом, как говорится, замять разговор и отвести его подальше от опасной темы. Но опущенный к земле взгляд его опять заметил, как распрямляется трава, отклоняемая ногами Ершова, закрывая следы, и сердце снова невольно сжалось тоскливым и тревожным чувством, что вот-вот следы эти исчезнут и он останется один на один с собою, а разговор этот нельзя уже будет ни продолжить, ни возобновить целый долгий год. И ему стало безмерно стыдно, что драгоценные последние ми-

нуты он готов оскорбить фальшью или ложью... Нет уж, с кем, с кем, а с Петром Ильичом надо начистоту, без всяких уверток...

Одним широким шагом Алеша решительно нагнал Ершова и взглянул ему прямо в лицо.

— Петр Ильич, да как же я «Дежнева» после такого похода брошу? — воскликнул он в каком-то отчаянии откровенности.— Я еще ни океана не видел, ни одной мили не прошел, а о крейсере и думать перестал. Что же там будет? Ну ладно, предположим, на «Дежневе» решу, что все-таки надо идти в училище имени Фрунзе. Так ведь, Петр Ильич, я же не маленький и отлично понимаю, что к экзаменам никак не поспею. Это же факт: хорошо, если к сентябрю вернемся! Значит, год я теряю. А что я этот год стану делать? Дома сидеть? Или опять на «Дежневе» плавать? А зачем, если решил на военный флот идти? Так, для развлечения, потому что время есть? Нет, Петр Ильич, я верно говорю: раз «Дежнев» — значит, на всю жизнь. Да вы и сами это понимаете... Вот я и решил, честное слово, решил: иду в мореходку — и очень доволен, что именно так решил, все правильно! Вот только внутри что-то держит, не пускает. То есть не что-то, а чувство долга, я уже сказал... И так мне трудно, Петр Ильич, так трудно, и никто мне помочь не сможет, кроме меня самого... А что я сам могу?..

Он махнул рукой и замолчал. Ершов тоже помолчал, разжег потухшую трубку, потом серьезно заговорил, взглядывая иногда на Алешу, который шел рядом, снова опустив голову:

— Вот ты сказал — долг. Попробуем разобраться. Долг — это то, что человек должен делать, к чему его обязывает общественная мораль или собственное сознание. Воинский долг — это обязанность гражданина ценой собственной жизни с оружием в руках защищать свое общество, свою страну. У нас и в Конституции сказано, что это священная обязанность. От этой священной обязанности ты никак не уклоняешься, если идешь на торговый флот. Ты и сам знаешь, что там тебя обучат чему нужно и сделают командиром запаса военно-морского флота, а во время войны, если понадобится, поставят на мостик военного корабля. Выходит, что ты своему воинскому долгу ничем не изменяешь. Тебе и самому, ко-

нечно, это ясно, и говоришь ты, видимо, совсем о другом долге. Не о долге советского гражданина, а о своем, личном, к которому обязывает тебя не общественная мораль, а собственное понимание исторического хода вещей. Так, что ли?

— Так,— кивнул головой Алеша.

— Тогда давай разберемся, что именно ты считаешь для себя должным. Я так понял, что ты очень ясно видишь неизбежность войны с фашизмом. Ты даже считаешь, что видишь это яснее других. Те, мол, не понимают этой неизбежности и потому могут спокойно заниматься строительством, науками, обучением детей, даже искусством. А ты знаешь, что́ ожидает и всех этих людей и все их труды, и не можешь ни строить, ни учить, ни плавать по морям с грузами товаров, потому что тобой владеет ясная, честная, мужественная мысль: ты должен стать тем, кто будет защищать и этих людей и их мирный труд. Ну, а раз так, то надо научиться искусству военной защиты. А этому, как и всякому искусству, учатся всю жизнь. Следовательно, надо получить военное образование и стать командиром, то есть посвятить этому важному, благородному делу всю свою жизнь. Вот это ты и считаешь своим долгом, который обязан выполнить, а если уйдешь на торговые суда, то изменишь своему долгу. Так?

— Так,— снова кивнул Алеша, с нетерпением ожидая, что будет дальше.

Ему показалось, что, если уж Петр Ильич так здорово разобрался в его мыслях, значит, наверняка знает и какой-то облегчающий положение выход. Он даже поднял глаза на Ершова, как бы торопя его.

Но тот неожиданно сказал:

— Ну, раз так, тогда ты совершенно прав: никто тебе не поможет, кроме тебя самого.

На лице Алеши выразилось такое разочарование, что Ершов усмехнулся, но закончил снова серьезно:

— А как же иначе? Сам ты этот долг на себя принял, сам только и можешь снять. Вот если на «Дежневе» ты поймешь, что в жизни может оказаться и другой долг, не менее почетный и благородный, который заменит для тебя тот, прежний, тогда все эти упреки исчезнут. Во всех остальных случаях они тревожить тебя будут, и ни-

чего с этим не поделаешь, сам ли ты себя уговаривать станешь, другие ли тебе скажут: «Да иди ты, мол, плавать, не думай о военном флоте!» Это все равно что о белом медведе не думать.

— О каком медведе? — рассеянно спросил Алеша, занятый своими мыслями: получалось, что все опять валилось на него самого, даже Петр Ильич не знает, чем помочь.

— Это знахарь один мужика от грыжи лечил: сядь, говорит, в угол на корточки, зажмурь глаза и сиди так ровно час, через час вся болезнь выйдет. Только, упаси бог, не думай о белом медведе — все лечение спортишь. Вот тот весь час и думал, как бы ему не подумать невзначай о белом медведе. Нет, уж если тебя лечить, так совсем наоборот: надо, чтоб ты о своем белом медведе побольше думал. Вот тебе на «Дежневе» время и будет. Кто знает, вдруг ты там обнаружишь, что не такой уж это великий соблазн — океанское плавание, чтобы ради него поступиться своим долгом. Да и своими глазами увидишь старый мир, которого ты и не нюхал, а это для политического развития — занятие весьма полезное. Возможно, к твоей мысли о неизбежности войны кое-что и добавится, укрепит ее. Убедит тебя в твоей правоте, что не путешествиями по морям-океанам надо развлекаться, а всерьез к защите готовиться... Может так случиться, тут-то настоящая убежденность в тебе и возникнет. Правда, цена этому — потерянный год. Но, во-первых, это вовсе не потеря, а приобретение морского опыта, который и командиру пригодится. А во-вторых, одно другого стоит: ну, станешь командиром годом позже, зато настоящим командиром, убежденным в том, что другого дела ему в жизни нет. Вот так-то, милый мой: уж коли на всю жизнь — давай всерьез и решать, то есть не сейчас, а своевременно, и не вслепую, а с открытыми глазами... Ну, что-то наш «газик» застрял, уж солнце садится.

Петр Ильич остановился и обернулся к машине. Они отошли уже довольно далеко, но можно было различить, что Федя копошится почему-то не в моторе, а под «газиком», лежа на земле.

— Вон что твой чий наделал, этак еще и к поезду опоздаешь,— укоризненно покачал головой Ершов.—

А впрочем, в машине мы бы по душам не поговорили... Ну, так что ты молчишь? Видно, не согласен с тем, что я говорю?

— Да нет, наверное, согласен,— раздумчиво ответил Алеша.— Видимо, все это правильно...

— Энтузиазма не отмечается,— улыбнулся Ершов и, полуобняв Алешу, ласково встряхнул его за плечи.— Эх ты, многодумный товарищ! Не мучайся ты никакими изменами, до измены еще очень далеко! И пойми простую вещь: от «Дежнева» тебе отказываться никак нельзя. Лучше от того не будет ни тебе, ни военному флоту, наоборот, тебе испортит жизнь, а флоту — командира. Как бы ты ни любовался собой — вот, мол, чем пожертвовал для идеи! — а внутри будешь себя проклинать,— значит, и служить не от души станешь. Пройдемся еще, нагонит...

Они медленно двинулись вдоль накатной колеи дороги. Солнце, ставшее теперь громадным багровым шаром, уже коснулось нижним краем горизонта и начинало сплющиваться; небо над ним постепенно приобретало краски — желтую и розовую, густеющие с каждой минутой, и неподалеку от солнца заблистало расплавленным золотом невесть откуда взявшееся крохотное круглое облачко.

Рассеянно глядя на него, Алеша шел молча, пытаясь разобраться в себе. Странно, но беседа эта успокоила его, хотя он сам лишил себя уловки, облегчавшей его положение, и теперь вынужден был решать действительно сам — по-честному, не сваливая на других. Удивительно радостное чувство облегчения возникало в нем, и он понимал, что этому чувству неоткуда было бы взяться, не появись в его жизни Петр Ильич.

Капитан, шагавший рядом тоже молча, сказал вдруг тоном сожаления:

— А с «Дежневым»-то я, кажется, и в самом деле что-то неладное наворотил. Видишь ли, я думал, дело обычное: ну, играет мальчик в пушечки, предложить ему пройтись по трем океанам — вопрос и решен. Никак не мог я предполагать, что у тебя с крейсером так всерьез. И, может, зря я тебе душу смутил, не надо было в твою жизнь соваться. Уж ты меня извини. Пожалуй, «Дежнев», честно говоря, и вправду свинство...

Признание это прозвучало так откровенно и просто, так по-товарищески, что у Алеши дрогнуло сердце.

— Петр Ильич,— сказал он, подняв на капитана блестящие от волнения глаза и всячески стараясь говорить спокойно и сдержанно,— Петр Ильич, вы даже сами не знаете, как все правильно получилось... Очень здорово все вышло! Ну, в общем, конечно, в поход я пойду, а там выяснится, куда мне жить...

Алеша хотел сказать «куда идти», но слова сейчас отказывались его слушаться. Однако нечаянное выражение ему понравилось, и он повторил его уже сознательно:

— Я ведь все пытался решить тут, теперь же, куда жить. А разве здесь угадаешь? Если бы не вы, я бы никогда этого не понял... Так что я вам очень... ну, очень благодарен... И за то, что приезжали, и за все...

— Добре. Тогда хорошо, а то я уж подумал: вдруг все тебе напортил,— сказал Ершов и улыбнулся.— Ну, давай в степи зеленый луч искать!

Алеша рассмеялся. Они остановились, провожая взглядом солнце. Багровая горбушка его быстро нырнула за край степи без всякого намека на изменение цвета.

— Считай: раз!..— поддразнил Петр Ильич.— Когда увидишь, телеграфируй: мол, на пятьсот сорок втором наблюдении замечен зеленый луч. В науку войдешь...

Сзади раздался хриплый сигнал «газика», и оба одновременно обернулись.

— Что ж ты застрял? — недовольно спросил Алеша, когда Федя затормозил возле них.— Минутное дело — карбюратор продуть, а ты...

— Болтик упал,— хмуро пояснил Федя.— Тут же трава. Пока всю степь на пузе облазил — вот тебе и минутное дело... Хорошо еще, нашел, а то прошлый год...

— Ну ладно, поехали, поехали! Жми на всю железку. Петр Ильич беспокоится — поезд...

— Поспеем,— ответил Федя и, едва они сели, должно быть, и впрямь нажал на всю железку: «газик» с места помчался по темнеющей степи так, что у обоих захватило ветром дыхание.

Первые три недели после отъезда Ершова прошли для Алеши в удивительном внутреннем покое. Правда, вначале он все боялся, что та радостная уверенность в буду-

щем, которая возникла в нем тогда, в степи, вот-вот исчезнет. Но, к счастью, необыкновенное это состояние не проходило, а, наоборот, с каждым днем все более крепло, становилось своим, привычным. Вскоре Алеша заметил, что оно как бы обновлялось всякий раз, когда он начинал думать о той беседе с Петром Ильичом. Тогда в сердце подымалась теплая волна, а в сознании возникала не очень ясная, но растроганная, благодарная и словно бы улыбающаяся мысль: как здорово все получилось и до чего же правильно, что есть на свете Петр Ильич Ершов, капитан дальнего плавания! И не успевал он додумать это до конца, как чувство радостного спокойствия и уверенности овладевало им с еще большей силой.

Впервые Алеша мог смотреть в будущее без тревожного беспокойства. Все теперь представлялось ему простым, осуществимым, возможным, только бы иметь в этом будущем рядом с собой Петра Ильича, чтобы всегда можно было получить ответ, пусть иногда насмешливый, но всегда объясняющий и потому спасительный. И тогда ждущая впереди жизнь, сложная, полная трудновыполнимых требований, непонятная еще жизнь, станет простой и ясной, не будет ни сомнений, ни колебаний...

Но об этом, так же как и о беседе с Петром Ильичом и об их уговоре, Алеша не говорил ни отцу, ни Анне Иннокентьевне. Что-то мешало ему быть откровенным: то ли внутренняя целомудренность, которая препятствует порой человеку говорить о некоторых движениях души даже с очень близкими людьми, суеверная ли боязнь, что драгоценное для него новое чувство тотчас улетучится, если о нем сказать вслух, а может быть, просто ревнивое мальчишеское желание скрыть от всех замечательные свои отношения с Петром Ильичом. Так или иначе, дома и не подозревали, что он решился отказаться от мысли о военном флоте.

Тем более не касался он всего этого при встрече с Васькой Глуховым, к которому собрался лишь на десятый день. Он не только не поделился с ним новостью о «Дежневе» (Петр Ильич на прощание посоветовал держать ее при себе до того, как подтвердится возможность устроить его юнгой), но даже о самом пребывании у них

такого необыкновенного гостя сообщил вскользь, мимоходом. Вообще встреча приятелей, первая за это лето, прошла как-то вяло. По обыкновению, они сразу же пошли на «вельботе» в поход, но к ночи вернулись: игра явно потеряла свою увлекательность — не то оба выросли, не то Васька чувствовал, что Алеша чего-то недоговаривает, а тот с трудом заставлял себя держать обещание, данное Ершову.

Поэтому утром он с облегчением сел на велосипед и отправился домой, увозя, впрочем, ценнейшую для него сейчас добычу: атлас мира, только что полученный по подписке Васькиным отцом. Едва перелистав карты, Алеша тут же выпросил его на недельку, соврав, что готовит к осени доклад на военно-морском кружке о стратегических базах империалистических флотов. Атлас был необычайного формата, размером с газетный лист, и его никак не удавалось пристроить ни к багажнику, ни к раме. Алеша решился было держать его всю дорогу под мышкой, но Васька предложил ему «присобачить» атлас на спину вроде панциря черепахи. Сравнение это Алеша оценил уже на втором часу езды, когда скорость велосипеда заметно снизилась, но нисколько не раскаивался в том, что повез этот громадный фолиант.

Атлас стал первым его другом и собеседником. Алеша мог сидеть наедине с ним целыми часами, изучая вероятный маршрут «Дежнева» и стараясь вообразить, что́ таят в себе условные очертания островов, капризные зазубрины береговой черты, алые извивы теплых течений, синие пучки трансокеанских линий, мелкий шрифт бесчисленных названий. Скоро у него появились свои любимцы. Это была, во-первых, «Карта океанического полушария», построенная в такой хитрой проекции, что на нее попали лишь белое пятно Антарктиды, куцый хвостик Южной Америки да Австралия с Новой Гвинеей и Борнео. Все же остальное пространство этой половины земного шара было залито благородной и вольной синевой трех океанов — Тихого, Атлантического, Индийского, и, когда Алеша всматривался в нее, у него захватывало дух: так величественна и громадна была эта соленая вода, где темнели километровые глубины глубокой голубизной сгущенной краски.

Другим любимцем оказалась «Карта каналов и про-

ливов». Крупными бесценными жемчужинами они нанизывались на то волшебное ожерелье, которым путь «Дежнева» охватывал Евразийский материк от Ленинграда до Владивостока: Зунд, Каттегат, Скагеррак, Па-де-Кале, Ламанш, Мозамбик, Малаккский, Сингапурский, Фуцзянский, Цусимский... Названия эти звучали как стихи. Глядя перед собой затуманенным мечтою взглядом, Алеша повторял их наизусть, и перед ним, накренясь, неслась по крутым волнам шхуна под штормовым вооружением. Впрочем, она была не видением грезы, а картинкой на этикетке того флакона, который позабыл Петр Ильич или просто бросил, так как одеколону в нем было чуть на донышке. Алеша нашел его по возвращении со станции и тут же поставил к себе на стол. Порой он вынимал пробку, удивительный корабельный запах снова распространялся по комнате, и тогда казалось, что Петр Ильич бреется у окна и за спиной вот-вот раздастся его рокочущий голос.

Вскоре Алеша не на шутку начал тосковать по нему и потому страшно обрадовался, когда наконец пришло из Ленинграда письмо.

В нем Ершов суховато сообщал Сергею Петровичу, что обстановка несколько изменилась: его срочно посылают в рейс, не очень длительный, хотя и хлопотливый, отчего ему пока не пришлось разузнать, как будет с Алешей, но так как капитаном «Дежнева» он остается, то по возвращении надеется все уладить и получить согласие начальства.

В письме ясно чувствовались какие-то недомолвки. И тот внутренний покой, в котором жил Алеша все это время, исчез. Начало казаться, что с «Дежневым» ничего не получится: начнут гонять Петра Ильича с рейса на рейс, а там и вовсе забудут, что он капитан «Дежнева»... Алеша совсем было загрустил, но через два дня пришла открытка, адресованная уже прямо ему. На ней был белый медведь, житель Московского зоопарка, и короткая шутливая фраза: «Не думай о нем — и болезни конец!» Открытка была послана из Одессы, и Алеша понял, что это прощальный привет перед выходом в рейс. Он повеселел, посмеялся над своими опасениями насчет «Дежнева» и с прежним увлечением вернулся к атласу; отвезти его в погранотряд он никак не мог решиться, хотя обе-

щанная «неделька» давно кончилась. Приближалось Васькино рождение, и он решил еще задержать атлас: не ездить же два раза подряд!

Утром седьмого августа он засел за атлас сразу же, как проснулся, чтобы напоследок заняться им всласть. Он попрощался со своими любимцами, еще раз проследил весь свой будущий путь, изученный уже основательно, и стал переворачивать одну страницу за другой. В этом занятии он не слышал, как в комнату вошел отец, и поднял голову только тогда, когда тот положил ему на плечо руку.

Сергей Петрович был бледен, губы у него как-то странно прыгали.

— Алеша,— сказал он негромко, не глядя на сына,— письмо тут пришло. Из Ленинграда.

У Алеши вдруг пересохло горло. Он молча смотрел на отца, торопя его взглядом.

— Петр Ильич погиб,— с трудом сказал Сергей Петрович и почему-то добавил: — Значит, вот так.

Он положил на атлас листок почтовой бумаги. Алеша прочитал короткое письмо, подписанное незнакомой фамилией, ничего не понял, заставил себя сосредоточиться и прочел еще раз. Только тогда до него начал доходить смысл.

Кто-то сообщал, что судно, которое Петр Ильич повел в рейс из Одессы в Барселону с грузом продовольствия для испанских детей, было торпедировано фашистской подводной лодкой. Четырех человек подобрал позже французский пароход, и эти люди рассказали, что взрыв пришелся прямо под мостиком, где был капитан.

Листок продолжал лежать на карте. По верхнему полю ее тянулся длинный заголовок: «Средние температуры воздуха в июле на уровне земной поверхности». Алеша механически прочел эти слова несколько раз подряд и потом, избегая глядеть на листок, закрывавший Гренландию, перевел взгляд на середину карты, привычно следя за движением «Дежнева» вдоль берегов Европы и Африки.

Но все было залито кровью. Средиземное море, Бискайский залив, сам Атлантический океан — все было разных оттенков красного, кровавого цвета. Местами вода темнела сгустком свернувшейся уже крови, местами але-

ла, словно текла из свежей раны. Везде, куда ни смотрел Алеша, была кровь. Материки купались в крови. Только безлюдная Арктика и такая же безлюдная Антарктида выделялись белыми и желтыми пятнами. Нигде не было благородной вольной синевы океанов. Материки купались в крови. Это что-то напоминало, что-то такое уже было. Ах да, бойня. Синей воды нет. В воде мины. А где плавать? В воде подлодки. Плавать-то где? Но почему все-таки все кровавое — и Атлантика и Тихий? Ах да. Это же средняя температура июля, а в июле жарко. Но войны же нет? Почему же взрыв прямо под мостиком, где был капитан? Ох, как хочется заплакать, а почему-то не хочется плакать! «Средние температуры воздуха в июле на уровне земной поверхности»... Жалко, что с «Дежневым» теперь уж не выйдет. Надо не об этом жалеть, а о Петре Ильиче. В общем, нужно, наверное, что-то сказать: стоит, ждет. Наверное, ему тяжело, все-таки друзья давно. «Средние температуры воздуха...»

— Ну, в общем, что ж тут сделаешь,— сказал наконец Алеша чужим голосом.— Наверное, ничего уже сделать нельзя. Я поеду. Обещал Ваське.

Он осторожно взял листок и, не глядя, отдал отцу. Потом закрыл атлас, но руки его не слушались — громадный альбом двинулся по столу и углом толкнул флакон со штормующей шхуной на этикетке. Флакон упал на пол, и тотчас же по комнате распространился удивительный корабельный запах смоленого троса, угольного дымка, свежей краски. Алеша ахнул и кинулся к флакону. Горлышко его было отбито, и последние капли одеколона вытекали на пол, пропадая в щелях досок. И, словно только сейчас поняв то, что произошло, Алеша упал лицом на флакон и зарыдал отчаянно, безудержно, бурно, не видя и не понимая ничего, кроме своего страшного, громадного, давящего горя.

Очнулся он в объятиях матери. Она не говорила никаких успокоительных слов — она просто гладила его по голове и порой наклонялась к нему, легко касаясь губами затылка, но постепенно Алешей овладевала усталость и тяжелый нерадостный покой. Он в последний раз судорожно всхлипнул, потом встал и пошел к умывальнику.

— Так я все-таки поеду к Васе,— сказал он, обернувшись.— Ты не беспокойся, все уже прошло.

— Когда вернешься?

— Не знаю. Дня через три, как всегда.

— Если лучше, поезжай.

Алеша долго, с неестественной аккуратностью обертывал атлас газетами, потом привязал к нему лямку и перекинул ее через плечо. Анна Иннокентьевна вышла его проводить.

За совхозной рощей, как раз в том направлении, куда надо было ехать Алеше, темнела огромная, в полнеба, туча.

— Алешенька, остался бы,— сказала мать, беспокойно глядя на него,— куда ж ты поедешь, гроза же непременно будет!..

— Надо, мама,— ответил он с непривычной для Анны Иннокентьевны твердостью.— А вот дождевик, пожалуй, возьму.

Он снял в сенях брезентовый плащ, затянул его в ремни багажника, обнял мать и уехал, придерживая локтем громоздкий свой груз. Лохматый Буян увязался было за велосипедом, но, раздумав бежать по такой жаре, гавкнул: «Счастливого пути!» — и опять развалился в пыли, высунув язык.

Анна Иннокентьевна долго стояла у крыльца, глядя вслед. Дорога начиналась в самом совхозе, уходя в степь прямой стрелой, и Алешу видно было до тех пор, пока он не превратился в пятнышко, различить которое на черном фоне тучи стало уже невозможно. Но, и потеряв его из виду, она все еще с тяжелым и тревожным чувством всматривалась в темную громаду, которая как бы поглотила в себе ее сына.

Туча и в самом деле была необычайна. Черно-коричневая в середине и серо-фиолетовая по краям, она вылезала из-за горизонта, словно какое-то гигантское чудовище, готовое навалиться на степь, чтобы крушить, ломать, давить все, что окажется под тяжелым его брюхом. В мрачных недрах ее что-то пошевеливалось, ворочалось, будто перед тем, как начать разрушительные действия, там разминались под толстой кожей могучие мышцы. Солнце освещало тучу сбоку, и потому громадная объемность ее хорошо ощущалась и шевеление это было особенно заметно: из середины к краям выползали переваливающиеся клубы, уплотнялись и, в свою очередь, выпускали



За рощей, как раз в том направлении, куда надо было ехать Алеше, темнела огромная, в полнеба, туча.

из себя новые клубящиеся массы, непрерывно увеличивая размеры тучи. Порой в ее толще чуть видимой тонкой нитью голубого света сверкали беззвучные молнии.

И это пошевеливание, и эти мгновенные молнии, и неостановимое увеличение размеров — все было угрожающим, зловещим, бедственным. И, хотя над совхозом солнце светило ярко и беспечно, небо бездонно голубело и жаркий ленивый воздух не двигался, было понятно, что далекая эта безмолвная еще туча в конце концов нависнет и над совхозом и что гроза обязательно будет. А Алеша, конечно, попадет в нее гораздо раньше.

Но не это тревожило Анну Иннокентьевну. Вещим сердцем матери она чуяла, что тяжелый нынешний день произвел в Алеше какой-то неизвестный ей переворот. Четверть часа назад на коленях ее лежал рыдающий мальчик, которого можно успокоить ласковым объятием, а сейчас на велосипед сел мужчина, принявший свое, мужское решение, о котором она не знала, но которое ощущала во всем: и в твердом его тоне, и в том, что он поехал навстречу грозе, хотя, видимо, она будет страшной. Но ни удержать, ни вернуть его было уже не в ее силах.

И она стояла у крыльца, глядя в степь, где давно уже исчез Алеша, стояла и глядела, как через несколько лет будут стоять и глядеть вслед своим сыновьям сотни тысяч матерей...

Догадка ее была верна. Конечно, по степи навстречу грозе ехал уже не прежний Алеша. Теперь, когда первое тупое ошеломление горем прошло и первая судорога отчаяния отпустила сердце, он мог уже осмыслить происшедшее. Он мужественно попытался определить размеры своего несчастья. Они были невозможно громадны: только что сломалась вся его будущая жизнь. Потерян друг, первый взрослый друг. Рухнула мечта об океанах. Думать об этом было так же ужасно, как и бесполезно.

Тогда он заставил себя думать о будущем. Что же делать и куда теперь жить? Но он никак не мог представить себе будущего. Еще утром оно было видно вперед на целые годы, до диплома штурмана дальнего плавания во всяком случае, а сейчас... Дальше сегодняшнего вечера мысли его не шли. Вот приедет к Ваське, расскажет все, может быть, тогда что-нибудь станет ясно. Но что

может сказать Васька? Нет, надо искать самому. Никто ему не поможет, кроме его самого. Петр Ильич верно сказал. Значит, надо думать.

И Алеша думал — настойчиво, стиснув зубы, наперекор всему, что болело в сердце и повергало в отчаяние. Подобно погорельцу, который, бродя по пожарищу, отыскивает, что же уцелело от огня, он искал в своей опустошенной душе то, с чем можно было продолжать жить.

Сперва ему казалось, что найти хоть что-нибудь годное среди обломков детства, взорванного час тому назад, невозможно. С печальным удивлением он вспоминал клятву на озере, серо-голубой севастопольский крейсер, спор с отцом в сосновом бору, военно-морской кружок, хлопоты с Васькой в горкоме о путевках... Все это было наивным, мальчишеским, все было звеньями распавшейся цепи. Потом в сознании его всплыло суровое и требовательное слово «долг». И тогда звенья эти неожиданно стали соединяться. Задымленные взрывом, залитые кровью, они снова складывались в цепь, порвать которую было уже невозможно.

Мысль за мыслью, довод за доводом в нем созревало решение. Оно не было новым. Новой была та убежденность, которую Алеша впервые в жизни ощущал в себе всем своим существом и о которой, наверное, и говорил ему Петр Ильич. Вот она и пришла, пришла сама, и он тотчас угадал ее, как те, кто, никогда еще не испытав любви, угадывает ее приход. Ни в объяснениях, ни в доводах не было надобности. Была одна чрезвычайная простота: иначе нельзя. Вот и все, все доводы и доказательства. Он знал, что другого для него в жизни нет.

Нет — потому, что в жизни нет жизни. Нет — потому, что делать, создавать, совершенствовать что-либо немыслимо, если над тобой, над всей жизнью висит вот такая набухшая молниями туча. Она не может развеяться, она должна разразиться грозой, которая уничтожит все, что ты делал, убьет твоих друзей и тебя. «Гроза же непременно будет»,— сказала мать. Удивительно, как люди видят грозу и не видят войны! Она вроде этой тучи. Ведь где-то там, у озера, уже гремит гром, льет ливень, и если здесь еще жара и солнце, так это не значит, что грозы нет. Впрочем, и сам он не понимал этого до сих пор. «Война непременно будет» — вот что он понимал. А ока-

зывается — не будет, а есть. И все дело лишь в том, успеет ли он занять свое место в строю, когда туча придвинется сюда, где солнце и тишина.

Так решающий этот час в жизни Алексея Решетникова навсегда связался в его представлении с видением зловещей тучи, в недрах которой шевелилась мрачная сила и проблескивали молнии.

Год за годом война придвигалась. Там, где он жил и учился, была тишина и солнце, а где-то далеко, у озера Хасан, молния уже убивала и гром разрушал. Потом все чаще стали сверкать вокруг эти молнии, предвещавшие близость грозы: на реке Халхин-Гол, у Карпатских гор, в снегах Карельского перешейка,— пока июньской короткой ночью не разразился разрушающий, смертоносный ливень бомб и снарядов.

Глава пятая

Если в купе железнодорожного вагона потолок понизить до уровня багажных полок, само купе расширить настолько, чтобы между спальными полками разместились вдоль окна еще две, одна над другой, а свободное пространство занять столом с опускными крыльями и двумя узенькими шкафиками у дверей, в точности получится кормовое помещение сторожевого катера, носящее громкое наименование «кают-компания».

Как известно, кают-компания предназначается для принятия пищи, для отдыха, для занятий, но уж никак не для ночлега. Поэтому на катерах это помещение следовало бы называть просто шестиместным кубриком, ибо здесь по малости катера отведены места для сна боцману, старшине-минеру и старшине-радисту на нижних диванчиках и трем матросам — на верхних. Но поскольку на день верхние койки опускаются, образуя собой спинки дивана, уютно расположенного в виде буквы «П» вокруг стола, за которым можно обедать, пить чай или играть в шахматы и писать письма, то помещение это в конце концов исправно выполняет функции нормальной кают-компании.

Сходство с железнодорожным купе на решетниковском

катере подчеркивалось еще и тем, что на ходу вся кают-компания тряслась мелкой непрерывной дрожью.

Это досадное свойство не было врожденным недостатком «СК 0944» — он получил его в бою, подобно нервному тику после серьезной контузии. На больших оборотах правый гребной вал его приобретал надоедливую вибрацию, что сильно огорчало механика катера главного старшину Быкова, которому всякая неполадка в машине была как нож острый. В каких только переделках не побывал катер! Кажется, нельзя было найти на нем хоть один механизм, кабель или прибор, который так или иначе не пострадал бы в бою,— но все это было залечено, исправлено и доведено «до нормального порядочка» пожженными и изуродованными быковскими руками, умными и неутомимыми. И только эта контузия не поддавалась их искусству: для ликвидации «трясучки» катер следовало поднять на береговой эллинг, что можно было сделать только в главной базе, а это отняло бы много времени. Катер продолжал ходить с «трясучкой», которая почти не сказывалась ни на скорости, ни на стрельбе. Но каждый раз, когда с мостика давали телеграфом «самый полный» и стрелка тахометра подползала к тому проклятому числу оборотов, при котором корму катера начинала трясти лихорадка хуже малярийной, Быков мрачнел и демонстративно переходил из отсека бортовых моторов к своему любимцу — среднему мотору, который, как и полагается всякому кореннику, отличался от горячих и своенравных пристяжных добросовестностью в работе и уравновешенностью характера.

Особенно сильно сказывалась эта тряска в корме, то есть в кают-компании. Все предметы на столе, позвякивая или побрякивая, бойко передвигались по линолеуму в разнообразных направлениях, пока не упирались в медный бортик по краям стола, специально сделанный Быковым. Поэтому многие из функций кают-компании на походе отпадали. Писать письма, например, было бы неосторожно: родные, увидев дрожащий почерк и наскакивающие друг на друга буквы, могли решить, что любимый сын или муж заработал на катере сильнейшее нервное расстройство. Шахматы тоже бесполезно покоились в шкафчике с того дня, когда на «СК 0944» произошел редчайший в истории шахматной игры случай. Прокурор

базы и флагманский врач, шедшие на катере «с оказией», вздумали провести время за доской, но в середине партии обнаружили, что стараться, собственно, нечего: оба короля давно уже получили мат. Произошло это потому, что ладьи, слоны, пешки и даже солидные ферзи дружно отплясывая на доске во время размышлений партнеров диковинную кадриль, своевольно переменили позиции, позорно открыв противнику своих королей. Таким образом, в кают-компании «СК 0944» на походе можно было только принимать пищу, и то при условии самой скупой сервировки. Впрочем, ни командиру, ни его помощнику, ни механику на ходу было не до писем и шахмат, а случайным гостям предоставлялось коротать время по своему усмотрению.

На этот раз в кают-компании гостей было двое — командир группы разведчиков лейтенант Воронин и майор Луников, командир прославленного отряда морской пехоты, оба в ватных куртках и штанах, в грубых сапогах с низкими голенищами. Все, что было навешано на них, когда они появились на катере,— сумки, гранаты, каски, фонари, вещевые мешки, фляги, бинокли, автоматы, запасные диски, котелки,— теперь лежало грудой на диванчике левого борта. Казалось удивительным, что все это снято с плеч всего-навсего двоих.

Тому занятию, которое они нашли себе, «трясучка» нисколько не препятствовала: Воронин держал в руках карту крупного масштаба, а майор, подняв глаза к подволоку, неторопливо и обстоятельно описывал местность, по которой группе придется пробираться ночью. Походило, будто на подволоке была копия карты, с такой точностью перечислял он приметные места, способные служить в темноте ориентиром: резкие повороты ущелья, по которому придется уходить от места высадки, аллею, ведущую к сгоревшим домам совхоза, откуда лучше взять прямо на север, чтобы пересечь шоссе в наиболее пустынном месте. Он добрался уже до виноградника, означавшего место безопасного подъема в горы, когда в кают-компанию вошел лейтенант Решетников.

— Складывайте карту, товарищ Воронин, хозяин кушать пришел,— сказал майор, двинувшись по дивану.

— Мы и гостей кормим,—улыбнулся Решетников, снимая ушанку.

— Да мы, собственно, кончили,— сказал Воронин, запихивая карту в планшет.— До гор уже добрались, а там и рассвет застанет.

Майор посмотрел на него сбоку и усмехнулся, отчего сухая и как бы выветренная кожа худощавого лица собралась в уголках глаз в мелкие морщинки, что сразу изменило его выражение: напряженная сосредоточенность, с какой майор искал на подволоке детали невидимой карты, исчезла, и теперь оно было лукавым и хитровато-насмешливым.

— Кончили? — спросил он.— Это мы с вами пока без противника разгуливали, как на кроссе в Сокольниках... А если возле шоссе — помните, высотка там удобная — немцы заставу догадались выставить? Поищите-ка, лейтенант, куда нам тогда подаваться... Нет, нет,— остановил он его движение,— вы карту не трудитесь доставать, вы на нее уже насмотрелись. Припоминайте без карты.

Лейтенант Воронин поднял глаза к подволоку, будто отыскивал там магическую карту майора, но, видимо, для него она оказалась что-то не очень разборчивой, так как он вздохнул и покрутил головой:

— Трудновато, товарищ майор...

— А если на берегу придется вспоминать? Тут-то легче: никто не стреляет и не торопит... Вспоминайте, лейтенант, пока время есть. Карта у командира должна вся в мозгу быть, мало ли что! А если вы ее потеряете?

— Я старшине Жукову вторую дал,— обиженно сказал Воронин.

— Подумаешь, сейф нашли... А если ваш Жуков на мину наступит? Нет уж, давайте-ка без карты, а я пойду погуляю, пока светло...

Воронин откинулся на диване и плотно закрыл глаза — очевидно, так вспоминать карту ему было удобнее, — а майор надел каску и хотел встать, но, взглянув на него, передумал, достал железную коробку с табаком и деловито начал скручивать впрок папиросы, ловко приминая табак тонкими и нервными пальцами, совсем не похожими на видавшие виды пальцы окопного воина.

Решетников тоже закурил, с любопытством разглядывая Луникова. Он слышал о нем многое, но видел его лишь второй раз. Впервые он встретился с ним утром у командира дивизиона при получении задания. Тогда Лу-

ников его разочаровал. Рядом с Владыкиным, всегда подтянутым, выбритым, почти щеголеватым, всегда свежим даже после бессонной ночи похода (чему Решетников втайне завидовал), майор в своем мешковатом и сильно потертом кителе, в порядком заношенных брюках, заправленных в сапоги, казался тусклым и незапоминающимся. И его манера говорить — медленно, негромко, как бы раздумывая вслух, перебивая себя бесконечными «а если?»— тоже невыгодно отличалась от ясной, четкой речи Владыкина и была совсем невоенной. Решетников даже удивился: неужели это тот самый Луников, о мужестве и решительности которого с восторгом рассказывали матросы, вернувшиеся на крейсер из Севастополя, где они были в его отряде морской пехоты? Из этих рассказов Решетников знал, что Луников пришел на фронт из запаса в начале войны, что сам он инженер, и даже не с производства: не то плановик, не то редактор какой-то технической газеты. Может быть, этим и объяснялось его невоенное многословие и этот «глубоко штатский вид», как со всей беспощадностью молодого офицера определил Решетников свое впечатление, слушая разговор майора с Владыкиным.

Вопрос, правда, был путаный и сложный.

Потеря шлюпки с катера старшего лейтенанта Сомова, происшедшая неделю тому назад, показывала, что бухточка (которую Луников предложил для удобства разговора именовать «Непонятной») перестала быть тем надежным местом связи с партизанами и подпольщиками Крыма, каким ее считали до сих пор. Здесь было сделано уже больше десятка удачных высадок разведчиков или людей, направляемых в партизанские отряды, здесь же принимали на катер тех, кто возвращался с задания, и все обходилось как нельзя лучше. Этому способствовало самое расположение бухточки: она была скрыта в высоких и обрывистых прибрежных скалах, навигационный подход к ней был очень удобен благодаря приметному мысу, расположенному возле нее; кроме того, бухточка находилась вдали от деревень и курортных местечек, и немецких гарнизонов тут не было. Все это Решетников оценил на собственном опыте, посетив бухту трижды: два раза в порядке обучения ремеслу — на катере лейтенанта Бабурчёнка, высаживавшем разведчиков и на четвертую

ночь принимавшем их обратно, и один раз вполне самостоятельно, незадолго до сомовской неприятности, доставив в бухту пять человек и благополучно дождавшись шлюпки.

Что произошло в бухте во время высадки очередной группы старшим лейтенантом Сомовым — и с группой ли самой или только со шлюпкой,— могло стать известным очень не скоро: разведчики должны были возвращаться через фронт на «малую землю» у Керчи, а радиосвязь им была запрещена. Но обстоятельства особой важности (какие именно, Решетникову не сообщалось, хотя он знал, что майора вызывал к себе сам командующий флотом) вынуждали нынче же ночью не только высадить в бухте Непонятной разведчиков из отряда Луникова, но и принять их там же на катер следующей ночью.

Последнее было возможно лишь при условии, что шестерка, высадив группу, благополучно вернется к катеру. Если же она не вернется, то это будет означать, что немцы и впрямь устроили в бухте Непонятной какую-то ловушку. Тогда придется посылать с тем же заданием новую группу, но высаживать и принимать ее в другом, более отдаленном месте.

Владыкин показал его майору на карте. Тот прикинул расстояние (здесь Решетников впервые обратил внимание на его пальцы — тонкие пальцы кабинетного работника) и сказал, что тогда дело затянется на восемь-девять суток, а может быть, и больше, так как точный срок прихода группы к месту посадки указать невозможно, и получается форменная ерунда. Так же придирчиво обсуждая каждый вариант и ставя Владыкина в тупик своими надоедливыми «а если?», Луников забраковал и другие предложенные тем места побережья, и Решетников начал терять терпение. Выходило, что майор хочет организовать путешествие своих разведчиков по тылам врага со всеми удобствами и без всякого риска, почему Решетников мысленно обозвал его перестраховщиком.

Однако майор закончил разговор неожиданно: он положил на карту циркуль и объявил, что, видимо, приходится рискнуть на высадку в бухте Непонятной сегодня же ночью и что он пойдет со своими людьми сам. Если никаких приключений не произойдет и шлюпка благополучно вернется к катеру, то для обратной посадки катер

должен быть у бухты на следующую ночь и выслать шлюпку к тому же месту. Ну, а если катер сегодня шестерки не дождется, значит, на бухту Непонятную надо окончательно плюнуть, разведчики займутся своей судьбой сами. Но в этом случае надо тотчас же доложить командующему флотом, что задание не выполнено, и немедленно высылать катер с другой группой в предложенное Владыкиным запасное место.

На этом разговор наконец закончился, и Решетников пошел на катер, с досадой думая о том, что и на походе и при высадке Луников порядком еще причинит хлопот своим слишком обстоятельным и дотошным отношением ко всякому делу.

Однако, к удивлению его, майор ничем никого не донимал. Появившись на «СК 0944», он деловито осмотрел шестерку, погруженную на катер, прикинул, как удобнее разместить на ней разведчиков, попросил Решетникова дать им всем возможность за время похода хорошенько выспаться, после чего спустился в кают-компанию и лег поспать сам. Сейчас он сидел спокойный, отдохнувший и даже веселый, занимаясь папиросами и насмешливо посматривая на Воронина, который мучился с незримой своей картой.

Майор выглядел теперь совсем иначе, чем утром. Ватная куртка — одеяние неказистое и неуклюжее — удивительно шла к нему, и было понятно, что в этой одежде он чувствует себя свободнее и привычнее, чем в кителе. Она плотно и удобно облегала его грудь и плечи, чем-то напоминая средневековые латы, вернее — выпуклую, в тисненом узоре кирасу. Может быть, этому впечатлению способствовало то, что майор забыл снять каску, и лицо его, обрамленное военным металлом, стало мужественнее и воинственнее. Ему было, вероятно, порядком за тридцать, может быть, под сорок, но, когда быстрым, живым движением он поворачивал к Воронину голову и усмехался, каска скрывала его седеющие виски, складки в углах рта — беспощадный знак прожитых годов — расходились, и он казался совсем молодым. Да и сам он весь как-то подобрался, посвежел, повеселел, как человек, развязавшийся с надоедливой обязанностью и приступающий к интересной, приятной ему работе. Разговор его показался теперь лейтенанту тоже иным: хотя Луников по-прежнему

злоупотреблял своими «а если?», так раздражавшими утром, теперь Решетников со стыдом подумал, что необходимую для всякого решения обстоятельность и вдумчивость он принял за перестраховку.

В том спокойствии, с каким Луников перед уходом на опасный берег занимался заготовкой папирос, в той уверенности, с какой он, не глядя на карту, видимо отпечатанную в его мозгу со всеми деталями, отыскивал ночной путь, в той настойчивости, с которой он заставлял Воронина запоминать маршрут, как и во всем его поведении с момента прихода на катер, чувствовался совсем другой человек. Было ясно, что теперь, когда все варианты высадки обсуждены, отброшены и оставлен только один, наилучший, майор будет делать именно то, что решено. Эта спокойная уверенность настолько подкупила Решетникова, что Луников внезапно ему понравился.

— Поздно собрались выйти, товарищ майор,— сказал он с сожалением.— Закат нынче выдавали мировой!..

Луников улыбнулся:

— Да вот мы тут с картой подзадержались. Долго вы там, лейтенант? Вас давно уже немцы окружили, и разведчики с вами пропали, и я влип.

Воронин виновато открыл глаза.

— Слева балочка есть удобная, а куда она выводит, хоть убей, не вспомню,— сказал он, сердясь на себя.— Придется обратно в карту лезть, товарищ майор...

— Что ж, лезьте,— вздохнул Луников.— Только в последний раз. Коли и потом не доложите, оставлю на катере.

Воронин поспешно зашуршал картой, и по тому, с какой яростью накинулся он на злополучную балку, Решетников понял, что угроза майора не была шуточной, и это тоже ему понравилось. Он с гордостью подумал, что спроси его самого, как подходить к бухте Непонятной, никому не пришлось бы дожидаться, пока он сбегает в рубку за картой, и с насмешливым сожалением покосился на Воронина, который снова откинулся на диване, закрыл глаза и зашептал что-то про себя, будто повторяя урок.

В кают-компанию вошел главный старшина Быков, стеснительно держа за спиной трижды вымытые руки, на которых все же остались черные и желтые пятна — неистребимые следы вечной возни с моторами.

— В цейтнот попали, лейтенант, посудой уже гремят,— сказал Луников, убирая коробку с табаком.— Вот мы с хозяевами сейчас ваши сто грамм разопьем, чтобы у вас голова свежее была!

Он снял каску и рассмеялся, и в этом смехе Решетникову снова показалось что-то необыкновенно привлекательное. Теперь майор уже окончательно его покорил.

Решетников был еще в том возрасте, когда человек бессознательно ищет среди встречающихся ему людей того, кому хочется подражать,— вернее, того, кто своим примером может показать, как обращаться с людьми, любить их или ненавидеть, командовать, драться с врагом,— словом, научить, как вести себя в той непонятной еще, сложной и полной всяких неожиданностей жизни, которая открывает перед молодым человеком свой таинственный простор. Он сменил уже несколько таких образцов, увлекаясь ими при первом знакомстве и разочаровываясь при ближайшем, но каждый из них оставил в его характере свой след — в жестах, в манере говорить, в понимании людей. И сейчас ему стало жаль, что Луников мелькнет в его жизни одной вот этой встречей; очень захотелось быть с ним в одном отряде или на одном корабле, и он всем сердцем понял, почему с таким восторгом отзывались о майоре те, кто его знал.

Решетников тоже рассмеялся:

— Не пьем, товарищ майор! Такая у нас катерная служба: бережем на случай купанья или на шторм. Но для гостей...

Он приоткрыл дверь в коридорчик, где и в самом деле кто-то гремел посудой, и крикнул:

— Товарищ Жадан, гостям по сто грамм!

В дверях появился Микола Жадан — единственный на катере матрос строевой специальности, он же кок, он же вестовой кают-компании, он же установщик прицела кормового орудия: на катерах, по малости их, и люди и помещения выполняют одновременно несколько разнообразных функций. В руках у него был дымящийся бачок с супом, а на мизинце висел котелок. Как ухитрился он спуститься по отвесному трапику, было загадкой.

— Сейчас достану, товарищ командир, ужо вот накрою,— с готовностью ответил Жадан и, поставив суп на стол, начал расставлять тарелки и раскладывать вилки

и ложки, которые, подвергаясь трясучему закону кают-компании, немедленно зазвенели и поползли по столу, как крупные бойкие тараканы.

— Нет, нет, не нужно,— поспешно сказал Луников.— Это я больше для красного словца. Нам с лейтенантом по возрасту вредно: я для этого староват, а он молод. А вот почему вы, моряки, не пьете, удивительно...

— У каждого своя привычка,— объяснил Решетников серьезно, подхватывая ложку, которая вовсе уже подобралась к краю стола.— Вот наш механик, например, предпочитает накопить за неделю и уж заодно разделаться, а то, говорит, со ста грамм одно раздражение... Так, что ли, товарищ Быков?

— Вы уж скажете, товарищ лейтенант! — сконфузился Быков.— Один только раз и случилось, а вы попрекаете...

— А я вот сейчас майору расскажу, как случилось,— пригрозил Решетников.— Хотите?

Быков затомился, но, на его счастье, Жадан закончил нехитрую сервировку и придвинул котелок к тарелке Решетникова. Тот нахмурился:

— В честь чего это мне особая пища? Что я, больной?

— Так, товарищ же лейтенант,— возразил Жадан, ловко разливая суп из бачка по тарелкам,— на базе нынче обратно пшено на ужин выдали, вы ж его не уважаете. А тут консервный суп с обеда, кушайте на здоровье...

Луников быстро вскинул глаза на Жадана и усмехнулся, как бы отметив что-то про себя. Решетников, увидя это, вдруг вспылил:

— Опять вы фокусы показываете! Сколько раз вам говорить: давайте мне что всем! Безобразие... Гостям одно, хозяину другое...

— А вы о гостях не беспокойтесь, мы как раз пшенный суп больше уважаем,— успокаивающе сказал майор и протянул руку к тарелке: — Довольно, товарищ Жадан, хватит...

— Кушайте, кушайте,— гостеприимно отозвался Жадан,— можно и добавки принесть, я лишнего наварил. Когда еще вам горяченького приведется...

Он постоял у двери, посматривая то на гостей, то на командира. Широкое веснушчатое его лицо выражало полнейшее удовлетворение тем, что все со вкусом приня-

лись за еду. Потом он сообщил тем же радушным тоном:

— На второе капуста с колбаской и какава.

— Откуда какао? — удивился Быков.

— Шефская какава. Я как в госпиталь к Сизову ходил, у врачихи выпросил. Сказал, в такой поход идем, что без витамина не доберешься.

Решетников посмотрел на него, собираясь что-то сказать, потом сердито махнул рукой и уткнулся в свой «особый суп». Жадан исчез. Луников посмотрел ему вслед и перевел взгляд на Решетникова:

— Ну, чего вы на него накинулись? Жадан ваш — душа-человек, и плохо, если вы этого не видите... Да вы отлично видите, только ершитесь перед гостями...

— Конечно, вижу,— сказал Решетников, не поднимая головы,— только все-таки...

— И небось приятно, что о вас на катере так заботятся?

Решетников улыбнулся:

— Почему же обо мне? Вас он и в глаза не видел, разведчиков тоже, а лишнего наготовил. Характер у него такой, заботливый.

— Одно дело — забота, а другое... как бы сказать... ну, душевное тепло, что ли,— раздумчиво сказал Луников.— Это и в семье великая вещь, а в военной семье особенно. Командиру, которого бойцы любят, просто, по-человечески любят, воевать много легче... Это для командира счастье...

Решетников хотел было возразить, что уж кому-кому, а самому майору жаловаться не приходится, потому что те, кто был с ним в Севастополе, видимо, так его и любили, но это показалось ему неловким, и он промолчал. Майор с аппетитом доел суп, положил ложку в опустевшую тарелку, и она тотчас тоненько зазвенела. Он взглянул на нее с удивлением.

— С чего это у вас такая трясучка? На всяких катерах ходил, такой не видывал...

Решетников обрадовался перемене разговора.

— Боевое ранение,— оживленно сказал он.— Это еще до меня было, пусть механик расскажет, он тогда катер спас.

Но Быкова никак нельзя было раскачать. Несмотря на подсказки Решетникова, которому, видимо, очень хо-

телось показать майору, какое золото у него механик, он сообщил только, что правый вал был поврежден в октябре прошлого года, когда катер сидел на камнях и что своими средствами его исправить нельзя. Наконец Решетников взялся рассказывать сам.

Оказалось, что Парамонов вместе с другим катером своего звена снимал с Крымского побережья группу партизан, прижатых немцами к морю. Парамонов для скорости подвел катера прямо к берегу, партизаны, прыгая с камня на камень, добрались до катеров, и тут немцы открыли огонь. Уже выходили на чистую воду, когда катер сильно стукнулся кормой о камень и, если бы не главстаршина, так бы и остался у камней: заклинило рули, и через дейдвуд правого вала в машинное отделение стала быстро поступать вода. Быков сумел не только...

— Вы уж скажете, товарищ лейтенант! — перебил Быков, с некоторой тревогой ожидавший этого места рассказа.— И воды-то было пустяки, и рули...

— А вы не перебивайте,— оборвал его Решетников.— Воды хватало, могли и остальные моторы заглохнуть... Так вот, главный старшина Быков, наш механик, ухитрился...

Тут Решетников, желая во что бы то ни стало показать майору таланты Быкова, пустился в такие технические подробности, которых ни Луников, ни Воронин не поняли. Ясно было одно: что полузатопленный катер все же смог дать ход, однако рули еще не действовали. Другой катер, которым командовал лейтенант Калитин, тоже навалился на камни носом и сам сняться с них не мог. Парамонов, маневрируя без руля двумя моторами, кое-как подошел к нему и сдернул с камней. Калитин предложил повести на буксире парамоновский катер, пока на нем не ликвидируют поломку рулей. Уже начали заводить концы, когда выяснилось, что партизаны недосчитываются еще восьми человек. Тут новая ракета осветила катера, стоящие рядом, и огонь немцев усилился. Парамонов, как старший в звене, приказал Калитину отойти мористее и отвлекать на себя огонь, чтобы поврежденный катер мог спокойно исправить рули и дождаться оставшихся партизан. Уловка подействовала: едва Калитин отошел, немцы перенесли весь огонь на него, решив, что сидящий на камнях катер они прикончить успеют, а этот может уйти в

море. Скоро вдалеке от камней вспыхнуло на черной воде яркое дрожащее пламя и очередная ракета осветила калитинский катер, весь окутанный белым дымом, из которого временами взвивался высокий язык пламени. Но горящий катер все еще маневрировал с отчаянным упорством, сбивая пристрелку и ухитряясь ловко уходить от залпов. Немцы, торопясь прикончить его, оставили в покое парамоновский катер, и тот, исправив рули и забрав партизан, вырвался под двумя моторами в море...

— А калитинский? — спросил Луников, живо заинтересованный рассказом.— Так и сгорел?

Решетников, видимо ожидавший этого вопроса, с удовольствием улыбнулся:

— Он, товарищ майор, гореть и не думал... Это Парамонов приказал: как поближе разрыв ляжет, зажечь на корме дымовую шашку да тряпку с бензином и охмурять немцев... Калитин на этом деле две свои простыни погубил...

— Здорово!..— расхохотался Воронин.

Засмеялся и майор.

— Парамонов, Парамонов...— сказал он, вспоминая.— Постойте-ка, это не тот Парамонов, который из Севастополя чуть не по сто человек сразу вывозил?

— Точно, товарищ майор,— подтвердил Быков.— Сто не сто, а одним рейсом шестьдесят семь взял, вторым семьдесят шесть, а третьим восемьдесят семь.

— Восемьдесят семь? — удивился Воронин.— Где же они тут поместились?

— По кубрикам да тут, в кают-компании... Локтем к локтю стояли, как в трамвае, до самого Новороссийска...

— Ну-ну,— покачал головой Воронин.— Этак и перекинуться недолго...

— Если на палубе держать, очень просто. Только старший лейтенант Парамонов всех вниз послал, ну и шел аккуратно — больше пяти градусов руля не клал, а погода тихая, все шло нормально...— Быков усмехнулся.— То есть нормально, пока моряков возили. А на третьем рейсе армейцев взяли, так с ними целая сцена вышла, Никак вниз не идут: натерпелись люди, нервничают да и наслышаны о всяком. Кому охота в мышеловку лезть? Иван Александрович и так и сяк, а они стояли наверху, вот-вот перевернемся. Тогда он как крикнет на весь ка-

тер: «Приготовиться к погружению!» Я пошел по палубе. «Ну, говорю, кто собирается поплавать, оставайтесь наверху, а мы сейчас подводным рейсом пойдем, светает, самолеты налетят!..» В момент палуба чистая, мы люки задраили, и метацентр на место стал.

— Здорово! — опять восхищенно воскликнул Воронин.

Майор изумленно уставился на Быкова и вдруг расхохотался, да так, что на глазах его выступили слезы. Он взмахивал рукой, пытаясь что-то сказать, но снова принимался хохотать настолько заразительно, что даже Решетников, не раз слышавший эту историю, невольно засмеялся сам. Наконец Луникову удалось вставить слова между приступами смеха:

— Так и я... И я... Я тоже полез!..

— Куда? — изумился Решетников.

— В кубрик... Там где-то, на носу...

Быков оторопело на него посмотрел:

— И вы тогда с нами шли, товарищ майор?

— Выходит, шел,— сказал Луников, переводя дух.— Это первого июля было? В ночь на второе?

— Точно...

— Из Стрелецкой бухты?

— Точно, товарищ майор.

— Ну, значит, так и есть... Тьма была, толчея, крики... Меня мои ребята куда-то сунули с пристани — ранен я был, в плечо и в голову; очнулся — сижу у какой-то рубки, кругом чьи-то ноги да автоматы, теснота. Вдруг все ноги исчезли, я обрадовался, дышать есть чем, а сверху вдруг голос, да такой строгий: «Хочешь, чтоб смыло? Слыхал, на погружение идем? Сыпься вниз!..» Это уж не вы ли меня шуганули, товарищ Быков?

Теперь пришла очередь расхохотаться Решетникову:

— А вы и поверили?

— Да мне тогда не до того было — опять худо стало, а вот эти слова запомнил. Потом, в госпитале, все спорил: мне говорят — вас парамоновский катер вывез, а я говорю — подлодка... Все в голове перепуталось, так и не знал, кому спасибо сказать... Ну ладно, хоть теперь знаю...

Майор потянулся в карман за папиросой и добавил уже серьезно:

— Смех смехом, а выходит, Парамонову я жизнью

обязан. Меня ведь одним из последних на катер взяли... Помню, кто-то кричит: «Больше нельзя, ждите еще катеров!», а кто-то говорит: «Командир еще троих разрешил, раненых!» Тут меня и перекинули на борт... А ребят своих, кто меня до бухты донес, я так потом и не сыскал... Обязательно надо мне Парамонова поблагодарить. Где он теперь? Небось дивизионом командует?

— Погиб он,— коротко сказал Быков.

— А,— так же коротко отозвался Луников, и внезапная тишина встала над столом. Лишь тоненько позвякивали в тарелках ложки да гудели за переборкой моторы низким своим и красивым трезвучием, похожим на торжественный органный аккорд.

Удивительно и непередаваемо то молчание военных людей, которое наступает после короткого слова «погиб». Те, кто знал исчезнувшего, думают о нем, вспоминая, каким он был. Те, кто не знал его, вспоминают друга, которого так же вырвала из семьи товарищей быстрая и хваткая военная смерть. И оттого, что смерть эта всегда где-то рядом, всегда вблизи, те и другие одновременно с мыслью о погибших думают и о самих себе: одни — удивляясь, как это сами они до сих пор еще живы; другие — отгоняя от себя мысль о том, что, может быть, завтра кто-то так же скажет и о них это короткое, все обрывающее слово; иные — с тайной, тщательно скрываемой от других и от себя радостью, что и на этот раз военная смерть ударила не в него, а в другого. А кто-то в сотый раз испытывает при этом известии необъяснимую уверенность, что погибнуть в этой войне могут все, кроме него самого, потому что его, именно его, лейтенанта или старшину второй статьи, здорового, сильного, удачливого человека, который привязан к жизни тысячью крепких нитей, кого мать называет давним детским именем, а другая женщина, более молодая,— новым, ласковым, ею одной придуманным и только им двоим известным, и кому нужно в жизни сделать так много еще дела, узнать так много чувств и мыслей,— именно его военная смерть не может, не должна, просто не имеет права коснуться. А кто-то, напротив, в сотый раз подумает о смерти со спокойным равнодушием человека, уставшего от давнего непосильного боевого труда и согласного на любой отдых, даже если отдых этот— последний. Но все эти люди, думающие так по-разному,

одинаково замолкают и отводят друг от друга глаза, уходя в свои непохожие и различные мысли, и молчание это становится непереносимым, и хочется что-то сказать — о том, как жалко погибшего, о том, как вспыхнуло сердце холодным огнем мести, о многом, что рождает в душе это короткое слово «погиб», но все, что можно сказать, кажется невыразительным, бедным и пустым, и люди снова молчат, ожидая, кто заговорит первым.

Воронин вздохнул и, деловито зашуршав картой, пристально взглянул на нее, потом зажмурил глаза, отпечатывая в памяти тропинки и склоны. Быков прислушался к гулу моторов и, видимо уловив какой-то не понравившийся ему новый звук, привстал и, спросив у Луникова: «Разрешите, товарищ майор?» — быстро пошел в машинный отсек. Решетников взглянул на часы и тоже привстал.

— Разрешите на мостик, товарищ майор? — сказал он, потянувшись за ушанкой.

— А капусты с колбаской и какавы? — без улыбки спросил Луников.

— Темно уже.

— Когда рассчитываете подойти?

— Часа через три, если ни на кого не напоремся.

— Я не спросил, кто с нами на шлюпке пойдет?

— Боцман наш, старшина первой статьи Хазов, и Артюшин, старшина второй статьи, рулевой. Люди верные, не раз ходили.

Луников подумал.

— Пришлите ко мне боцмана, если не спит. Потолкуем с ним, как все это получше сделать.

— Пожалуйста. Он сейчас спустится ужинать с моим помощником,— отозвался Решетников не очень приветливо.

Луников вскинул на него глаза, снова отметив что-то про себя, и сказал с той побеждающей ласковостью, с какой говорил о жадановском котелке:

— Да вы не беспокойтесь, товарищ лейтенант, я в ваши командирские дела вмешиваться не стану. Просто любопытно с ним поближе познакомиться. Как-никак мы ему жизни доверяем, а также успех всего дела, так интересно, кому...

Он говорил это, как бы оправдываясь, хотя мог про-

сто приказать, ничего не объясняя, и Решетников снова почувствовал расположение к этому седеющему спокойному человеку.

— Боцман у нас неразговорчивый, вроде Быкова... Ну что ж, попробуйте,— улыбнулся он, шагнув к двери, и чуть не столкнулся с Жаданом, который нес чайник и бачок.

— Куда ж вы, товарищ лейтенант? — спросил тот испуганно.— Какаву же несу!

— После какао попью, товарищ Жадан,— ответил Решетников, надевая ушанку.— Вот гостей проводим на бережишко и попьем, а вы пока их угостите как следует.

Он закрыл за собой дверь и остановился в коридорчике у трапа, выжидая, пока глаза, ослепленные яркими лампами кают-компании, привыкнут к темноте, которая ждала его за крышкой выходного люка.

Глава шестая

В самом деле, наверху уже совершенно стемнело. Южная ночь быстро вытеснила за горизонт остатки света на западе, соединив небо и море в одну общую тьму, окружавшую катер. Но если сперва Решетникову казалось, что тьма эта непроглядна и что она начинается у самых ресниц, словно лицо упирается в какую-то мягкую стену и от этого хочется плотно зажмурить бесполезные глаза, то потом, когда он постоял на мостике, стена эта незаметно исчезла, будто растаяв. Море и небо разделились. Темнота получила объемность, ожила, и ночь открылась перед ним в своем спокойном, молчаливом величии.

Огромный купол неба весь шевелился в непрестанном мерцании звезд. Яркие и крупные, они вспыхивали то здесь, то там, отчего казалось, будто они меняются местами. Млечный Путь, длинным светящимся облаком пересекавший весь небосвод, тоже как бы колыхался, в нем все время происходили какие-то бесшумные изменения: голубоватый его туман непрерывно менял очертания, усиливая бледный свет в одной своей части, чтобы тотчас же мягко просиять в другой. Темноте

(в собственном, прямом смысле этого слова) на небе не находилось места. Лишь кое-где глубокие беззвездные мешки зияли действительно темными провалами в бесконечность. Все же остальное небесное пространство мерцало, вспыхивало, искрилось и переливалось живыми, играющими огнями далеких бесчисленных звезд.

В этом удивительном свете темной южной ночи глазу скоро стало видно и море. На горизонте трудно было отличить его от неба, потому что в плотных нижних слоях атмосферы звезды светились не так ярко, как в чистой высоте, и небо здесь как бы продолжало собою море. Зато вблизи катера можно было уже видеть черную маслянистую массу воды и даже угадывать на ней мерное колебание пологой зыби, покачивающей на себе отраженный свет звезд. Ветерок, слегка усилившийся к ночи, передвигал над морем невидимый воздух, и вся мерцающая и дышащая тьма, казалось, жила своей особой, таинственной жизнью, не обращая внимания на крохотный катерок, пробиравшийся в нем по каким-то своим делам.

Решетников уже долго пробыл на мостике. Холодные струйки, обдувая лицо, забирались в рукава и под воротник, но не студили тело, а вливали в него особую, энергическую свежесть, от которой он чувствовал в себе приятную живую бодрость. Некоторое время ему казалось, что все идет прекрасно и что поход не может закончиться неудачно. Так огромна и спокойна была жизнь, наполнявшая небо, воздух и море, такая величественная тишина стояла в ночи, что война, которая в любой миг могла ворваться в нее огненным столбом мины или желтой вспышкой залпа, казалась невероятной и несуществующей.

Но вскоре это полное, почти блаженное чувство покоя стало исчезать, и он заметил, что ночь не так-то уж хороша. Белая пена, неотступно сопровождавшая катер, была видна за кормой слишком отчетливо. На палубе действительно почти ничего нельзя было различить, но то, что виднелось на фоне освещенного звездным сиянием моря — оба орудия, комендоры в тулупах, шестерка на корме,— выделялось из темноты еще более плотной тенью. Значит, со стороны так же можно было заметить и силуэт самого катера.

Чем ближе подходил катер к местам, где он мог встретить противника, тем светлее казалась Решетникову ночь, хотя всякий назвал бы эту темноту кромешной. Он с досадой подумал, что такой бесстыдно сияющий планетарий годится для курортной прогулки, но совершенно неуместен в войне, где надо проводить скрытные операции. Для этого много удобнее небо, сплошь затянутое облаками. Тогда и в самом деле было бы темно и, кроме того, мог лить нудный холодный дождь, который загнал бы немцев в землянки. Так же, будь на то его воля, Решетников охотно заменил бы эту пологую вздыхающую зыбь хорошей волной, чтобы береговой накат заглушал гудение моторов приближающегося катера.

Впрочем, рев катера теперь значительно уменьшился: сразу по выходе на мостик Решетников приказал перевести моторы на подводный выхлоп. Отработанные газы прекратили свою оглушительную пальбу, пробираясь теперь через воду с недовольным урчанием, и по темному морю разносился только ровный низкий гул моторов. Однако сквозь него нельзя было расслышать такой же гул моторов противника. Поэтому Решетников вызвал на мостик старшину сигнальщика Птахова (того самого, у которого было «снайперское зрение»), предупредил людей, стоящих у орудий и пулеметов, чтобы и они наблюдали по бортам и по корме, потом еще раз обошел палубу, осматривая затемнение. Ни одного лучика света не вырывалось из плотно закрытых люков, из двери рубки, и только на мостике смутным и бледным кружком чуть теплилась слабо освещенная изнутри картушка компаса.

Резкая свежесть ночи охватывала лейтенанта, но он так и не накинул на себя тулупа: каждый момент могла произойти встреча с катерами или сторожевиком противника, и тулуп мог помешать нужным движениям. Мысль о возможной встрече порождала в Решетникове все нарастающую тревожность, и он пристально вглядывался в темноту. Уже не раз дрогнуло у него сердце, когда на черной воде ему мерещился еще более черный силуэт, и не раз готов он был скомандовать руля и открыть огонь, предупреждая первый залп врага. Но каждый раз силуэт расплывался и исчезал и становилось понятно, что он был лишь игрой утомившегося зрения и натянутых нервов. Наконец Решетников поймал себя на том, что снова

окликает комендоров у орудий: «Внимательнее за горизонтом смотреть!» — и со стыдом понял, что начинает нервничать и суетиться. Надо было взять себя в руки, довериться Птахову и думать о другом, постороннем, чтобы сохранить глаза и нервы для настоящей, не кажущейся встречи. Он нагнулся к компасу, проверяя, как держит рулевой, и картушка изменила ход его мыслей.

Еще недавно Решетников, убежденный артиллерист, относился к компасам равнодушно. Он даже слегка презирал этот слабенький прибор, нервы которого не могут выносить обыкновенной артиллерийской стрельбы. Извольте видеть, стрельба «изменяла магнитное состояние катера», и после нее компас начинал показывать черт знает что — количество осадков в Арктике или цену на мандарины в Батуми, и приходилось просить дивизионного штурмана снова поколдовать с магнитами и уничтожить девиацию, им же недавно уничтоженную. Но, став командиром катера и проведя наедине с компасом долгие часы походов в огромном пустынном море, в тумане и в ночи, Решетников подружился с ним и научился его уважать. Компас стал для него частью его командирского «я», органом нового для него чувства ориентировки в море, необходимым и неотъемлемым, как рука, глаз или ухо. Поэтому, выходя в море, Решетников всякий раз поточнее определял его поправку и, освежив в памяти забытую еще в училище науку о компасах — теорию девиации, однажды удивил штурмана дивизиона просьбой посмотреть, как он попробует сам наладить компас на вверенном ему катере. Впрочем, ничего удивительного в этом не было: ощутив компас как часть своего командирского организма, Решетников хотел владеть им с той же свободой и легкостью, с какой владел своими жестами или мыслью. С этого дня компас стал для него еще ближе, понятнее и роднее, как живое существо, которое он сам вы́ходил в серьезной болезни.

И сейчас, глядя на голубоватый круг картушки, который, казалось, перенял на себя сияние ночного неба, Решетников так и думал о компасе, как о живом существе — слабеньком, маленьком, но обладающем поразительной настойчивостью и силой характера.

В самом деле шесть крохотных, со спичку величиной, магнитиков, везущих на себе бумажный кружок с напе-

чатанными на нем градусами (картушку), окружены массами металла, огромными по сравнению с ними самими. Рубка, орудия, пулеметы, моторы — всяк по-своему тянут эти магнитики к себе, а равные, но обратно направленные силы магнитов-уничтожителей, хитро размещенные в нактоузе под картушкой так, чтобы противодействовать вредному влиянию судового железа,— к себе. Этот невидимый двойной вихрь силовых линий плотным слоем заслоняет от картушки магнитный полюс земли, расположенный у черта на куличках, где-то в Арктике, у берегов Северной Америки, в пятнадцати тысячах километров отсюда. И было поразительно, как магнитики картушки могут различать его далекий, едва слышный призыв: куда бы ни поворачивались катер и связанные с ним массы металла, картушка неизменно и упорно смотрит концом магнитиков на этот далекий полюс — на север.

Именно эта настойчивость и поражала Решетникова всякий раз, когда он начинал думать о компасе. Хорошо было бы иметь и в себе такую же стойкую и ясно направленную «лямбду-аш» (как называлась в теории девиации направляющая сила земного магнетизма на корабле).

Решетникову все время казалось, что в нем самом такой «направляющей силы» — ясной целеустремленности, уменья без колебания идти к тому, чего хочешь достигнуть,— нет. Поэтому всякому человеку, в котором подозревал наличие этой самой «лямбды-аш», он завидовал со всею страстностью молодости, жадно отыскивающей в жизни образцы для себя, и пытался сблизиться с ним, чтобы тот научил его, как пробудить в себе эту великую направляющую силу. Нынче его особенно поразил майор Луников: судя по всему, этот человек должен был иметь в себе такую «лямбду-аш». И, если бы Решетников мог, он сейчас пошел бы в кают-компанию, чтобы попытаться заговорить с ним на волнующую его тему.

Море, корабли, походы, бои и штормы, дружный мужественный коллектив флотских людей, даже самый его китель и нашивки,— все это было ему очень близко и дорого. Он отчетливо знал, что, если почему-нибудь ему придется этого лишиться, он станет самым несчастным человеком. Но в то же время он подозревал, что, случись с ним такая беда, жизнь его не опустеет. А вот для других, кого он наблюдал рядом с собой,— для того же Вла-

дыкина или старшего лейтенанта Калитина, командира его звена, или, скажем, для боцмана Хазова — это означало бы потерю смысла жизни: они были настоящими военными людьми, а он, наверное, только притворялся таким перед другими да и перед самим собой.

Это ощущение и беспокоило его, особенно в первые недели командования, когда он остро переживал свою неспособность быть командиром катера. Его начала преследовать горькая догадка, что он действительно не был настоящим военным человеком, а то, что померещилось ему шесть лет назад у зеленых склонов Алтая, было только мечтой, ошибочной и неверной.

К догадке этой он приходил всякий раз, когда начинал думать о будущем и примериваться, что же станет он в нем делать. Для многих, кого он видел вокруг себя, это будущее было заслонено кровавым и дымным туманом войны, для них оно заключалось в одном страстно желанном понятии: победа. Для него же война полыхающим светом своих пожаров и взрывов ярко освещала будущее, стоящее за победой. Представить его себе сейчас было невозможно, он мог лишь угадывать впереди нечто огромное, счастливое, ликующее: жизнь. И вопрос состоял в том, что же станет он делать в новой мирной жизни, где города будут строиться, а не разрушаться, где металл будет пахать землю, а не уродовать ее воронками, где пламя будет согревать, а не сжигать и где человеческая мысль обратится к созиданию, а не к разрушению.

Если, как он подозревал, качеств военного человека в нем не нашлось, его настоящее место, может быть, и окажется там, в этой гигантской и радостной созидательной работе. А возможно, он все-таки из тех, кто, умея хорошо владеть оружием, должен будет защищать труд многих людей, которые станут строить эту новую, необыкновенную послевоенную жизнь? Вряд ли после победы настанет вечный мир, и кому-то все равно придется оставаться у пушек в готовности снова вести бои за счастье огромного количества людей. Но тогда сможет ли он сказать, не обманывая ни себя, ни других: «Да, я тот, кто до конца своих дней будет убежденно делать именно это — защищать свою страну и ее труд, в этом и мое призвание, и моя гордость, и мое счастье»?..

Короче говоря, Решетникова мучила та самая болезнь, которой, как корью, неизбежно заболевает всякий способный к размышлению молодой человек, вступающий в жизнь: сомнение в том, правильно ли он угадал свой собственный путь.

Обо всех этих смутных, но сложных и важных вопросах говорить можно было только с другом, то есть с тем, кому доверяешь свое самое тайное и дорогое, не боясь показаться ни смешным, ни глупым, и с кем говоришь не словами, а мыслями — порой недодуманными, неоконченными, но все же понятными ему. Такого друга у него в жизни пока что не было, и к каждому, кто ему встречался, Решетников присматривался именно с этой точки зрения: выйдет или не выйдет?

При встрече с Владыкиным ему показалось, что «выйдет», и поэтому он в первом же разговоре так быстро и охотно раскрыл перед ним свою мечту о катерах. Но, попав к нему на дивизион, Решетников увидел, что «выходит» с Владыкиным многое, но не главное. Обо всем, что касалось катера, флота, боя, тактики, с ним говорилось просто и душевно, как будто Владыкин был не капитаном третьего ранга и не начальником, а именно другом, понимающим и отзывчивым, более взрослым и потому более разбирающимся в жизни. Но когда, засидевшись как-то в уютной его комнатке, которая, как и все, что окружало Владыкина, была необыкновенно чиста, аккуратна и празднична (что особенно поражало взгляд в том полуразрушенном санатории, где размещался штаб дивизиона), Решетников вздумал затронуть эти свои вопросы и путано заговорил о далекой цели, которую ему хочется поскорее увидеть в жизни, Владыкин поднял брови:

— А чего ж тут видеть? Победа — вот цель.

— Так это-то я как раз и вижу,— сказал Решетников, мучаясь, что не так выражает важную для него мысль.— Победы мы добьемся, это факт, а вот что за ней? Потом-то тоже придется жить... Так — куда жить?

Он повторил это свое любимое выражение, потому что именно оно несло в себе понятие курса и направленности, и надеялся, что Владыкин сразу его поймет и тогда можно будет говорить с ним обо всем.

Но Владыкин рассмеялся:

— То есть как это *куда* жить? Это вы о смысле

человеческой жизни, что ли?.. Давайте-ка, Решетников, воевать, а философию пока отложим. Сейчас об одном думать надо — о победе. Понятно?

Решетников, вздохнув, ответил для простоты, что понятно, и опять остался один на один со своими вопросами, странными и смешными для других. И случилось так, что именно на том катере, где он учился быть дельным офицером и хорошо воевать, ему довелось найти человека, которого он смог назвать в душе другом: боцмана Никиту Петровича Хазова.

Это пришло не сразу. Наоборот, вначале отношения Решетникова и Хазова никак не походили на дружеские.

Как-то так получалось, что впечатление первой встречи, когда во взгляде боцмана Решетников прочел убийственный для себя приговор, никак не исчезало. Первую неделю командования катером лейтенант видел в неразговорчивости боцмана и в постоянной его сумрачности молчаливый укор своим действиям, нежелание сближаться и терпеливое ожидание того счастливого для катера дня, когда на него придет наконец настоящий командир. Потом, когда из своей каюты он случайно услышал разговор Хазова с Быковым и уловил неохотную, как всегда, фразу боцмана: «Ну и что ж, что суетится, дай ты человеку привыкнуть...» — это ощущение сгладилось.

Но самолюбие вскоре подсказало другую обидную мысль: выходило так, что катером командует не он, лейтенант Решетников, а боцман Хазов. Катер стоял еще в ремонте после боя, в котором погиб Парамонов, и нужно было думать о сотне мелочей, как раздобыть необходимый компрессор, воспользоваться ремонтом для смены правого вала или решиться ходить и дальше с «трясучкой», как вовремя кормить людей (катер стоял в углу бухты, вдали от общего камбуза), что делать с покраской, ждать из госпиталя радиста Сизова или просить о его замене. И все, что он как командир катера должен был сам предусмотреть или приказать, все было подсказано или уже сделано боцманом. Правда, вел себя Хазов очень тактично и, щадя самолюбие командира, советы и предложения свои облекал в форму вопросов, которые незаметно наталкивали того на верное решение, но легче от этого не было: Решетников чувствовал себя на катере явно лишним.

Чувство это скоро стало унизительным и дополнительно повлияло на безнадежные ночные мысли Решетникова о том, что из него никогда не получится настоящего командира. Оно преследовало его все настойчивее и наконец воплотилось во сне кошмаром.

Лейтенанту приснился его первый поход на «СК 0944» и первый бой. Боцман стоял рядом с ним на мостике и удивительным шепотом, который перекрывал и гул моторов и трескотню стрельбы, подсказывал ему: «Право на борт... все три мотора стоп... теперь одним левым, круче выворачивайтесь...» И катер, вертясь, действительно избегал бомб, которые, пронзительно свистя, шлепались поодаль. И не успевал он подумать, что пора скомандовать перенести огонь по второму самолету, как Хазов уже стоял у пулемета и сам, без приказания, стрелял и тем же шепотом (которого, видимо, никто из матросов не слышал) снова подсказывал: «Все три мотора полный вперед... Руля право скомандуйте...» — и он, командир, чувствовал, что иначе сделать ничего нельзя. Но ему страшно хотелось сделать что-то по-своему. Он собрал в себе всю силу воли и рванул рукоятки телеграфа на «полный назад», но тут же с ужасом увидел, что Быков высунулся из машинного люка и грозит ему пальцем, как мальчишке, а боцман улыбается, качая головой, и показывает на бомбу. Та не падала, а медленно опускалась с неба, как бы плыла, и ему стало ясно, что она неотвратимо коснется кормы. Он понимал, что надо дать ход вперед, но стоял как зачарованный, не в силах пошевелить рукой. Тогда Хазов внимательно посмотрел на бомбу, сделал пальцами какой-то неторопливый таинственный знак (который был понятен всем, кроме него, потому что все они облегченно улыбнулись), и, хотя винты работали на задний ход, катер вдруг сделал огромный прыжок вперед, и бомба разорвалась за кормой... От грохота ее он проснулся с заколотившимся сердцем и решил, что дошел до ручки. Однако, услышав отдаленный лай зениток, понял, что наверху в самом деле что-то происходит.

Полуодетый, Решетников выскочил на палубу, и ему показалось, что идет крупный налет, когда катерам по инструкции полагалось отходить от пирсов, чтобы не попасть всем под одну бомбу. По темному небу перекидывались прожекторы, с берега били зенитки, и на мысу,

метрах в пятистах от катера, разрастался высокий столб огня — видимо, там горел один из деревянных домиков, лепившихся по склону горы вокруг бухты. У машинного люка он заметил темную фигуру, которую принял за механика, и тотчас крикнул:

— Товарищ Быков, какой мотор сможете завести? Давайте хоть один, скорее!..

— Это я, товарищ лейтенант,— ответил голос, и Решетников узнал боцмана Хазова.

Подойдя, он увидел, что тот стоит у своего пулемета, подняв к небу лицо.

— Еще мину спустил,— сказал боцман неторопливо и описательно, как бы не замечая взволнованности Решетникова.— Глядите, товарищ лейтенант, ее тоже к берегу тянет... Дурак какой-то нынче прилетел — вторую мину уже губит. Ветра не рассчитал.

В самом деле, белый парашют, яркой точкой сиявший в луче прожектора, медленно опускался за мыс к горе. Решетников со стыдом сообразил, что это не бомбежка, а обычный визит одного-двух самолетов, пытавшихся, как всегда, заградить минами выход из бухты. Он догадывался также, что необычная общительность боцмана объясняется только одним; тот косвенным образом хотел показать командиру совершенную ненужность заводить моторы, когда все вообще в порядке.

Мина ударилась где-то на склоне горы, грохот разрыва потряс катер, и Решетников искусственно зевнул.

— Ну, чего тут смотреть, холодно... мины как мины,— сказал он и повернулся, чтобы уйти.

Но боцман с той же подозрительной словоохотливостью и прежним тоном стороннего наблюдателя сообщил:

— Второй гудит. Наверное, тоже мины спускает... А глядите, товарищ лейтенант, как от нас хорошо фарватер видно...

И опять Решетников понял, что уходить ему никак нельзя: отсюда действительно фарватер был виден лучше, чем с базы, и можно было проследить, на каком его участке опустятся парашюты, а утром доложить об этом Владыкину, чтобы облегчить траление после ночного визита...

Стиснув зубы, он стал рядом с Хазовым, ища в небе отблеск парашюта, попавшегося в луч прожектора, но все

в нем восставало и кипело при мысли, что новый урок, как всегда, правилен. Единственное, что он мог сделать сам,— это крикнуть на мостик Артюшину, чтобы тот снял с компаса колпак и пеленговал опускающиеся в воду парашюты. Боцман, продолжая не замечать его состояния, молча стоял возле. Потом повернулся к акустику, скучавшему у пулемета, и негромко сказал ему:

— Реглан командиру принеси.

— Отставить, мне тепло! — резко перебил Решетников, и ему показалось, что боцман в темноте улыбнулся и покачал головой совсем так, как делал только что в приснившемся кошмаре.

Кошмар будто продолжался наяву. Решетников вдруг поймал себя на том, что он готов скомандовать огонь, совершенно бесполезный для гудящего высоко во тьме самолета,— скомандовать только для того, чтобы показать, что командир здесь он, а не боцман. Ночь была очень холодная, и его здорово прохватывало в кителе, но он упрямо оставался на палубе, пока самолеты не ушли.

Сообщив в штаб замеченные пеленга и вернувшись в каюту, он лег в койку, натянул на себя реглан и, согревшись, попытался спокойно обдумать, что же, собственно говоря, получается у него с Хазовым и как выйти из этого положения, становящегося невыносимым.

А получалось черт знает что.

Просить о переводе Хазова на другой катер было бы несправедливо по отношению к нему и, кроме того, просто вредно для катера и его экипажа: другого такого знающего и опытного боцмана не найти. Говорить о своем переводе на другой катер — значило углубиться в психологические дебри ночных кошмаров и, вероятно, вызвать во Владыкине недоумение и насмешку. Сказать же ему честно и откровенно, что с командованием катером что-то не получается и что поэтому он просит вернуть его на большие корабли, означало прямую капитуляцию. Кроме того, такая просьба перед самым окончанием ремонта (а стало быть, перед началом походов и боевых действий) могла вызвать подозрение, при одной мысли о котором Решетников вспыхнул.

Оставался один выход — необычайный, но совершенно справедливый: надо было просить Владыкина присвоить

Хазову лейтенантское звание и назначить его командиром «СК 0944», который он знает вдоль и поперек и где каждого человека экипажа изучил, как самого себя. Ведь бывали же на флоте случаи, когда младшие командиры без всякой волокиты и даже без экзамена получали лейтенантское звание прямо в бою или сразу после боя?..

Мысль эта понравилась, и он долго обдумывал, как убедить Владыкина передать «СК 0944» человеку, который действительно сможет заменить на нем старшего лейтенанта Парамонова, а его, Решетникова, перевести на другой катер. Это показалось ему настолько логичным и убедительным, что, повеселев, он заснул, решив сегодня же поговорить об этом с Владыкиным, когда пойдет к нему докладывать о ночных наблюдениях за парашютами.

Он так и сделал и, покончив с докладом, объяснил, что наблюдать за минами догадался, собственно, не он, а боцман Хазов и что Хазов — совершенно готовый офицер и поэтому с ним очень трудно, так как ему уже тесно в боцманском деле и его вполне можно продвигать выше. Так он подошел к теме своих взаимоотношений с Хазовым и тогда полились уже откровенные жалобы.

Владыкин слушал его внимательно и сочувственно, даже понимающе улыбался, когда Решетников для убедительности привел два-три случая, особо задевавших его самолюбие.

— Мне в свое время такой дядька тоже жизнь отравлял,— сказал он, протягивая Решетникову портсигар, что на условном коде дивизиона означало переход с официального разговора на дружеский.— Только не боцман, а главный старшина рулевой Родин. Я думал, что я уже штурман и пуп земли, а он меня учил... Боже мой, как учил! И теперь вспомнишь — краснеешь... И тоже, старый черт, все обиняком, вежливенько, ни к чему не придерешься... А этот ваш — как на людях себя держит? — перебил он себя.— Тоже учит?

— Нет,— признался Решетников и вдруг неожиданно для себя чихнул. Справившись с платком, он гордо добавил: — Ну, тогда я бы сразу его оборвал...

— Вот и молодец,— похвалил Владыкин.

И Решетников скромно опустил глаза:

— Так я же понимаю, товарищ капитан третьего ранга...

— Да не вы молодец,— сердито усмехнулся Владыкин.— Вы, извините, просто мальчишка, и притом бестолковый и неблагодарный. Вам на такого боцмана молиться надо, а вы... Подумаешь, самолюбие заело!.. Самолюбие, по-моему, не в том, чтобы обижаться, когда тебя учат, как что сделать, а в том, чтобы поскорее научиться так самому все это делать, чтобы тебя никто не смел носом ткнуть... И чем это, позвольте вас спросить, вам в себе любоваться? Самомнением своим, что ли? Или самонадеянностью?.. Флот, милый мой, на том и стоит, что офицер у всех учится — и у начальников и у подчиненных. К старым морякам и адмиралы прислушиваются. Самонадеянности море ох как не любит!

— Да я учиться и не отказываюсь, товарищ капитан третьего ранга,— сказал Решетников, удивленный резкостью, с которой Владыкин его отчитал.— И самонадеянности во мне никакой нет, наоборот...

Но тут он снова чихнул, что на этот раз оказалось вполне кстати: по крайней мере, он имел время сообразить, что говорить сейчас о потере им всякой надежды стать когда-либо настоящим командиром, пожалуй, не очень-то выгодно,— и повернул фразу на ходу:

— Наоборот, я очень ему благодарен за поддержку... Только боюсь, он так меня к помочам приучит, что я потом и шагу без него не сделаю.

— Ну, и грош вам цена,— спокойно сказал Владыкин.— По-моему, если у человека есть характер, он в лепешку расшибется, чтобы такую опеку поскорее с себя скинуть.

Решетников обрадовался, что разговор подходит именно к тому, что ему нужно, но Владыкин продолжал:

— Я, например, своего Родина чем с себя скинул? Как бы это сказать... стрельбой по площадям... Вот увижу, он стоит и, скажем, на механический лот смотрит, а у меня внутри уже все томится. Понимаю, что он, старый черт, у него в самых кишках что-то приметил и сейчас меня носом ткнет. Ну, с отчаяния возьмешь и прикажешь: «Товарищ главный старшина, надо лот разобрать, тросик смазать и барабан покрасить. Смотрите, в каком он виде!»... Так сказать, вроде стрельбы по площади: куда-ни-

будь да попадешь... И точно, он, оказывается, и собирался предложить именно тросик промазать, да уж поздно: инициатива-то за мной осталась, за штурманом!.. Вот так и привык к решительности. И подмечать все научился. Ходишь и думаешь: неужто он раньше меня что-нибудь заметит?.. Да чего вы все время чихаете? — вдруг посмотрел он на лейтенанта.— Ночью, что ли, простыли? Небось голым выскочили?

— Да нет,— сказал Решетников, закрыв лицо платком: признаваться в своем упрямстве с регланом, пожалуй, не стоило.

— Хватите на ночь сто грамм, да побольше, и горчицы в носки насыпьте, пройдет,— посоветовал Владыкин, на все имевший ответ.— Так вот... Будьте вы смелее, инициативнее. Над пустяками не раздумывайте, быстрее решайте. В мелочах ошибаться не бойтесь, убыток небольшой, а мелочи вас приучат и в крупных делах смелее решать... Да он вас и поправит, Хазов-то, поправит тактично, осторожно, в этом я вам ручаюсь. Оно и лучше, чтоб он вас поправлял, а не подсказывал. Понятно? А обижаться на него нечего: он для вас все то делает, что хороший коммунист должен делать для комсомольца и опытный моряк для такого... ну, скажем, молодого моряка, как вы. Чего же вам еще надо?

Решетников собрался сказать, что надо-то еще очень многое: самому почувствовать в себе ту смелость, решительность и самостоятельность, которые он в нем предполагает. Но это опять упиралось в ночные мысли, говорить о которых было нельзя, чтобы не погибнуть в его глазах окончательно. Однако, представив себе, что разговор сейчас кончится ничем и ему придется вернуться на катер, где ждет его Хазов и все связанные с ним неприятности, он поднял глаза.

— У меня есть предложение, товарищ капитан третьего ранга... Может быть, вы и согласитесь...

— Самостоятельное или тоже боцман подсказал? — весело улыбнулся Владыкин.

— Да нет... самостоятельное...— не в тон ему серьезно ответил Решетников и начал излагать свой план.

Но, по мере того как он говорил, вся убедительность и логичность ночного проекта исчезали вместе со сползающей с лица Владыкина улыбкой.

— Так,— сказал Владыкин, когда он закончил, и стал долго закуривать папиросу. Потом защелкнул зажигалку и внимательно посмотрел на Решетникова.— Значит, в кусты?

— Почему же в кусты? На любом другом катере...

— На другом катере вам механик будет жизнь заедать, на третьем — помощник. Так и будете катера менять, словно сапоги,— искать, который не жмет?.. М-да... Решение, и, видно, самостоятельное...

Лейтенант почувствовал, что краснеет, и с отчаянием подумал, что остается одно: признаться и просить вернуть его на крейсер.

— Ну ладно,— сказал вдруг Владыкин жестко.— Я вам карты открою, чтоб понятнее было.

Он посмотрел в сторону, как бы обдумывая, с чего начать, и Решетников насторожился.

— Меня что в вас заинтересовало: то, что я в вас любовь к катерам почувствовал. Помните, как вы мне о пятьсот девятнадцатом рассказывали? Я вам тогда сказал: хорошо, когда человек твердо знает, чего он хочет. А сейчас я этой твердости в вас не вижу. И, пожалуй, скоро так обернется, что мне будет все равно, есть на свете лейтенант Решетников или нет... Ну, это пока мимо... Так вот. Вы о катере мечтали и думали, что вам катер на блюде поднесут. Так, понятно, не бывает. Я о вас с контр-адмиралом поговорил — бой ваш на пятьсот девятнадцатом в вас кое-что показал... Дали вам время с катерами ознакомиться. Все-таки месяца четыре вы артиллеристом там были — значит, вопросы техники да и тактики катерной освоили, и, знаю, освоили неплохо... К тому времени этот случай у нас вышел... с Парамоновым...

Он замолчал, и Решетников почувствовал, какой потерей была для командира дивизиона гибель Парамонова. Потом Владыкин поднял голову и посмотрел лейтенанту прямо в глаза:

— Так вот. Я все это время о вас соображал и выбирал, какой катер вам дать. Ну, и дал парамоновский катер. Поняли вы, что это за катер?

— Понял,— тихо ответил Решетников.

— Знаю, что поняли. И за портрет вам спасибо...— Он невесело усмехнулся.— Вот вы говорите: учиться... Этим портретом вы меня многому научили. Я приказал

ввести на дивизионе в традицию: чтобы на каждом катере портреты погибших героев были. Память о них боевая...

Он опять помолчал.

— Так вот... А почему именно этот катер? Не только потому, что на нем вам легче в первый бой пойти — не гастролером, а настоящим командиром,— а потому еще, что на нем такой боцман, как Никита Петрович Хазов. Я вас в верные руки отдал, и в какие руки!.. А вы...

Он не договорил, заметив, что Решетников помрачнел и, видимо, принял упрек всем сердцем. Потом открыл ящик стола и вынул папку, на которой была наклейка «На доклад контр-адмиралу», сделанная, как и все владыкинское, с аккуратным и скромным щегольством.

— А Хазова из-за вас я в продвижении задержал. Это вам тоже нужно знать, коли разговор всерьез пошел. Читайте.

Решетников взял листок. Это был заготовленный приказ по базе о том, что за отличные боевые заслуги и проявленные знания старшина первой статьи Хазов Н. П. назначается помощником командира «СК 0944» с присвоением не в очередь звания мичмана. В заголовке приказа стоял прошлый месяц, но числа и подписи не было.

— Если бы Парамонов из боя вернулся, это было бы подписано, понятно? — сказал Владыкин, взяв обратно приказ.— Но когда он... когда с ним это случилось, речь зашла о вас, и я контр-адмиралу доложил, что приказ придется пока задержать. Одно дело — быть Хазову помощником у Парамонова, а совсем другое — у вас. Вы его ничему не научите и ничем на первых порах не поможете. Да и для вас лучше: боцманом он вам больше даст, чем помощником. Боцман — он король, а помощником — сам еще цыпленок. И для катера лучше, а то и помощник учиться будет, и командир, и новому боцману к команде привыкать. Этак у нас не боевой корабль получится, а неполная средняя школа... Ну, а дать ему только офицерское звание и оставить при вас боцманом — тоже не выходит. Не тот эффект получается: этот приказ должен был всем катерным боцманам перцу подбавить, ну, и гордости: вот, мол, как наши на мостик прыгают! И боцмана веселей бы служили. Понятно?

— Понятно,— взволнованно сказал Решетников.

То, что Владыкин на миг приоткрыл для него завесу, скрывающую неведомый ему еще мир, где решаются судьбы флотских людей, и он краем глаза увидел, что́ таится за маленьким листком приказа, сильно его поразило. Как-то по-новому увидел он и Владыкина, и контр-адмирала, и Хазова, и всю катерную дружную семью, и весь тот умный, рассчитанный ход флотской службы, где взвешивается все, и где каждому человеку есть своя особая цена, и где каждый человек судьбой своей неразрывно связан с судьбами других во имя боеспособности одного только катера.

Владыкин заметил, очевидно, его взволнованность и дал ему время подумать над тем, что пришлось узнать. Он не торопясь уложил приказ обратно в папку и только потом продолжал:

— Хорошо, если понятно. Я вам всю эту механику для того рассказал, чтобы вы одну важную вещь поняли. Вот уперлись вы в свои отношения с боцманом и делаете две ошибки, непростительные для командира. Из-за этого вашего самолюбия вы в боцмане живого человека не видите. А боцман для командира катера первейшим другом быть должен. Иначе катеру — ни плавать, ни воевать. А что вы о Никите Хазове знаете, кроме того, что он вам на нервы действует? Ничего вам в нем не интересно, вы собой заняты. А что у него на душе, почему он такой хмурый да необщительный, на это вам наплевать. Не хотите вы к нему путь искать. Первая ваша ошибка.

Он сунул папку в стол и щелкнул замком.

— Вторая. Боцман вам все на катере заслонил, всех людей. А как, спрашивается, вы будете командовать катером в бою, если не знаете, кто у вас — кто? Кто чем дышит, чем живет, как фашиста ненавидит? Кого вы можете на смерть послать, чтобы он жизнью своей катер спас, а за кем в бою присматривать надо? Кому надо душевным разговором помочь, а на кого рявкнуть? Да, наконец, просто: кому водку можно перед походом дать, а кому после?.. Знаете вы все это? Ничего вы не знаете, а на катере уже две недели. Если бы контр-адмирал и командир дивизиона так же, как вы, людьми интересовались, торчал бы Хазов безвылазно в боцманах, а вы на крейсере так и мечтали бы о катере. Вторая ваша ошибка.

Он встал и тотчас привычно одернул китель, который

и так сидел на нем без складочки. Решетников тоже встал: этот жест Владыкина означал возвращение к официальному разговору.

— Так вот, товарищ лейтенант,— сказал Владыкин сухо.— Вы остаетесь командиром «СК 0944», и старшина первой статьи Хазов остается боцманом там же. От вас зависит срок, когда он получит звание мичмана и станет помощником командира. На сорок четвертом или на другом катере — это тоже зависит от вас. Понятно?

— Понятно, товарищ капитан третьего ранга,— ответил Решетников.— Разрешите идти?

— Если действительно понятно, идите,— сказал Владыкин.

Не видя в глазах его ни улыбки, ни тепла, Решетников понял, что нынче с ним говорилось без всяких скидок на молодость и неопытность. Все в нем было растревожено и болело. Впервые в жизни он почувствовал, что с его поведением и поступками тесно связана чужая судьба, и непривычное это чувство никак не могло в нем уложиться и давило на сердце тяжелым грузом. Он как будто повзрослел за этот разговор.

— Разрешите вопрос, товарищ капитан третьего ранга? — сказал он, подняв опять глаза на Владыкина, и взволнованно спросил: — А Хазов... он об этом приказе знает?

— Знает вряд ли,— по-прежнему холодно ответил Владыкин.— А догадывается несомненно. Все к тому шло, он не маленький.

— Так как же мне с ним теперь, ведь это...— начал Решетников и вдруг опять глупо и смешно чихнул.

Владыкин не улыбнулся, но в глазах его проскочила искорка откровенного смеха, и Решетников понял, что не все еще потеряно.

— Вы в водку обязательно перцу подсыпьте, это лучше помогает,— сказал Владыкин.— Болеть вам теперь некогда. Понятно?

Но Решетников, не ответив на этот раз, что понятно, пошел к двери, понимая одно: что Хазов стал для него совсем другим человеком.

Глава седьмая

Разговор этот как бы встряхнул Решетникова. Вся его «ночная психология», как не без некоторого презрения расценивал он сейчас свои недавние переживания, казалась ему теперь мальчишеской и вздорной. На что потратил он драгоценное время? Целых две недели глубокомысленно решал вопрос, командир он или не командир, когда надо было просто становиться им. Он внутренне поклялся себе немедленно, сегодня же, начать вести себя как взрослый человек и прежде всего изменить свое подозрительное отношение к боцману, которое, вероятно, для того просто обидно.

Резкий ветер дул с моря холодно и ровно, и солнце светило не грея, но так сильно и ярко, что в воздухе стояла отчетливая прозрачность. Дорожка, ведущая в глубину бухты, где стоял «СК 0944», петляла среди низкорослых деревьев, еще лишенных зелени. Сквозь черное кружево сухих, голых ветвей странно белели гипсовые девушки с мячами и веслами — напоминание о том, что здесь когда-то был парк санатория. Домики его зияли теперь провалами вырванных рам или просто лежали на земле невысокими печальными грудами камней и досок. Но за черными ветками и разваленными стенами неотступно— то слева, то справа, то впереди, в зависимости от того, как поворачивала дорожка,— виднелось море. Море, от которого не уйти и к которому все равно придешь, как бы ни крутило тебя по жизни и как бы ни заслоняла его от тебя путаная сеть мыслей и сомнений...

Но хотя в воздухе была свежая, отрезвляющая прозрачность, мысли оттого не становились яснее. Наоборот, полная неизвестность, как же быть теперь с Хазовым, с катером и вообще с морем и флотом, беспокоила Решетникова.

И словно в ответ его мыслям дорожка, повернув, поднялась на горку, и такая живая синяя ширь ударила ему в глаза, что он невольно остановился.

Пестрея по склонам домиками, садами, дворцами санаториев, которые издали казались целыми и нарядными, горы круто сбегали к воде, окружая бухту с трех сторон и обрываясь двумя мысами. Море, гонимое с юго-запада ветром, вкатывало сюда крупные, в барашках валы. По-

пав из вольного простора в тесноту бухты, они вырастали, выгибая спины, накатывались на берега и расплескивались по ним длинными шипящими языками, раскачивая по дороге все, что попадалось навстречу. И все в бухте шевелилось, билось, прыгало...

На середине ее мерно покачивался на якоре большой транспорт. Ближе к берегу быстро кланялись мачтами три серо-голубых миноносца. Возле них вздымались на волну наката сторожевые катера, ставшие на якорь подальше от пирсов, где их могло бить друг о друга. У пристаней, колотясь бортами и наскакивая на соседей, беспокойно кишели стайками мелкой рыбешки мотоботы, шхуны, сейнера и те маленькие катерки, чьи прозвища — «каэмки» и «зисенки» — показывали их размеры. Неуклюжие гидросамолеты давно уже выбрались из воды и теперь, присев на песке, как большие нахохлившиеся птицы, терпеливо выжидали, когда прекратится этот сумасшедший накат и можно будет сползти на притихшую воду, чтобы, с шумом пробежав по ней, вдруг оторваться и взлететь, потеряв кажущуюся свою грузность.

Накат и в самом деле был сильный, и привычное уже чувство беспокойства за катер охватило Решетникова. Вспомнив вдобавок, что боцман с утра ушел на базу раздобывать какую-то особую краску, он почувствовал, что ноги сами понесли его по дорожке. Однако, сообразив, что катер, наверное, уже перетянули за баржу со снарядами (как, по счастью, догадался он приказать перед уходом в штаб), лейтенант успокоился и снова повернулся к бухте, привлеченный действиями того единственного в ней корабля, который сейчас не отстаивался на якоре.

Это был сторожевой катер — совершенно такой же, как «СК 0944». Он полным ходом носился между мысами, зарываясь в волне, порой совсем исчезая в поднятых им брызгах, и время от времени за кормой его вставал чернобелый пузырь взрыва глубинной бомбы. Вдруг новый высокий столб воды, огромный и широкий, вырос совсем рядом с катером. Секунду-две он стоял в воздухе неподвижным толстоствольным деревом, настолько могучим и крепким, что ветер, не в силах его согнуть, лишь пошевеливал дымную черную листву. Потом в уши ударил тяжелый, медленный и раскатистый грохот, и звук этот словно подрубил фантастическое дерево: оно тотчас дрогнуло,

черно-белая пышная листва начала быстро осыпаться, обнажая голый ствол вертикально стоящей воды. Затем и он рухнул и рассыпался, открыв за собой катер, и Решетников облегченно вздохнул. Катер развернулся на обратный курс и упрямо сбросил одну за другой еще три бомбы.

Это называлось боевым тралением. Оно заключалось в том, что взрыв глубинной бомбы должен был заставить мину сдетонировать и взорваться в стороне от катера, который уже успел убежать вперед.

Угадать заранее, где именно взорвется очередная мина — поодаль от катера или прямо под его днищем,— никто не мог. Это зависело столько же от умения командира и от быстроты хода, сколько и от случая. Однако такое занятие считалось на катерах пустяком, не стоящим внимания, надоедливой будничной работой, и ему не придавали значения.

Но в Решетникове, который ни разу еще не выходил на боевое траление, картина эта вызвала откровенную зависть и знакомое нетерпение. Ему уже хотелось скорее вывести катер из ремонта и начать боевую работу. Один такой пробег по воде, начиненной минами, сразу поставит всё на свои места и покажет, что же такое, в конце концов, лейтенант Решетников — командир корабля или существо в нашивках... Вот где по-настоящему командир проявляет себя!.. Именно в таком поединке со смертью, когда только его воля гонит катер на возможную гибель, когда малейшее колебание и неуверенность будут замечены всеми, когда позорная мысль...

Но тут он сморщился и звонко чихнул — и тотчас услышал за спиной знакомый голос:

— На здоровье, товарищ лейтенант...

Он обернулся. Его нагнал Хазов с большой банкой краски в руках.

— Спасибо,— сконфуженно сказал Решетников, внезапно сброшенный с облаков на землю.

Краска и боцман напомнили ему, что до «поединка со смертью», собственно, еще очень далеко и что покамест его ждут не подвиги, а обыкновенный командирский труд.

Некоторое время они стояли молча, Хазов — по всегдашней своей неразговорчивости, Решетников — не зная, что и как говорить после того, что услышал от Владыки-

на. Он искоса посматривал на красивое, как бы печальное лицо боцмана, испытывая неловкость и смущение, и вдруг ему пришло в голову, что выражение постоянной печали и задумчивости, поразившее его в лице Хазова с первой встречи, может иметь неожиданно простое объяснение: не вызывалось ли оно тем, что своим появлением на катере он, Решетников, надолго отодвинул от боцмана близкую, почти схваченную мечту — быть самому командиром катера?.. Смешанное чувство стыда, виноватости и запоздалого раскаяния шевельнулось в нем, и он повернулся к Хазову, чтобы тут же душевно сказать ему что-то хорошее, дружеское, с чего мог бы начаться серьезный разговор, но в носу его опять нестерпимо защекотало, и он чихнул — громко, раскатисто, самозабвенно.

— Простыли вы, товарищ лейтенант,— сказал Хазов.

Еще утром Решетников, конечно, увидел бы в этом очередной урок и насмешку: вот видишь, мол, чего ты своим упрямством добился... Но теперь он услышал в этом что-то совсем другое — живое, простое, человеческое — и неожиданно для самого себя ответил:

— Вот не послушался вас, Никита Петрович, теперь и чихаю как нанятый...

Все было ново в этом ответе: и признание своего упрямства, и самая интонация, свободная и дружеская, и то, что впервые назвал он боцмана Никитой Петровичем. И Хазов, очевидно, понял все это, потому что посмотрел на него так же открыто и дружески и — удивительная вещь! — улыбнулся. Засмеялся и Решетников, почувствовав, что какая-то стена между ним и боцманом рухнула и что жить теперь очень легко.

— Капитан третьего ранга советует на ночь сто грамм хватить,— так же свободно продолжал он, сам удивляясь тому, как просто, оказывается, разговаривать с боцманом.— Поможет, как вы думаете?.. И горчицы в носки...

— Должно помочь. Только лучше в бане попариться,— ответил боцман.

И они двинулись вместе к катеру.

Чувство радостного облегчения продолжало веселить Решетникова, и он шел, поглядывая сбоку на боцмана, осторожно несшего банку с краской, и удивленно спрашивал себя, что же изменилось в Хазове, из-за чего с ним сразу стало так легко и просто? И вдруг догадался,

что изменилось что-то не в боцмане, а в нем самом — в его собственном отношении к Хазову.

Странное дело, тот не вызывал в нем теперь обычной настороженности и болезненного ожидания укола самолюбия. Наоборот, боцман, казалось, с явным любопытством и сочувствием слушал веселый вздор, который он понес, придя в отличное настроение. Ему почему-то вздумалось рассказать, как зимой приятели взялись в момент вылечить его от гриппа способом, похожим на тот, что рекомендовал Владыкин, и как лечение закончилось тем, что «врачи» без задних ног остались на городской квартире, а пациент зачем-то поплелся на крейсер, но ночевал не в каюте, а у коменданта города... Рассказывая это, он весело, счастливо и жадно посматривал на небо, на море, на боцмана, на улицу городка, в который они вошли.

Все, что попадалось ему на глаза,— безобразно разваленные бомбежкой домики, воронки в мостовой, грузовик, чавкающий в грязи и рыдающий шестернями сцепления, пехотинцы, варившие что-то в котелке на костре, разложенном в подъезде обвалившегося дома, корабли, качающиеся в бухте, голые тополя, гнущиеся от ветра, который продувал все небо, холодное и синее,— все это казалось ему интересным, примечательным, по-новому занимало и останавливало взор. У ворот дома, уцелевшего более других, стоял часовой в необъятном овчинном тулупе с косматым воротником. Решетников с тем же счастливым любопытством посмотрел и на часового.

— Вот это постройка. Глядите-ка, товарищ Хазов! — рассмеялся он, точно в первый раз увидел постовой тулуп, но тут же замолчал.

Неожиданная мысль осенила его. Он остановился перед часовым и так внимательно начал его рассматривать, что тот засмущался и на всякий случай стал «смирно», опустив огромные рукава, в которых винтовка выглядела зубочисткой. Хазов выжидательно вскинул глаза на лейтенанта, но тот щелкнул языком и двинулся вперед, увлекая его за собой.

— А что, боцман,— сказал он хитро и задорно, снова необычно (без прибавления «товарищ») обращаясь к Хазову,— а что, боцман, если нам штуки три-четыре таких на катер раздобыть, а?.. Чем вам не индивидуальная ходовая рубка? И тепло, и сухо, и ветер не прошибет,



— А что, боцман, если нам три-четыре таких тулупа на катер раздобыть?

и в любой момент скинуть можно. Подумайте, рулевому в такой хате стоять — красота!

Боцман оглянулся, окинул взглядом часового и второй раз за этот примечательный день улыбнулся.

— Соседи на смех подымут. Тулуп-то больше катера.

— Ну и пусть смеются да мерзнут,— убежденно возразил Решетников и с прежним оживлением продолжал: — Значит, рулевому — раз, командиру — два, сигнальщику... нет, сигнальщику не годится, в таких рукавах бинокля не подымешь... Вам — три...

— Мне-то ни к чему, товарищ лейтенант, а вот комендорам вахтенным...— перебил Хазов, видимо начиная соглашаться.

— Правильно, и комендорам — два. Значит, пять штук,— категорически сказал Решетников и тут же с удовольствием подумал, что это не владыкинская «стрельба по площадям», а прямая наводка.— Завтра же вырвите на базе, не дадут — сам пойду. Да они дадут, весна на носу, куда им беречь...

Постовые тулупы и точно на другой же день появились на «СК 0944», немедленно навлекши на его команду прозвище «дворники», пущенное штатным острословом дивизиона, командиром катера «0854» лейтенантом Бабурчёнком. Отношения же Решетникова с боцманом резко изменились, как будто прогулка эта имела решающее значение.

Собственно говоря, боцман вел себя по-прежнему, но Решетников не чувствовал уже давления на свою волю, как и не видел более в боцманских советах желания унизить нового командира и доказать его непригодность к командованию катером, что мерещилось ему раньше. Поэтому, не боясь, он сам теперь встречал боцмана по утрам целым залпом приказаний. И каждый раз, когда по одобрению, мелькнувшему в глазах Хазова, понимал, что приказанием предупредил его совет, новая нужная мысль осеняла его, и смелости и решительности в нем все прибавлялось.

Он чувствовал себя теперь как человек, который долго боялся поплыть без пузырей и пояса и вдруг, отважившись попробовать, с удивлением обнаружил, что вода его держит и что вовсе не надо думать, какой рукой и ногой когда шевелить. Чувство это было настолько замечатель-

ным, что Решетников, и по натуре человек веселый и живой, стал еще веселее и общительнее, что сильно помогало ему ближе знакомиться с командой катера.

Этому способствовало еще и то, что катер из-за ремонта стоял вдали от дивизиона и того полуразрушенного санатория, где, отдыхая от тесноты и сырости катеров, катерники обычно жили между походами. Поэтому весь экипаж «СК 0944» жил на катере (для чего Быков приспособил отопление и даже расстарался светом от движка соседнего армейского штаба), и Решетников проводил с командой целые дни. Он появлялся в машине у мотористов, занимался с комендорами у орудий, с минерами у стеллажей глубинных бомб, засиживался в кубрике по вечерам. В этой совместной работе и в разговорах он незаметно для себя все ближе узнавал людей и, хотя попрежнему мечтал о первом походе, в душе был благодарен ремонту.

За это время он обнаружил, что те двадцать человек, которых до сих пор он объединял в смутном и безличном понятии «команда катера», все очень разные, все сами по себе, каждый со своим характером, привычками, взглядами, достоинствами и недостатками, и что у каждого из них до флотской службы была уж совсем не известная ему жизнь «на гражданке», определявшая их свойства. Оказалось еще, что знание сильных и слабых сторон каждого, а также и понимание их взаимоотношений, дружеских, неприязненных или безразличных, может значительно помочь в командовании катером.

Конечно, это была не очень-то свежая мысль. И, наткнувшись на нее в своих ночных размышлениях, Решетников справедливо подумал, что хвастаться этим очередным «открытием Америки» ни перед кем не стоит и лучше оставить его для личного употребления. Но старая истина, до которой он дошел своим умом, увлекла его своей непреложностью, и он стал пользоваться всяким случаем, чтобы разгадать внутреннюю сущность каждого из своих моряков.

Здесь его ожидали удивительные неожиданности. Так, например, выяснилось, что рулевой Артюшин, балагур и весельчак, разбитной и несколько нагловатый красавец, которому катерная молва приписывала неисчислимое количество жертв среди женского населения базы, на самом

деле отпрашивался каждый вечер на берег вовсе не для посещения очередной дамы сердца, в качестве которой все называли некую санитарку. Он действительно проводил отпускные часы в госпитале, но не у санитарки, а у радиста Сизова (раненного в том же бою, в котором был убит Парамонов), таскал ему скудные лакомства, какие можно было раздобыть в разоренном войной городке, и отчаянно ссорился с дежурными врачами и санитарами, которые, по его мнению, не обеспечивали Сизову должного комфорта и лечения.

Об этом Решетников узнал при своем посещении госпиталя, когда он пошел туда познакомиться с Сизовым и кстати поговорить с врачами — ожидать ли его поправки или требовать в штабе другого радиста. После, в разговоре с Артюшиным о Сизове, лейтенант выяснил еще одну важную подробность: в свое время, при уходе из Севастополя, Артюшина сбросила за борт взрывная волна, и он мог бы вовсе пропасть (ибо контузия, по его словам, «отшибла всякое политико-моральное состояние» и он плавал, «как бессознательное бревно»), если бы не Сизов, который кинулся за ним в воду, поймал его и держал на себе, пока катер не изловчился их подобрать.

— Значит, с тех пор и подружились? — спросил Решетников, которому психологическая ситуация показалась вполне ясной.

Артюшин посмотрел на него с ироническим удивлением.

— А с чего ж он тогда за мной спикировал? Мы давно с ним дружки, с само́й Одессы.

Решетников смутился.

— Да, паренек действительно ничего,— сказал он, чтобы что-нибудь сказать.— Сколько ему лет-то?

— Шестнадцать. Морячок хороший. Тихоня только.

— Какой же тихоня, если за вами кинулся?

— Это он со страху.

— Непонятно,— сказал Решетников.

— За меня испугался. А для себя он ничего не сделает, больно тихий. До того тихий, аж злость берет. За ним не присмотришь — вовсе пропадет... Да вот, возьмите, товарищ лейтенант: вчера прихожу, а ему всё этого не достали... как его... сульфидину. Главный врач уже когда приказал, а они чикаются.

Решетников самолюбиво вспыхнул: как и при первом знакомстве, в словах Артюшина ему снова почудился прямой упрек — какой же, мол, ты командир, если не знаешь, что твоему моряку нужно?..

— Я спрашивал, не надо ли чего, а он не говорит.

— Он скажет!..— зло фыркнул Артюшин.— Я на его месте дал бы жизни, все утки в палате взлетели бы, а он лежит да молчит... Гавкнули бы там на кого, товарищ лейтенант, этак его два года на катер не дождешься...

— Я разберусь,— сказал Решетников.— Завтра там буду.

Артюшин помолчал и потом, глядя в сторону, спросил совсем другим тоном:

— Боцман говорил, замену ему в штабе хотите просить?

— Не знаю еще. Как с поправкой пойдет.

Артюшин поднял на него глаза:

— Дождаться б лучше... Радист больно боевой, без него катеру трудно будет,— сказал он, убедительно глядя на лейтенанта, но по взгляду его Решетников понял, что трудно будет не катеру без такого радиста, а самому Артюшину без друга.

Он усмехнулся:

— Ну вот... А говорили — тихий.

— Так он для себя тихий,— оживился Артюшин,— а для немца гроза морей и народный мститель, ей-богу! Старший лейтенант Парамонов два раза его представлял — за Керчь да за Соленое озеро, а он все с медалькой ходит, я уж смотреть не могу, перед людьми стыдно... Да ему за один последний бой орден полагается — поспрошайте ребят, как он ползком снаряды подавал, когда ему ноги посекло... У него к фашистам особый счет...

И он рассказал одну из тех тысяч юношеских трагедий, на которые так щедра оказалась война.

В сентябре 1941 года «СК 0944» конвоировал пароход, увозивший из Одессы раненых и эвакуируемые семьи. На рассвете «юнкерсы» — три девятки против трех катеров — утопили пароход и потом прошлись над морем, расстреливая из пулеметов тех, кто ухватился за обломки. Катера подобрали уцелевших. Среди них «СК 0944» нашел паренька — одной рукой он держался

за пустой ящик, а другой поднимал над водой голову девочки лет десяти, стараясь дать ей дышать и не замечая, что она убита. До самой Ак-Мечети он так и просидел на корме молча у маленького мокрого тельца, а когда подошли к пристани, выскочил и побежал к двум другим катерам. Те выгрузили спасенных и ушли в Севастополь, а «СК 0944» остался чинить повреждения, и утром Артюшин снова заметил паренька: он сидел на пристани и молча глядел в воду. К обеду, увидев его на том же месте и в той же недвижной позе, Артюшин пошел к нему, чтобы затащить его на катер поесть. И тут выяснилось, что паренька зовут Юра Сизов, что убитая девочка была его сестрой, что на катерах он не нашел среди спасенных ни матери, ни отца (его везли в Севастополь с оторванной при бомбежке завода ногой) и что теперь ему, Юрке, остается одно: прыгнуть в воду, откуда он не сумел вытащить никого из родных.

Внезапная пустота, которая разверзлась в мире перед Юрой, потрясла и Артюшина, а неподвижный взгляд, каким подросток уставился в воду, рассказывая все это, не на шутку его испугал. Он уговорил командира катера не бросать паренька в Ак-Мечети, а взять с собой в Севастополь и куда-нибудь пристроить. Ремонт затянулся на четыре дня, и за это время Артюшин, который, «сам не зная с чего», привязался к Юрке, узнал, что тот — радист-любитель, коротковолновик с дипломом. Артюшин снова пошел к командиру, и все обошлось как нельзя лучше: Сизова оставили на катере добровольцем, а весной он стал штатным радистом и вполне себя оправдал и как моряк и как техник...

Артюшин говорил о Сизове так тепло и душевно, что Решетников подивился, откуда в этом насмешнике и зубоскале, попасть кому на язык опасались все на катере, взялось такое глубокое, почти отцовское чувство. Слушая его, Решетников особенно остро ощутил свое одиночество — вот не дает же ему судьба иметь в жизни такого друга, который и жалел бы его и думал бы о нем... Он настроился было посочувствовать самому себе, но с удивлением заметил, что думает совсем о другом: о том, что просить о замене радиста будет вовсе неправильно. Во-первых, неизвестно, кого еще дадут, а Сизов, видимо, парень стоящий, во-вторых, и на Артюшине разлука, не-

сомненно, отразится, и тот потеряет свой веселый характер (который он, Решетников, в нем ценил, рассматривая артюшинские шутки как необходимые «психологические витамины»), и все это, вместе взятое, помешает катеру в бою.

Придя к такому выводу, Решетников поздравил себя с тем, что начинает наконец думать как командир: ход мыслей у него получился совершенно владыкинский. Обрадовавшись этому, он немедленно начал действовать. Сульфидин ему удалось раздобыть в армейском госпитале, наградные листы, залежавшиеся в штабе, произвели свое действие, и Владыкин лично вручил Сизову орден Красной Звезды. Об Артюшине же думать не приходилось: тот сиял как медный грош, работа в его руках кипела, и «психологические витамины» выдавались без карточек, поднимая настроение команды в трудном деле ремонта.

Как обычно бывает, успех подстегнул Решетникова, и он, что называется, «с ходу» выправил и свои отношения с главстаршиной Быковым, которые неожиданно разладились на пятый или шестой день его командования катером. Вначале они были хороши: механик нахвалиться не мог новым командиром, ибо тот с места горячо взялся за ликвидацию окаянной «трясучки», из-за которой «СК 0944» на дивизионе называли «маслобойкой» или «трясогузкой» с легкой руки лейтенанта Бабурчёнка. Решетников собирался уже доложить командиру дивизиона о необходимости поднять катер на эллинг, но, узнав, что для этого надо идти в Поти, наотрез отказался говорить о «трясучке» с Владыкиным. Быков нахмурился, и отношения его с новым командиром заметно окислились.

Это обстоятельство, правда, беспокоило Решетникова не так, как начавшие тревожить его в ту пору непонятные взаимоотношения с боцманом Хазовым, но все же мысль о том, что механик смотрит на своего командира косо, была ему неприятна. Поэтому лейтенант прилагал все силы, чтобы помочь катеру в другой его беде — в замене компрессора, необходимого при заводке моторов.

Дело это было нелегкое. Компрессор на северной базе катеров считался едва ли не самым дефицитным механизмом, а кроме «СК 0944» он пришел в негодность

еще на трех катерах. При каждом посещении штаба Рещетников обязательно заходил к дивизионному механику (которого командиры катеров почему-то называли между собой не по должности или по фамилии, а просто Федотычем). Но тот только молча отмахивался от него, как от мухи. Да Решетников и сам понимал всю ничтожность своих шансов на получение компрессора: конкурентами его были известные всем командиры заслуженных боевых катеров, а один из них вдобавок — лейтенант Бабурчёнок, который славился на дивизионе не только как признанный острослов, но и как безотказный «доставала» всяких дефицитных материалов.

Доставал их, собственно, его механик, мичман Петляев. До призыва из запаса он работал заведующим отделом снабжения крупной механической мастерской и навыки свои перенес на катерную службу: у него и здесь завелись всюду знакомства, он в точности знал, куда и когда прибывает какое-либо сокровище по механической части, а также от кого именно зависит получение его для катера. И тогда в дело вступал уже Бабурчёнок, добивавшийся необходимой резолюции. Сообразно разведывательным данным Петляева, лейтенант, попадая в Поти, появлялся в очередном кабинете — директора завода, флагманского механика Управления тыла или какого-нибудь начальника склада — и получал необходимую резолюцию, влияя на их психику либо природной своей веселостью и удивительным, ему одному присущим обаянием, либо прибегая к некоему безотказному приему.

Он заключался в том, что, обычно жизнерадостный и шумный, Бабурчёнок входил в кабинет как в воду опущенный и начинал вздыхать и горько жаловаться на то, что из-за отсутствия на базе дивизиона каких-нибудь паршивых прокладок или несчастного карбюратора боевой, заслуженный катер не может выйти на важное задание (в разговоре с людьми, далекими от оперативной жизни флота, Бабурчёнок тут таинственно намекал на особое значение этого похода, от которого зависят события ближайших месяцев войны). При этом его круглое, живое лицо с тугими, похожими на румяные яблоки, щечками, между которыми торчал смешной востренький носик, непостижимо приобретало такое унылое, даже

трагическое выражение, что обычные жестокие слова отказа самый бездушный страж дефицитных богатств произносил с трудом и даже почему-то оправдывался. Слушая его неловкие объяснения, Бабурчёнок сочувственно кивал головой и время от времени повторял убитым тоном одно и то же:

— Вот ведь беда какая, а нам нужно... Как же быть?

Видимо, в нехитрой этой формуле была заключена какая-то гипнотическая сила, потому что, услышав в пятый или в седьмой раз такое заклинание и чувствуя на себе взгляд этих чистых и ясных глаз, устремленных на него с печальной надеждой и почти детской верой в чудо, любой охранитель механического добра ловил себя на том, что рука его тянется к перу, перо — к бумаге и что на заявке, каким-то образом очутившейся на столе, перо это само, как бы помимо его воли, выводит разрешительную надпись: «Отпустить»...

Примечательно было то, что лейтенант Бабурчёнок и сам толком не знал, зачем ему, собственно, все эти разнообразные дефицитные богатства, и добывал их из какого-то спортивного азарта. Зато пользу этого хорошо понимал мичман Петляев: обменивая у механиков других катеров, в зависимости от спроса, клингерит на сверла, баббит на карбюраторы, асбест на какие-нибудь торцовые ключи, он постепенно создал свой золотой фонд материалов и инструментов, благодаря чему мог считать себя независимым от случайностей снабжения. И, узнав (как всегда, первым), что из Поти прислали один-единственный на весь дивизион компрессор, Петляев тотчас подсказал своему командиру, что тому следует сделать, чтобы заполучить компрессор для катера.

До «СК 0944», стоявшего в ремонте вдали от штаба, эта новость дошла много позже. Еще неделю назад Решетников покорно примирился бы с мыслью, что компрессор все равно ухватит Бабурчёнок, следующие дадут Усову и Сомову и уж только тогда вспомнят об «СК 0944» с его никому не известным командиром. Но в том новом для него состоянии уверенности в себе и в своей удачливости, которое стало для него уже привычным, Решетников помчался в штаб. В крохотной комнатушке Андрея Федотыча он застал всех троих конкурентов, каждый из которых действовал своим способом.

Аккуратный и выдержанный старший лейтенант Сомов пытался получить компрессор в полном согласии с установленным служебным порядком. Главным и единственным его оружием были акты об окончательной непригодности компрессора, подписанные самим же Андреем Федотычем.

Другой претендент, лейтенант Усов, рассудительный и тихий юноша с двумя орденами, избрал обходный маневр: он великодушно предложил снять свой катер с повестки дня, что заставило Андрея Федотыча вскинуть на него глаза. Тогда Усов так же негромко и спокойно пояснил, что компрессор у него не так уж плох и в умелых руках может работать как часы и если Андрей Федотыч пообещает присматривать за ним сам при возвращениях катера в базу, то нового и не потребуется (говоря это, Усов отлично знал, что Федотыч уже трижды копался в его компрессоре и, выбившись из сил, обозвал его «дырявым примусом»).

Бабурчёнок же выдвинул совсем новое предложение. По его мнению, решить, кому нужнее всего этот окаянный компрессор, без катерных механиков невозможно. Надо собраться с ними на какую-нибудь конференцию круглого стола и договориться по-хорошему — в конце концов, им виднее, ведь командиры катеров говорят с их слов. И тут же, забавно морща носик, добавил, что так как утром на контрольном тралении у него на катере наглушили мировую рыбу, то эту конференцию он предлагает устроить нынче же вечером, для чего приглашает обоих конкурентов и их механиков, а также Федотыча «на классную уху под юбилейным соусом», намекая на коньяк, снова присланный женой из Тбилиси.

Эта конференция была подсказана ему Петляевым, который уже договорился с обоими механиками (решетниковский катер он в расчет не принимал по причине отсутствия на нем серьезного командира). Смысл пакта заключался в том, что Петляев предоставляет им из своего золотого фонда множество мелких, но позарез нужных обоим приборов, инструментов и материалов. За это те обязуются не только не драться за компрессор, но, наоборот, убедить своих командиров, что можно пока походить и со старыми, а присланный уступить Бабурчёнку, которому без него просто труба.

Однако ни документация Сомова, ни тихая подначка Усова, ни дипломатия Бабурчёнка никак не срабатывали. Федотыч, соображая что-то свое, молча копался в потрепанной записной книжечке, где у него значились бедствия и претензии всех катеров, и, не дослушав Бабурчёнка, рассеянно махнул рукой на всех троих:

— Не скулите в служебном помещении. Думать мешаете. Тут по справедливости надо. Дам, кому всего нужнее.

— Тогда, значит, мне,— в каком-то внезапном вдохновении сказал Решетников из-за спин своих конкурентов, и все трое возмущенно обернулись.

Федотыч, прищурясь, устало на него посмотрел:

— А в честь чего же именно вам?

— Очень просто,— уверенно ответил Решетников.— Вот вы послушайте, товарищ капитан-лейтенант, и сами согласитесь.

— Попробуйте,— сказал Федотыч, не без любопытства рассматривая Решетникова.

— Ну вот, скажем, старший лейтенант Сомов: он ведь последние ресурсы добивает, все равно скоро поставите его на переборку моторов. Зачем же ему сейчас новый компрессор, так ведь?

— Допустим, так,— кивнул головой Федотыч.

— А лейтенанту Усову на днях «катюшу» будут устанавливать, все уж ему завидуют,— значит, тоже на приколе будет пока. Привезут из Поти еще компрессор, ему и дадите, а этот мне: я скоро из ремонта выхожу, мне плавать, а не стоять...

— Здрасте, Настя! — вскипел Бабурчёнок.— Что же, на всем дивизионе одна ваша маслобойка в строю? А я, например, не плаваю, что ли?

Решетников, благоразумно пропустив мимо ушей «маслобойку», миролюбиво повернулся к нему:

— Плаваете, Сергей Матвеевич, да еще как плаваете, сами того не знаете! С контр-адмиралом нынче ночью идете, вас оперативный уже ищет...

— Неужто в Поти? — оживился Бабурчёнок.

— Сам слышал,— подтвердил Решетников и с непонятной самому себе отвагой добавил: — Вот вы хвастаетесь, что все умеете достать. Неужели компрессора там себе не достанете?

Он ожидал какого-нибудь ядовитого ответа, но, к удивлению его и всех остальных, Бабурчёнок вроде даже обрадовался и весело подхватил:

— Факт, достану, и даже в целлофане с бантиками! Все ясно, более того: ясно и понятно. Товарищ капитан-лейтенант, отдайте компрессор юноше — неплохо товарищ соображает. А себе я уж как-нибудь раздобуду...

Федотыч помолчал и, пометив что-то у себя в книжке, поднял глаза сперва на Решетникова, потом на Бабурчёнка:

— Добро. Присылайте Быкова, завтра и начнем менять. А вы через час зайдите, бумажку флагмеху возьмете.

— Да мне не надо, я и так достану,— самонадеянно сказал Бабурчёнок.

— Нет, возьмете,— настойчиво повторил капитан-лейтенант,— для всех троих будете доставать. Хоть раз для общества постарайтесь, не всегда же для своего хутора... У меня все. Не мешайте работать.

И Федотыч опять уткнулся в свою «колдовку», где значились ранения, контузии, увечья и болезни, приобретенные катерами в боях и в походах,— никому не видный и мало кем знаемый боевой послужной список маленьких героических корабликов, второй год ведущих большую и тяжелую войну.

Каким-то образом — может быть, благодаря Федотычу, которому Решетников на этот раз понравился,— о находчивости и энергии нового командира «СК 0944», сумевшего отнять компрессор у самого Бабурчёнка, стало известно на дивизионе. Дошел этот случай, конечно, и до Быкова, и тот по-своему оценил его, увидев в поступке Решетникова самое драгоценное, по его убеждению, командирское свойство: заботу о машине корабля. За долгую службу Быков повидал и таких командиров, которые считали, что их дело — играть на мостике рукоятками машинного телеграфа, а как ответит машинное отделение — это уж дело механика, с которого нужно только построже спрашивать. Новый командир опять приобрел его расположение, а о случае с ремонтом вала Быков великодушно забыл, тем более что, по совести говоря, с «трясучкой» можно было и плавать и воевать,

а с ненадежным компрессором нельзя было ожидать безотказной заводки мотора, что, понятно, было важнее.

И это свое расположение Быков выразил в удивительной форме. Дня через три Решетников ушел на весь день в море на катере Сомова (Владыкин все чаще стал посылать его на других катерах — «для освоения ремесла»). Вернувшись к ночи и ложась в свою узенькую и короткую койку, он с удивлением почувствовал, что ноги его не упираются, как обычно, в переборку, а свободно вытягиваются в каком-то невесть откуда взявшемся пространстве. Лейтенант включил свет и рассмеялся: часть переборки была вырезана, и к отверстию был приварен аккуратный, даже покрашенный железный ящичек, для которого, видимо, пришлось занять в кают-компании низ левого посудного шкафчика (что утром и подтвердилось). Он снова лег, впервые за все это время с наслаждением протянув усталые ноги, и заснул вполне счастливым, успев только с гордостью подумать о том, что, кажется, и впрямь сжился со своим экипажем и что с каждым днем ему на катере все интереснее и легче.

Глава восьмая

В детстве человек обладает удивительной способностью одухотворять окружающие предметы и явления, видеть в вещах живые, лишь не умеющие говорить существа и воображать в них свойства почти человеческие. С годами эта способность обычно теряется: жизнь заставляет трудиться, бороться, иные, серьезные заботы занимают ум, сердце черствеет, воображение вянет — человек разучается творить из порядком надоевших ему за долгие годы предметов и явлений особый мир, чудесный, волнующий, отдохновительный. И только в состоянии высокого напряжения всего существа, в моменты большого подъема — будь то любовь, вдохновенный труд, какое-то громадное горе или такая же огромная радость — человек вновь обретает забытую способность преображать мир. И мир снова, как в детстве, разделяет его чувства — все смеется, торжествует или рыдает вместе с ним и говорит о его любви, замысле, горе, победе.

Но спадает подъем, проходит любовь, закончен труд, утихает горе — и мир снова тускнеет. Краски его гаснут, мечта отлетает, предметы теряют свой голос, и чудесные их шепоты более не слышны: платок становится простым куском материи, чертеж — листом бумаги, орден — привычным отличием, знаком заслуг. И порой, глянув на них, затоскует человек о том прекрасном, совершенном, волнующем, что было в нем самом тогда, когда целовал он этот платок, спорил с чертежом и видел капли горячей своей крови в эмали ордена. Хотел бы он оживить вновь эти предметы, придать им прошлую силу рождения чувств, но сердце уже закрыто, и лишь воспоминание кольнет его тонким и острым своим жалом.

Алексей Решетников был как раз в том приподнятом состоянии нравственного подъема, когда восприятия обостряются, углубляются чувства, ум становится гибким и быстрым, что объясняется высоким напряжением всех духовных и умственных сил человека, и когда жизнь, работа, люди, природа — все кажется ему в особом, одухотворяющем свете. Обычно такое состояние и рождается успехом и само рождает новый. Так было и с Решетниковым: словно пелена какая-то спала с его глаз, будто путы свалились с рук,— он увидел ясно, что́ ему надо делать, и всё, даже мелочи, делал удачливо, верно, как бы вдохновенно. Он сам не смог бы сказать, когда это началось. Видимо, один успех дополнялся другим, тот — третьим, подобно тому как первые гребки разгоняют тяжелый баркас, пока он не наберет ход и не приобретет того запаса движения, при котором гребцам остается лишь подгонять легкими ударами весел грузный его ход, разрезающий воду.

В этом счастливом состоянии Решетников сумел взять в руки свой первый в жизни корабль значительно скорее, чем мечтал об этом сам. Решающим обстоятельством было, несомненно, то, что с тех пор, как отношение его к Хазову после разговора с Владыкиным резко изменилось, он неустанно и действенно искал в отношениях с остальными подчиненными верного и точного своего места. Так ему удалось это сперва с Артюшиным, потом с Быковым, так продолжал он узнавать, определять остальных — и скоро небольшое его войско начало для него проясняться.

Он не мог еще, конечно, сказать с уверенностью, ко-

го, по выражению Владыкина, можно на смерть послать, а за кем в бою присматривать надо, но многое уже знал из своих постоянных встреч с людьми на занятиях, на ремонте и на отдыхе, из шутливых или серьезных бесед на пирсе в вечерние часы, когда бухта сумеречно темнела, но до очередного визита самолетов было еще далеко. Все это нужно было как-то свести в систему, подытожить, запомнить. Так возникла у Решетникова мысль завести записную книжку вроде той, которую он часто видел в руках Владыкина и в которую тот при разговоре порой вписывал что-то своим мелким, но очень четким почерком.

Эту книжку лейтенант Бабурчёнок по аналогии с известными «Мореходными таблицами», предусматривающими все случаи штурманской жизни, называл «психологическими таблицами». Он утверждал, что по ним Владыкин мог определить, кто с кем поругается завтра из-за приемки горючего, кто когда может рассчитывать на орден, а кто — на штрафной батальон, и кому какой сон приснится в будущую среду,— до того, мол, подробно и точно составлены там характеристики всех офицеров дивизиона, беспрерывно дополняемые.

Впрочем, что именно помечал там командир дивизиона, никому не было известно, в том числе и Решетникову, и, подумав, он решил сделать свою книжку вроде той, о которой читал, кажется, в биографии Золя, куда знаменитый романист записывал о своих героях решительно все, начиная с цвета волос. Каждому из своих подчиненных Решетников отвел по равному числу страничек и для начала два вечера подряд добросовестно заносил туда их анкетные данные, места по боевому расписанию и прохождение службы.

При этом занятии выяснилось, что на катере все, за исключением лишь Сизова и Жадана, были старше своего командира. Хазову оказалось на десять лет больше, Быкову — на восемь, а «годок» лейтенанту нашелся только один: командир отделения минеров, старшина второй статьи Антон Чайка, с которым Решетников действительно чувствовал себя свободнее, может быть, потому, что Чайка был секретарем комсомольской организации дивизиона и с ним еще в первые дни Решетников заговорил по душам. Именно Чайка раздобыл по его просьбе

маленькую фотографию Парамонова, с которой и был увеличен портрет, висящий в восьмиместном кубрике. Обнаружилось еще одно не очень приятное для Решетникова обстоятельство: не говоря об остальных, даже Микола Жадан был в своем первом бою уже тогда, когда новый командир катера еще сдавал государственные экзамены при окончании училища...

На третий вечер дело дошло до главного: теперь можно было коротко и точно записать под фамилией каждого, что же представляет собой ее владелец как советский человек и как военный моряк. И тут Решетников понял, что никакой он не Владыкин и даже не Золя.

Начал он с лейтенанта Михеева, который по должности помощника командира катера открывал собой книжку. Решетников жил с ним бок о бок, все время наблюдал его и в повседневной службе, и на ремонте, и в отношениях с командой, но ничего не мог придумать, что о нем написать. Все в Михееве было в меру правильно, спокойно, как говорится, нормально, ни плохого, ни хорошего. Судя по рассказам матросов, в бою, где погиб Парамонов, держался он неплохо. Но был какой-то «обтекаемый» — не привлекающий к себе ни внимания, ни участия и в то же время не отталкивающий от себя. Бывают же такие люди, о которых решительно нечего сказать...

Решетников вздохнул и перешел к Быкову, фигура которого с недавнего времени стала для него совсем ясной. Он уверенно начал писать: «Патриот машины. Угрюм, но отзывчив. Скромен, неразговорчив...» — и вдруг вся эта затея показалась ему вовсе не нужной.

Лейтенант в сердцах захлопнул книжку. Вероятно, Владыкин записывал как-то иначе (он дорого бы дал, чтобы взглянуть, что там говорилось о нем самом),— а тут получалась какая-то унылая казенщина, вроде классного сочинения на тему «Характерные черты героев романа «Обрыв». Да и к чему, собственно, эти записи? Не знает он, что ли, своих людей? Неужели надо записывать, что при первой возможности следует списать с катера моториста Лужского, проныру и шептуна, который никак не может примириться с тем, что он, в прошлом шофер какого-то ответственного трестовского замзава, прозябает на катере в должности рядового моториста и

поэтому подкапывается под старшину Ларионова и капает на Быкова? Или то, что Петросяна, заряжающего кормового орудия, при ночной стрельбе надо ставить к прицелу, потому что он горец-пастух и ночью видит лучше штатного наводчика Капустина?.. Нет, книжкой можно только засушить то живое и ясное, что пробуждается в памяти при каждом имени... Ну ее, эту литературу!..

Рассуждая так, он разделся и лег в койку, с удовольствием чувствуя, что ноги никуда не упираются даже кончиками пальцев, и уже совсем собрался заснуть, как вдруг его осенила неожиданная мысль. Он зажег свет и на странице книжки, отведенной Быкову, неторопливо и аккуратно написал одно только слово: ногохранилище.

Этим словом лейтенант Бабурчёнок, который после случая с компрессором почувствовал к Решетникову внезапное расположение, перешел с ним на «ты» и стал захаживать на «СК 0944», окрестил быковское изобретение. Конечно, нельзя было короче и выразительнее записать всю историю взаимоотношений механика катера с новым его командиром и одновременно объяснить, что́ за человек этот «угрюмый, но отзывчивый» Быков. Решетников поздравил себя с очередным открытием: вот так и надо вести эту книжку — записывать в ней не «характеристики» людей, а их поступки, которые именно и характеризуют их!.. И тут же написал на странице Артюшина: сульфидин. Так же быстро нашлась запись и для Жадана: магнит. Впрочем, подумав, Решетников написал то же слово и на страничке Антона Чайки. Это было справедливо: именно Чайка пришел на помощь Жадану, когда тот ошалело смотрел в воду у пирса, куда только что в спешке вывернул бачок, в котором были им же самим положенные вилки, ложки и ножи со всего катера. Свидетели этого несчастья покатывались со смеху, глядя на его растерянное лицо, а Жадан чуть не плакал, ненавидя себя за растяпистость и ужасаясь, как же будет он сейчас кормить матросов ужином. И, когда Чайка, полностью оценив положение, не поленился притащить из мастерских намагниченную болванку и начал удить ею погибшую было утварь, Жадан ожил — и с тех пор готов был за Чайку в огонь и в воду.

Так начала заполняться решетниковская «колдовка»,

которую он носил всегда при себе. То и дело в ней появлялись записи — короткие и никому не понятные, но для него означавшие события, поступки людей, их свойства. И только странички, отведенные боцману Хазову, оставались пустыми.

С каждым днем боцман становился Решетникову все ближе остальных. Лейтенант настоял на том, чтобы он обедал и ужинал в кают-компании вместе с остальным командным составом, утверждая, что боцман, какое бы звание ни имел, по существу является вторым помощником командира, и, подчеркивая это, называл его вне службы Никитой Петровичем. Вечерами он часто уводил его к себе в каюту или тащил прогуляться перед сном по стенке — и там они разговаривали на самые разнообразные темы.

Обычно говорил Решетников, а Хазов больше молчал. Но молчал он как-то особенно: в самом молчании его чувствовался несомненный интерес, а в коротких репликах было явное понимание, и порой они наводили Решетникова на новые мысли. Ничего другого для него пока не требовалось: он был из того сорта людей, которым необходимо думать вслух и мысль которых в молчании сбивается или вянет. Наоборот, в разговоре она в нем играла, он делал тогда счастливые для себя находки и лучше их запоминал, а то, что собеседник молчал, его даже устраивало.

Конечно, Решетников мог записать на боцманских страничках уже много выразительных слов, которыми, как вехами, отметился бы его далеко не прямой путь сближения с Хазовым. Но оттого ли, что из них трудно было отобрать наиглавнейшее, самое определяющее, или из какой-то почти суеверной боязни испортить едва начинающие крепнуть отношения, которые были для него так дороги и которые он не смел еще называть дружескими,— он не решался начать. Ему казалось, что если найденным им способом можно обозначить отношение к любому человеку, то к Никите Петровичу, к его поступкам или суждениям ярлычка никак не прилепишь, и что это так же невозможно, как записать словами музыку.

Но, впрочем, он все-таки сделал первую запись, хотя событие, отмеченное ею, само собой врезалось в память как некое открытие.

Произошло оно после одного значительного разговора с лейтенантом Бабурчёнком. Тот нравился Решетникову все больше. Ему начинало даже казаться, что Сережа Бабурчёнок в какой-то степени может заменить ему Ваську Глухова, который теперь воевал на Балтике. Решетникову явно недоставало именно такого дружка-сверстника, с которым можно было и пооткровенничать, и посмеяться, и посоветоваться о разных пустяках, но от которого не к чему требовать того, что связано с большим и значительным понятием «друг». А именно такие беспечные, приятельские отношения у них сами собой и налаживались.

Однажды, возвращаясь с командирских занятий (Владыкин собирал на них всех, кто не был в море, и строго за этим следил), Решетников припомнил почему-то разговор у Федотыча и поинтересовался, как же это Бабурчёнок так легко, без боя, уступил тогда такую драгоценность. Тот, посмеиваясь, признался, что новый компрессор, который он сумел в свое время раздобыть, давно уже ждал его в Поти, но катер все не мог туда попасть, а когда Решетников сообщил о походе с контр-адмиралом, обстановка изменилась.

— Повезло тебе, Сергеич,— заключил он, подчеркивая этим обращением свое особое расположение к Решетникову,— прямо сказать, повезло... Кабы не это, не видать тебе компрессора как своих ушей,— такую хитрую механику мой механик тогда подстроил...

Однако этой хитрой механики Решетникову он не раскрыл, умолчав и о пакте Петляева, и о дипломатической ухе, за которой пакт должен был оказать свое рассчитанное действие. По правде говоря, рассказывать об этом Решетникову ему совсем не хотелось: было в петляевском замысле что-то циничное, отталкивающее, нечестное по отношению к товарищам, таким же командирам катеров; и еще тогда, у Федотыча, лейтенант Бабурчёнок раскаивался, что послушался Петляева и заварил эту паршивую уху. Потому так и обрадовала его новость о походе в Поти, развязавшая ему руки, и потому же, вероятно, он чувствовал невольную благодарность к Решетникову, который, сам того не зная, помог ему выпутаться из неприятного положения.

И тут же, как бы в отплату, Бабурчёнок великодушно

предложил Решетникову любую помощь в ремонте материалами и деталями.

— Твой этот Быков какой-то малахольный, с ним пропадешь,— сочувственно сказал он.— Никакой оперативности, я еще Парамонову это говорил. Все он в стороне, все в одиночку... А механикам дружно надо жить, колхозом, делиться друг с другом: нынче я тебе клапан, завтра ты мне какую-нибудь, черт ее знает, фасонную прокладку... У настоящих механиков, кто за свое дело болеет, вообще между собой всегда какая-то спайка, товарищество, взаимовыручка, а у нас на дивизионе, ты приглядись, особенная. А кто этого добился? Мой Петляев. Вот твоего Быкова недолюбливают, а Петляева на руках носят. Чуть что — к нему: всем поможет, все раздобудет, чего другим и не снилось. Настоящий хозяин!.. Я тебе по дружбе говорю, Сергеич: простись ты со своим мямлей, подыщи молодого, шустрого, делового — тебе же легче служить будет... Да что далеко искать? — вдруг воодушевился Бабурчёнок, решившись окончательно облагодетельствовать нового приятеля.— Хочешь, я тебе своего Слюдяника отдам?.. Старшина первой статьи, орел, мотор знает — прямо жуть! Второй год у меня командиром отделения мотористов плавает, я бы из него уже механика себе сделал, если бы не дали из запаса Петляева... Да он ему и не уступит, Петляеву,— ртуть-парень, и работа в руках горит, и все из-под земли достанет, это тебе не Быков! Его давно пора в главстаршины произвести да в люди выводить!.. Я весной его Парамонову сватал, да покойник привык к своему Быкову — и ни в какую... А тебе зачем к нему привыкать?.. Ну, так сговорились, что ли? Завтра к Владыкину, доложим — он тут же и приказ: обожает выдвиженцев — из матросов да в офицеры, из мотористов — в механики...

Бабурчёнок навалился на Решетникова со своим неожиданным предложением так напористо, что тот растерялся и даже обещал подумать. И, только добравшись до катера и оставшись один, он точно пришел в себя, и ему стало стыдно и неловко, будто, не сумев сразу ответить отказом, он как бы предал Быкова.

Но, словно нарочно, утром Быков принес ему на подпись повторную заявку Федотычу на всякие мелочи, из-за которых задерживалась сборка левого мотора, и Решет-

ников предложил ему сперва поспрошать у мичмана Петляева, не выручит ли тот чем сможет. Быков, и так озабоченный своими неполадками, еще больше насупился.

— Нет уж, товарищ лейтенант, как хотите, а к Петляеву я на поклон не пойду,— твердо сказал он.— Выручить-то он выручит, да потом за два болта цельный мотор из меня вытянет.

— Как знаете,— несколько раздраженно ответил Решетников, подписывая заявку, и подумал, что Бабурчёнок, пожалуй, прав: тяжел Быков, неуживчив с другими и, конечно, катеру от этого пользы мало.

И вчерашнее предложение показалось ему не таким уж диким. Во всяком случае, о Слюдянике стоило подумать, примериться, взвесить...

Но ни примерять, ни взвешивать ему не пришлось — так неожиданно повернулось все дело.

Это произошло дня через три-четыре на партийно-комсомольском собрании, втором за время службы его на дивизионе. На повестке стоял доклад инженер-капитан-лейтенанта Менделеева (Решетников не сразу сообразил, что это просто Федотыч) о мерах ускорения и улучшения послебоевого ремонта. Прения пошли с места как-то вяло: словно на каком-нибудь производственном совещании тянулась нудная перебранка мотористов, механиков и снабженцев, упрекавших друг друга в технических неполадках, интересных лишь им самим, в каких-то недоделках и недодачах. В зале (собрание шло в холодном, но зато просторном зале полуразрушенного санатория) стоял шум, мешавший слушать, и Решетников вдруг обнаружил, что его занимает не плохая отливка никому не известной детали, а то, откуда это тянет подлая, тонкая струйка сквозняка, леденящая колени. И, встретившись взглядом с лейтенантом Бабурчёнком, который сидел поодаль, на подоконнике, он похлопал себя по губам, как бы прикрывая зевок, в ответ на что Бабурчёнок завел глаза под лоб, смешно клюнул носом, словно заснул, и, встряхнувшись, сделал преувеличенно-внимательное лицо.

Наконец Владыкин, который, недовольно хмурясь, слушал выступления и не раз уже наклонялся к другим членам бюро, встал и призвал коммунистов говорить о главном, а не мельчить вопроса: главное — люди, а тут

говорят только о технике. Едва он сел, в пятом ряду поднялся со скамьи Хазов и попросил слова, предупредив, что именно о людях и будет говорить.

Решетников не представлял себе, как Никита Петрович разговаривает на народе, и потому с любопытством приготовился слушать. Первые же слова Хазова насторожили его: тот, видимо, собрался говорить о том же, что недавно так нахваливал Бабурчёнок,— о спайке и взаимной поддержке механиков дивизиона.

Начал он с того, что всякий хороший механик, как и всякий толковый боцман, обязательно старается прикопить на черный день и инструмент, и материалы, и все, что нужно ему в его хозяйстве: снабжение, мол,— дело хорошее, а свой запас кармана не тянет. Не с нас это началось, не нами и кончится («Может, только при коммунизме, когда даже механикам всего будет хватать»,— добавил Хазов). Видимо, с такой запасливостью приходится мириться, да, по совести говоря, неужели за каждой шайбой бегать к начальству? Вот и получается, что у катерных механиков свои склады, без всяких там накладных и фактур, а на веру, по товариществу: я тебе помогу, ты мне. Дело не в самих запасах, а в людях, которые их создают, и в том, как их создают.

И тут он неожиданно назвал мичмана Петляева, который ухитрился нахватать столько дефицитного добра, что это создало ему среди катерных механиков особое и не очень понятное положение.

— А чем плохо, что Петляев не такая шляпа-растяпа, как другие? — вызывающе спросил с места лейтенант Бабурчёнок.

Хазов повернулся к нему и некоторое время молчал, отчего Решетников с беспокойством подумал, что реплики, наверное, сбивают его. Но тут же Хазов сказал спокойно и жестко:

— Хотя бы тем, что такой вопрос задает коммунист и морской офицер.

Бабурчёнок покраснел, и Решетников заметил, что Владыкин одобрительно кивнул головой. Хазов продолжал говорить, смотря на лейтенанта Бабурчёнка, как будто ему удобнее было беседовать с одним человеком, чем держать речь.

— По этому вопросу видно,— сказал Хазов,— что

чуждые флоту деляческие привычки Петляева, которые он принес с собой с «гражданки», не тревожат даже командира катера, который наблюдает их чаще и ближе других. Чего же тогда удивляться, что они не тревожат остальных,— больше того, забавляют и вызывают одобрение: вот, мол, деляга, все умеет достать, нам бы на катер такого!.. И за что, собственно, придираться к человеку? Не ворует, не мошенничает, просто умеет вовремя разузнать и вовремя раздобыть! Ну, а раз к Петляеву так добродушно относятся, понятно, что у него уже появились последователи, вроде, скажем, Слюдяника или механика «СК 0874» Страхова,— а это еще хуже и опаснее. И уж совсем плохо, что никто не говорит о том, как методы Петляева отражаются на боеспособности катеров.

— При чем тут боеспособность? — выкрикнул Бабурчёнок так, что Решетников невольно обернулся на него. Весь красный, зло сощурившийся, наклонившийся с высокого подоконника вперед, он чем-то напоминал сейчас рассерженного, фыркающего кота, готового спрыгнуть с забора.— Наоборот, только из-за Петляева у меня катер и ходит без отказа, все знают!

— Точно, товарищ лейтенант,— ответил Хазов,— так это ваш катер. А другие?

И он заговорил о том, что «золотой фонд» Петляева (или, как он назвал его, «петляевский лабаз») служит не для помощи другим, а именно для обеспечения своего катера. Вот тут всё валили на недодачи, на нехватки, дивизионный механик руками разводил: не присылает, мол, главная база. А никто не сказал правды, что зависит все не от главной базы, а от «лабаза»: получат там механики дефицитную деталь — выйдет катер на боевое задание, а невыгодно окажется хозяину «лабаза» расстаться с ней — катер будет ждать, когда пришлют из Поти. Вот и получается, что боеспособность катеров зависит не от штаба, а от Петляева: как захочет, так и будет. И ведь об этом знают все механики и мотористы, знают, да молчат. Почему молчат? Не хотят лишаться такого удобного «лабаза», где на менку все достанешь? Или побаиваются его хозяина, который такую силу забрал, что даже коммунисты о нем только шепотком говорят, и то по уголкам? Известно ли коммунистам дивизиона, каким не очень товарищеским способом кандидат партии Петляев

недавно собирался отнять у других катеров единственный присланный главной базой компрессор, хотя, как потом оказалось, один они с командиром катера сумели уже раздобыть в Поти?

Теперь уже все посмотрели на Бабурчёнка. Тот сидел, неестественно выпрямившись, щеки его побелели и как бы опали, и Решетников с каким-то странным чувством неловкости отвел взгляд.

Слушая Хазова, он стал понимать, что́ скрывалось за шутливым выражением лейтенанта Бабурчёнка «хитрая механика моего механика».

Оказалось, что в безобидном «золотом фонде» Петляева были такие детали, из-за отсутствия которых другие боевые катера подолгу не могли выйти в море, то есть получалось так, что, припрятывая эти детали для себя или для выгодного обмена, Петляев, по существу, играл на руку фашистам. Оказалось, что эти дефицитные детали для «золотого фонда» послушно раздобывал офицер-коммунист и что это занятие не было ни веселой игрой, ни своеобразным спортом, каким оно казалось всем, в том числе и Решетникову: оно было, по существу, грабежом других катеров, нуждавшихся в том, что перехватывал у них «доставала» Бабурчёнок. Оказалось еще, что никакой взаимной поддержки и товарищества среди катерных механиков не было и в помине: по существу, здесь бытовали древние отношения оборотистого кулака и зависящих от него бедняков, и Быков был прав, говоря, что за два болта Петляев вытянет потом целый мотор...

И тут же Решетников с внезапным стыдом вспомнил, что вот-вот готов был сменять Быкова на Слюдяника, который принес бы с собой на катер дух беспокойного и алчного стяжательства, воспитанный в нем Петляевым, дух грязной спекуляции на чужой нужде, отвратительный блатмейстерский дух, который, как раковая опухоль, пополз бы с бабурчёнковского катера на решетниковский, заражая людей...

После тех удивительно счастливых, каких-то светлых и чистых дней, которые последнее время Решетников провел в начинающейся дружбе со своим катером и его людьми, все это так ошеломило его, почти потрясло, что весь дальнейший ход собрания пошел как-то мимо него,

параллельно его смятенным и трудным мыслям. И поэтому, когда внезапно захлопавшие залпы и вой сирены прервали собрание, он выскочил из санатория, словно обрадовавшись.

Налет был не очень серьезный, но настойчивый: несмотря на плотный огонь катеров, расползшихся на ночь по всему побережью бухты, самолеты пять или шесть раз принимались кидать бомбы на транспорт, пришедший под вечер с боеприпасами. Решетников добрался до своего катера к третьей атаке.

Стрельба как бы облегчила Решетникова, но, придя после отбоя в каюту, он снова вернулся мыслями к тому, что происходило на собрании до сигнала тревоги.

Все вспоминалось ему в каком-то тумане. Больше других запомнился Бабурчёнок, растерянный, какой-то непривычно жалкий. Он подтвердил историю с «пактом» и очень искренне сказал, что только из слов Хазова понял свою глупую и позорную роль «доставалы» и что, не разобравшись в существе петляевского «золотого фонда», казавшегося ему невинной забавой, простым удобством для катера, он был плохим офицером и слепым коммунистом.

И в глазах Решетникова Бабурчёнок — беспечный, вечно веселый и самонадеянный удачник, покоряющий каким-то особым своим обаянием, смелый и страстный боевой командир катера, Бабурчёнок, еще вчера казавшийся тем, кто может стать отзывчивым, надежным, веселым дружком,— стал совсем не таким, каким представлялся воображению, вдруг потускнел, увял, сник.

Вся ночь понадобилась Решетникову, чтобы осмыслить то, что вызвали в нем эти открытия, и заснул он лишь под утро. Больше всего он думал о самом Хазове, который в обыкновенном как будто блатмейстерстве Петляева сумел разглядеть угрозу боеспособности и жизненности всего дивизиона и, увидев эту угрозу, немедленно показал ее всем коммунистам и комсомольцам.

Почему именно Хазов сделал это? Ведь, кроме него, многие хорошо знали о петляевском «лабазе», но либо боялись заговорить о нем, либо не видели и не понимали опасности, какую таил в себе этот чуждый боевому коллективу обменный центр — какая-то черная биржа, тайный рынок, подобный тем, что, словно поганки на сыро-

сти, вырастают возле больших гаражей, всюду, где есть механизмы и машины и где для них не хватает нужных деталей и материалов. Даже Быков и тот, отлично понимая природу и самого Петляева и его «лабаза», тоже молчал. Почему — было непонятно, но, уж конечно, не из страха перед Петляевым.

И Решетников долго искал слово, каким можно было бы обозначить это самое «то», чего не хватало ни Быкову, ни ему самому, ни десяткам других коммунистов и комсомольцев дивизиона. Так и не найдя такого слова, он заснул.

Но для самого события определяющее слово он нашел (впрочем, сказал его Никита Петрович): лабаз.

Этим словом Решетников и открыл наконец записи на страничках, отведенных Хазову. Слово было странное, мертвое, вылезшее из старого, разрушенного революцией мира купли-продажи, обмана, скопидомства, стяжательства,— чужое, опасное слово, порождающее чужую, отравляющую человека психологию. Однако найдено оно было удивительно правильно и означало для Решетникова очень многое.

Хазов стал еще ближе, еще необходимее ему. И, хотя думал он теперь о боцмане с чувством глубокого уважения, как о человеке, который стоит в нравственном отношении много выше его самого, в вечерних разговорах их появилась какая-то новая близость. Новостью в них было и то, что порой — особенно когда бухта, притихшая и задумчивая, бесшумно сверкала лунной дорогой, а в высоком светлом небе не брунчал еще надоедливый гул немецких самолетов, выжидавших более выгодного освещения,— Никита Петрович начинал говорить сам. То ли поддавался он молодой, нетерпеливой жажде Решетникова знать и понимать все, что его окружает, то ли подкупала его сердечность, с какой рассказывал тот о семье, о детских своих годах на Алтае, о Ваське Глухове, с кем мечтал о флоте, но Хазов начинал отвечать на его вопросы охотнее и открывать кое-что и в себе.

Так Решетников узнал, что Хазов был из старинной флотской семьи. Домик в Севастополе, в Петровской слободке, в котором выросло четыре поколения черноморских матросов, пережил обе осады; по крайней мере, еще в июне, в дни самых ожесточенных бомбежек, Хазов на-

шел его пустым, но уцелевшим. Только выбиты были все стекла, развалено крыльцо да в садике вырваны снарядами деревья и исчезла скамейка под грушей, где слушал он рассказы деда Аникия Ивановича о Севастопольской обороне и о бастионах, куда тот вместе с мальчишками таскал арбузы и воду для отца и других матросов. Там, на Четвертом бастионе, французская бомба убила прадеда, артиллерийского квартирмейстера с «Уриила», и место это Хазов отлично помнил, хотя дед привел его на бастион лишь однажды, когда ему было всего восемь лет,— ровно столько, сколько было самому деду в год Севастопольской обороны.

Утром того дня к ним пришел усатый матрос, весь обвешанный пулеметными лентами (всего неделю назад в Севастополь ворвались полки Красной Армии), и Никита, закричав на весь садик: «Батька приехал!» — кинулся к нему, потому что именно таким и представлял себе отца, которого плохо помнил, расставшись с ним шести лет от роду. Но матрос тихонько отстранил его и, подойдя к Аникию Ивановичу, сказал, чтоб Петра больше не ждали, так как он погиб на бронепоезде «Вперед за революцию!» почти год назад на Украине в боях с немцами. Мать упала на траву и закричала диким, истошным голосом, а дед взял Никиту за руку и повел на Четвертый бастион.

Всю дорогу Никита плакал, а дед спотыкался, будто плохо видел дорогу, и, добравшись до бастиона, долго сидел на старинном орудии, молча глядя на край бруствера, где из белых камешков был выложен в земле аккуратный крестик. Потом вздохнул и сказал, что вот, мол, отец и сын его — оба погибли в бою, как полагается матросам, а он все коптит небо в тягость себе и другим. Он, кряхтя, наклонился, подправил выбитые чьей-то неосторожной ногой камешки и сказал Никите, чтобы тот приходил сюда присматривать за крестиком, потому что ему самому сюда больше не добраться. И правда: с того дня дед либо сидел на скамейке под грушей, либо лежал на койке и года через полтора умер, так и не выбравшись больше на бастион.

Дед в рассказах боцмана занимал главное место. От деда Никита узнал и об отце — рулевом унтер-офицере миноносца «Гаджибей» и члене судового комитета, а так-

же о многих неизвестных событиях и понятиях. Отец, оказывается, тонул в Цусиме — и Никита узнал, что такое Цусима. Второй раз Петр Аникиевич тонул на миноносце «Живучий» — и так Никита услышал о первой мировой войне. Отец топил в Новороссийской бухте «Гаджибея» — и Никита узнал о революции и о том, почему и зачем черноморские матросы своими же руками взрывали и топили свои же корабли. А погиб отец далеко от моря, в степи,— и так из слов деда Никита стал понимать, что такое гражданская война и что такое матросы революции. Дед же рассказывал ему о флоте, о кораблях, о машинах, минах и орудиях, о турецкой войне, которую провел на пароходе «Великий князь Константин», откуда спускали маленькие минные катера, об офицерах, которых любили и уважали матросы, и об офицерах, которых ненавидели. Флотское мужество, матросская крепкая спайка и гордость за флот переходила из дряхлеющего сердца в открытое миру, жадное к жизни, маленькое и горячее детское сердце, и к десяти годам Никита уже знал, что его жизнь пройдет на флоте так же, как прошла жизнь отца, деда и прадеда.

Ремонт катера подходил уже к концу, и для таких долгих душевных разговоров времени было все меньше. Последние недели Владыкин то и дело посылал Решетникова в море — то на катере старшего лейтенанта Сомова, то с Бабурчёнком, который, отделавшись в петляевской истории выговором, как-то повзрослел, но в бою стал еще отчаяннее, то с командиром звена Калитиным. Задание всегда давалось одно: присматриваться ко всему, что делается на катере в походе, а случится — и в бою, и мотать все это на ус.

Сперва Решетников даже обиделся: не мальчишка же он, в самом деле, чтобы изображать экскурсанта из подшефного колхоза... Но на первом же походе понял, что такого рода «экскурсии» были на владыкинском дивизионе вроде тех полетов, когда испытанный боевой летчик «вывозит» молодого. На этих походах Решетников узнал все особенности дневного и ночного входа в бухту, тонкие, лишь командирам катеров известные приметы навигационно-боевого характера — вроде затопленной у Седьмого мыска канонерской лодки, возле которой надо сразу ворочать на курс 84°, чтобы избежать прямой

наводки скрытой за мыском немецкой батареи. На катере Калитина, с уважением наблюдая мастерские действия своего командира звена, он понял, что собственный бой его на «СК 0519» был чистейшей удачей и неприличным везеньем. Сомов познакомил его с ночным десантом, а Бабурчёнок — со своим способом разведки огневых точек противника: для этого он полным ходом трижды прокатил Решетникова ночью вдоль берега, переведя моторы с подводного выхлопа на надводный, чем вызвал яростный огонь, вспышки которого оставалось только засекать. Кроме таких поучительных примеров, Решетников на этих походах услышал кучу разнообразных советов на все случаи беспокойной жизни сторожевого катера в море.

Все это, возвращаясь к себе, Решетников пересказывал Никите Петровичу: Хазов окончательно сделался самым необходимым для него собеседником.

Чем ближе узнавал его Решетников, тем чаще думал о том, что, конечно, из всех, кого он видел вокруг себя, Никита Петрович больше всего подходит к понятию «друг», несмотря на большую разницу в годах и на то, что подчинен ему по службе, хотя по справедливости должно было быть наоборот. Только настоящий друг мог так бережно и заботливо поддерживать его на первых, трудных порах командования кораблем, да вдобавок впервые в жизни. Владыкин был, конечно, прав, говоря, что Хазов делает для него все то, что хороший коммунист должен делать для комсомольца, а боевой моряк — для такого (тут Решетников, не щадя себя, поправил владыкинские слова), для такого салажонка, как он... Нет, даже больше: Хазов делал для него то, что мог сделать самый верный, самый преданный и бескорыстный друг.

Но главнейшее во всем этом для Решетникова заключалось в том, что Хазов все больше напоминал ему дорогого его сердцу Петра Ильича Ершова, оказавшегося для него ближе и дороже отца,— человека, который сыграл в его жизни решающую роль и которого так не хватало ему все эти годы самостоятельной жизни.

Глава девятая

О той скрытной ночной операции, для которой «СК 0944» приближался к занятому противником берегу, известно было, конечно, довольно значительному числу людей, но знали о ней все они по-разному.

Команда катера видела в этом обычный ночной поход в глубокий тыл врага для высадки разведчиков в той самой бухточке, где две недели назад катер проделал это без особых хлопот. Боцману Хазову, которому было поручено доставить разведчиков на берег и привести шестерку обратно к катеру, было ясно, что нынче там могут встретиться любые неожиданности и что поэтому надо быть особо осторожным.

Командир группы разведчиков лейтенант Воронин знал, что в горах, в небольшом партизанском отряде, куда пробираться придется, может быть, с боем, находится один товарищ, которого надо доставить в бухту Непонятную или в другое, более отдаленное место, если здесь высадка пройдет негладко.

Командиру катера лейтенанту Решетникову было известно, что товарищ этот располагает какими-то очень нужными сведениями, отчего с группой разведчиков идет в операцию сам майор, и что в случае неудачи с высадкой в бухте Непонятной нужно дать условное радио, по которому будет выслан еще один катер, с другой группой, в другое место, чтобы попытаться все же получить вовремя эти сведения.

Для командира дивизиона сторожевых катеров капитана третьего ранга Владыкина операция была связана с готовящимся десантом морской пехоты, так как ожидаемые сведения могли облегчить боевую задачу катерам его дивизиона, который намечался штабом флота для первого броска десанта.

В штабе флота с разработкой этого плана торопились потому, что морской пехоте необходимо было закрепиться на новой «малой земле» к определенному сроку, когда там должен будет высадиться крупный армейский десант с боевой техникой и артиллерией.

Командующему флотом было известно, что высадка этого десанта, имеющего задачей продвижение к осажденному Севастополю, связана с подготавливаемым но-

вым ударом, развивающим успех недавней Сталинградской победы, и зависит от обстановки на всем приморском фронте.

Командующий же этим фронтом знал, что в ходе нового наступления все его действия, в том числе и десант, будут лишь демонстрацией, отвлекающей внимание и силы противника от подлинных намерений Главного командования.

А об этих действительных намерениях никто даже из самых крупных военачальников, управляющих ходом войны, не мог сейчас с уверенностью сказать, осуществятся ли они именно в тот срок и именно так, как намечает их новый обширный оперативный замысел, который сам был лишь одним из звеньев общего стратегического плана. Это зависело от многих причин: и от того, как осуществятся другие такие же намерения Главного командования на других участках фронта от Белого моря до Черного; и от того, сумеет ли Советская страна вовремя прислать своей великой армии необходимое для того количество боевых машин и припасов; и от того, до какой степени дружеского предательства, дозволенной традициями военных союзов, дойдут генеральные штабы капиталистических стран, вынужденных сражаться в одном лагере с социалистической державой; и от того, окажется ли в свое время единственно верным именно то направление главного удара, которое подготавливается сейчас и для организации которого среди тысяч других предварительных действий потребовалось послать в бухту Непонятную «СК 0944».

Из всех людей, по-разному знавших о ночном походе катера, одному майору Луникову, кроме командования флотом, было известно, что товарищ Д., возвращающийся из крымского подполья, помимо сведений, полезных для десантной операции, имеет еще и другие, важнейшие, интересующие непосредственно Главное командование. Поручая майору лично доставить на Большую землю товарища Д., за которым из Москвы уже выслан самолет, командующий флотом особо подчеркнул, что это надо сделать как можно скорее. Именно поэтому майор и выбрал бухту Непонятную, хотя из всех предложенных Владыкиным вариантов она казалась наименее надежной и безопасной.

Дело заключалось в том, что, когда сведения попали в руки товарища Д., партизаны, оттесненные в горы, лишились посадочной площадки для «У-2», и ему пришлось просить о присылке за ним катера. Для этого он указал известную ему бухточку, удобную тем, что до нее было пять-шесть часов хода от скрывающегося в горах небольшого партизанского отряда, где он очутился, уйдя из Севастополя. Этой бухтой оказалась та самая, в которой на днях произошел случай с катером «0874» (чего, конечно, он знать не мог) и которую Луников назвал Непонятной.

В беседе с Владыкиным майор выяснил, что из других возможных мест высадки до товарища Д. придется добираться шесть, а то и восемь суток да столько же потратить на обратный переход с ним самим. Тогда он решил рискнуть и если не всю операцию выполнить в бухте Непонятной, то хотя бы начать ее здесь. В глубине души он был убежден, что все обойдется сравнительно просто. Ведь и в самом деле было непонятно, что же могло случиться с группой, высаженной здесь неделю назад. По характеру задания она не имела возможности дать знать о себе, и приходилось только гадать. Расспросив Владыкина об известных тому вариантах неудачных высадок, майор понял, что все они обязательно отмечались шумом — взрывом, автоматными очередями или хотя бы одиночными выстрелами. Тишина, сопровождавшая прошлую высадку, показывала, что, вернее всего, произошло что-то не с разведчиками, а со шлюпкой, когда она возвращалась с гребцами к катеру. Поэтому много шансов было за то, что нынче группе удастся благополучно подняться в горы. А там можно будет рискнуть на радиосвязь и запросить Решетникова, вернулась ли шлюпка, и, если обратная посадка в бухте Непонятной состояться не сможет, сразу же, не теряя времени на ожидание второй посланной группы, повести товарища Д. навстречу ей к другому, дальнему месту посадки. Это ускорит доставку сведений ровно вдвое, что, конечно, для Главного командования очень важно.

Но такой неудачный вариант представлялся майору маловероятным, и мысли его все время вертелись вокруг шлюпки и ее возвращения, так как основной задачей было обеспечить обратную посадку тут же, на следую-

щую ночь. Именно поэтому он и просил Решетникова прислать к нему того, кто назначен старшиной шлюпки.

И, едва дождавшись, пока Хазов допьет «какаву», Луников стал донимать его расспросами. Как там придется высаживаться — прямо в воду? Прыгать по камням? Или можно приткнуться к гальке? Остается ли шлюпка хоть ненадолго без охраны во время высадки? Какие берега внутри бухты: пологие или обрывистые? Не нависают ли скалы над водой? Как шлюпка возвращается: посередине бухты или должна идти возле берега, чтобы найти выход в море? Каким образом она находит катер, стоящий на якоре в миле-полутора? Можно ли каким-нибудь ложным сигналом направить ее мимо катера? Или перехватить на пути?..

Вопросы его были неожиданными, порой наивными и даже, с точки зрения Хазова, просто нелепыми, но за ними он чувствовал такую серьезную озабоченность, что и в его глазах предстоящая высадка стала приобретать какую-то необыкновенную значительность. И, хотя Луников не говорил прямо, боцман понял, что весь разговор потому и начался, чтобы, не раскрывая того, чего ему знать не положено, показать всю важность операции и его, Хазова, особую роль в ней. Под конец майор подтвердил это сам.

— Вот ведь какая штука, товарищ Хазов,— сказал он совсем не по-военному,— все дело, видите ли, в том, уцелеет нынче ваша шлюпка или исчезнет вроде той. Черт их знает, что они могли с ней там устроить... Вот вы говорите: скалы и шлюпка совсем рядом проходит. А разве нельзя гребцам на головы свалить камешек кило на полтораста? Или, скажем, спрыгнуть на них без шума с ножами?

Хазов сдержанно улыбнулся, но майор укоризненно качнул головой:

— Думаете, кино? На войне всякое бывает. Вот на Мекензиевых горах кок у нас наладился на передний край борщ горячий таскать. Ну, видно, проследили, захотели «языка» взять. Идет Мельчук по дубняку, тропка знакомая, своя, вдруг из дубнячка автомат: «Хальт! Рус, сдавайся!» Он было решил — пропал, но глядит — немец-то всего один. Тогда он будто оробел, лопочет: «Битте, капут, яволь»,— и руки вверх тянет вместе с борщом.

Немец вышел на тропку, только подошел — Мельчук ему все ведро и вывернул на башку, а борщ жирный, горячий, только что с огня, чуть глаза не сварились. Так и привел его к нам — всего в капусте, а на голове ведро. Выходит, что и борщ — оружие...— Луников загасил папиросу и неожиданно закончил: — Значит, мы с вами договорились: поведете обратно шлюпку — держитесь от скал подальше. На высадке мы за вами присмотрим,— хоть и очень некогда будет, подождем, пока отвалите. Остальное от вас зависит, гадать нам сейчас ни к чему. Только крепко помните: не доберется шлюпка до катера — большие дела задержатся. Очень большие. А пока давайте приспнем, вот товарищ правильно поступает,— кивнул он на лейтенанта Воронина, который, закинув голову, похрапывал, не обращая внимания на бивший в лицо свет.— Где у вас тут выключатель?

Луников потушил верхний плафон и прикорнул в углу дивана, закрыв глаза.

Но отдыхать ему пришлось не очень долго. Низкий мощный гул моторов, наполнявший кают-компанию, внезапно утих, и трясучка, от которой все звенело и подрагивало, так же внезапно прекратилась, отчего показалось, будто настала полнейшая тишина, хотя моторы продолжали урчать довольно внятно. Луников открыл глаза и вопросительно взглянул на Хазова, но тот спал крепким сном сильно уставшего человека. До назначенного времени подхода к Непонятной оставалось еще более полутора часов. Майор подумал, что происходит какая-то неприятность, и, ожидая, что вот-вот загремит звонок боевой тревоги, привстал с диванчика. Но тотчас будто невидимая мягкая рука посадила его обратно, а кают-компания вся наклонилась — катер делал крутой поворот. Звонков, однако, никаких не было, и Луников решил подняться наверх и спросить командира, что означает этот странный маневр катера. Решетникова он нашел в штурманской рубке, куда провел его вахтенный комендор, пребольно ухватив за локоть,— видимо, на тот случай, чтобы, споткнувшись на темной палубе, майор не свалился за борт. Лейтенант стоял один у высокого прокладочного стола, отмечая что-то на карте.

— Подходим, командир? Не рановато ли? — спросил Луников, дождавшись, когда он закончил запись.

— Все нормально, просто ночь нынче светлая,— ответил Решетников и показал карандашом на мыс, далеко выдвинувшийся в море.— Удалось сразу за него зацепиться, а то, бывает, часа полтора возле него танцуют... Продержимся пока тут, а через час — к бухте, до нее от мыса малым ходом около сорока минут. Станем вот здесь, так шлюпке вход отыскать будет легко...

Он коснулся тупым концом карандаша кружка с якорьком и, показывая путь шлюпки, повел его по карте к береговой черте, а потом влево вдоль нее, следя за ее изгибами, пока она сама не завела карандаш в бухточку.

— Легко-то оно легко, да, как говорится, вход бесплатный, а выход — рупь,— медленно протянул Луников, глядя на карту.— Выглядит она тут у вас красиво, а вот что в ней там на самом деле... Как вы это понимаете, товарищ лейтенант?

— Никак,— резко ответил Решетников, с раздражением кидая карандаш на карту.— А что я могу понимать? Хуже нет — чужие дела расхлебывать! Сомов потерял шлюпку, а мне своими людьми рисковать...

И тон, которым он это сказал, и смысл сказанного, и этот несдержанный жест так отличались от той ровной, веселой приветливости, с которой недавно он разговаривал в кают-компании, что Луников удивленно взглянул на него. Конечно, он не мог знать, что за два-три часа лейтенант передумал и перечувствовал многое.

Как ни странно, но в начале похода Решетников вроде бы не воспринимал всерьез того, что происходит. Может быть, главнейшей причиной было то, что из шести катеров, находившихся в базе, Владыкин выбрал для важной операции именно его, решетниковский. Это не могло не польстить самолюбию лейтенанта, и он пришел в отличнейшее настроение, в котором все кажется простым и легко выполнимым. Поэтому поход этот представлялся ему какой-то спокойной, почти веселой прогулкой по спокойному морю, чуть вздыхающему пологой зыбью, а сама операция — ночная высадка, ожидание в море до следующей ночи и новый приход в бухту за разведчиками — пустяковым и занятным делом. Счастливое состояние уверенности в себе и в непременной своей удачливости не оставляло его, и он мог с любопытством подстерегать зеленый луч и шутить за ужином.

Но, оставшись на мостике один и думая о бухте Непонятной, ожидающей где-то в звездной этой тьме, он начал чувствовать нарастающую тревогу. Она беспокоила его все больше, пока он не понял (вполне и во всем зловещем значении, поразившем его), что бухта перестала быть надежным местом для высадок, что ночью предстоит действительно опасная операция и что в эту операцию, тревожащую и томящую скрытой, неизвестной опасностью, он сам — своей волей, своей командирской властью — назначил человека, жизнь которого должен был особенно беречь: недавно найденного друга.

И тогда весь тот мальчишеский задор, все удалое легкомыслие, с какими он выслушивал подробные указания Владыкина и с какими начал поход, мгновенно слетели с него.

Теперь Решетников искренне не понимал, как мог он в глупом этом задоре, в какой-то театральной роли решительного, быстро соображающего командира, увлекшей его,— как мог он на вопрос Владыкина, кого думает назначить на шестерку, ответить: «Боцмана Хазова». Дорого дал бы он сейчас, чтобы вернуть этот бравый ответ!.. Но слова были произнесены—не слова, а решение командира корабля, которое не может быть отставлено или изменено без всяких и важных причин. А причин этих не было, кроме одной — боязни за Хазова, в чем признаваться было нельзя.

То, что он ответил Луникову, было неправдой: конечно же, с самого того момента, когда Решетников понял, что сам обрек Хазова на опасность, он не переставал думать о бухте, о высадке, о ловушке или о несчастье, случившемся там. Десятки догадок, и правдоподобных и фантастических, перебрал он в голове, не остановившись ни на одной. В воображении его, ничуть не помогая делу, возникали десятки планов, как обеспечить возвращение шлюпки из бухты. С поздним раскаянием он думал, что все это следовало обсудить с Владыкиным, и тогда, может быть, нашелся бы способ облегчить ночную операцию в бухте. Из всех, кто был на катере, ему мог бы помочь толковым советом один лишь боцман. Но, уж конечно, как раз ему-то и нельзя было показывать даже намека на то тревожное беспокойство, с которым думалось теперь о высадке: Решетникову казалось, что оно может

передаться и Хазову, вселить в него неуверенность перед самым уходом в опасную операцию.

Пожалуй, впервые за этот счастливый месяц Решетников почувствовал себя снова таким же растерянным и беспомощным, каким был в первую неделю командования катером, и с горечью подумал, что ему еще очень далеко до того, чтобы назвать себя настоящим командиром корабля. Ведь едва только пришлось ему решать без Никиты Петровича... И тут же он оборвал себя, поняв, что и в самом деле может оказаться без Хазова — не только сейчас, но и всю остальную жизнь — и что виной этому будет он сам.

В этом состоянии его и застал Луников у штурманского стола, когда, оставив за себя на мостике Михеева, лейтенант зашел в рубку, чтобы проверить на карте тот новый способ ориентировки шлюпки при возвращении, который только что пришел ему в голову. Конечно, вопрос майора никак не мог подействовать успокоительно, однако тут же Решетников сам почувствовал, что допустил резкость, и добавил совсем другим тоном:

— Правильно вы ее назвали, товарищ майор: Непонятная и есть...

— Непонятная, да не очень...— в раздумье сказал майор.— А что, если такой вариант: не на фокус ли они пошли? Группу нарочно пропустили, не тронули, а шлюпку поймали.

— Для чего? — хмуро удивился Решетников.

— Для психики.

— Неясно.

— Очень ясно. Чтобы мы с вами головы ломали и боялись этой бухты. Вот я, например, попался — сам ее Непонятной прозвал. И ваш Владыкин попался: начал мне такие места для высадки предлагать — триста верст скачи, не доскачешь. И вы попались: боитесь своими людьми рисковать. А на деле там ничего нет. Бухта как бухта.

— Все равно неясно. Проще было группу уничтожить, вот вам и «психика»: больше не полезешь.

— Как раз нет: обязательно полезем. Нам ведь понятно, что постоянного гарнизона там нет, разгром группы — случайность; значит, можно высадку повторить. А тут полная неизвестность: ни стрельбы, ни взрыва...

А неизвестная опасность в десять раз страшнее. Не знаю, как вы, а я все время думаю: куда шлюпка девалась? Наверное, это штатская профессия во мне работает. Я, видите ли, инженер-плановик, вот меня варианты и одолевают. На всё тридцать два варианта, на выбор. Вот и эта чертова бухта: ведь через час в ней высаживаться и своими боками тридцать третий вариант узнавать, а я все догадки строю...

— И я,— откровенно признался Решетников.

Майор вроде обрадовался:

— Да ну? А я-то вам завидовал: вот, думаю, что значит профессионал военный! В такую непонятность идет— и все ему ясно, не то что мне, штатскому вояке,— и спокоен и весел...

Теперь улыбнулся Решетников.

— Ну, а я за ужином вам завидовал — мне бы такое спокойствие и уверенность...

— Значит, договорились! — рассмеялся Луников.— Такая уж у нас с вами командирская должность — все внутри переживать, а наружу не показывать... Я как этот китель надел, так ни минуты себя наедине не чувствую. Все кажется, будто на меня в триста глаз мои моряки глядят: как, мол, там командир отряда, не дрейфит? И ведь хуже всего, что их показным бодрячеством не обманешь. Им все настоящее подавай: и спокойствие, и мужество, и решительность. А где, спрашивается, мне их взять? От меня жизнь до сих пор другого требовала. Вот и приходится на ходу эти командирские качества в себе воспитывать, а у меня и годы не те, и навыков нет. Поневоле вам, военным, позавидуешь...

Решетников внутренне поморщился. Ему показалось, будто майор напрашивается на возражения — ну зачем, мол, вы так про себя, все же знают, что вы настоящий боевой командир!.. Но тот с искренностью, не вызывающей сомнений, продолжал:

— Очень трудная эта профессия — командовать. Рядовому бойцу на всю войну одна смерть положена, а командиру — тысячи: столько, сколько раз он своих людей на смерть посылал. На кораблях много легче — там командир в бою со всеми вместе. Вам не очень и понятно, до чего это трудно — посылать других под снаряды, а самому отсиживаться в блиндаже...

— Чего же тут не понять, понятно,— сочувственно сказал Решетников, думая о Хазове и о шлюпке.

Майор махнул рукой:

— Ничего вам не понятно! Вот будете командовать дивизионом и придется вам какой-нибудь катер в серьезное дело посылать, тогда меня и припомните... Нынче мне повезло — вместе с группой пошел. А сиди я на берегу, такого бы себе навоображал — вконец бы извелся, разве что Сенека помог бы...

— Какой Сенека? — не понял лейтенант.

— Был такой римский философ, воспитатель Нерона. Рекомендовал не представлять себе неприятностей, пока они не случились. В жизни, мол, и реальных пакостей хватает, чтобы еще воображаемыми огорчаться. Совет правильный, но человечество почему-то им мало пользуется, и я в том числе. Только что с вашим боцманом обсуждал варианты ночных хлопот. Впрочем, он, видно, и сам философ: выслушал молча — и заснул. Да так, что и поворот не разбудил...

Упоминание о Хазове заставило Решетникова снова помрачнеть. Но майор, не заметив этого, закончил тем же шутливым тоном, который ему не очень удавался, но которым он, вероятно, хотел скрыть свою озабоченность:

— Не расспросил я его, как он катер найдет. Ночь-то темная, а море-то Черное. Придется вам мне растолковать.

— А я как раз этим и занимаюсь, кое-что новое в голову пришло,— ответил Решетников.

Среди тревожных догадок, которые бесполезно осаждали на мостике его воображение, одна показалась ему дельной: а что, если сомовская шлюпка просто не нашла катера?

При всех своих несомненных преимуществах как места для скрытной высадки бухта Непонятная имела одно значительное неудобство. Гряда подводных камней вынуждала катер становиться здесь на якорь в порядочном расстоянии от берега, и поэтому гребцам, уводившим шлюпку после высадки, приходилось брать с собой шлюпочный компас, выходить из бухты, справляясь с ним, и отыскивать потом катер по условному огню. Обычно для этого в целях маскировки пользовались синей лампой, свет которой можно было заметить лишь вблизи.

Решетникову пришло в голову, что, лишившись компаса (скажем, утопив его при спешной высадке или разбив), гребцы сомовской шестерки пошли к катеру, ориентируясь по звездам. В этом случае шлюпка могла отклониться от верного направления настолько, что заметить слабенький синий огонек было уже невозможно.

Представив себе, что Хазов очутился в таком же положении, лейтенант уже не думал о степени вероятности своей догадки. Ему казалось важным одно: если такая возможность была, следовало ее исключить, хотя для этого ему приходилось решать задачу, подобную квадратуре круга: как усилить свет, одновременно замаскировав его?

Катер уже приближался к берегу, а Решетников все еще ничего не мог придумать. Он совсем было отчаялся, когда в дело вмешалась случайность, что, как известно, бывало причиной многих важных открытий. Роль ньютонова яблока тут сыграл ратьер (как с давних пор называют на кораблях сигнальный фонарь, уже позабыв о том, что это фамилия его конструктора): когда лейтенант придвинулся к обвесу мостика, чтобы удобнее было отыскать горы, темнеющие на фоне звездного мерцания, ратьер загремел у него под ногами железным своим ящиком и натолкнул на решение вопроса.

Фонарь этот устроен так, что свет яркой лампы, заключенной в его ящике, бьет сквозь узкую щель, прикрытую вдобавок щитками, что придает ему направленность и препятствует видеть свет с боков. Щель по надобности можно прикрывать красным, зеленым или белым стеклом с помощью нехитрого рычажного устройства. Мысль, осенившая Решетникова, состояла в том, что этот луч можно направить параллельно береговой черте. Тогда ни со стороны моря, ни с берега его не будет видно, зато яркая полоска света будет непременно замечена гребцами шлюпки даже в том случае, если они станут пересекать этот луч и вдали от катера. Маскировка вдобавок удачно обеспечивалась тем, что если направить луч на норд-ост, он будет светить как раз вдоль рифа, где никак не могло оказаться ни немецкого катера, ни тем более корабля.

Этот свой план лейтенант не без гордости и объяснил Луникову, показав на карте, где станет катер, куда будет

направлен луч ратьера и как должна грести шестерка. Майор некоторое время молча рассматривал схему, потом сказал:

— Имеется вариант: шлюпка почему-либо оказалась с другого борта — с запада. Вот и пропал ваш план.

— Вариант исключенный,— в тон ему ответил Решетников.— Для этого ей надо ошибиться не меньше чем на двадцать градусов. А курс я даю ей, как видите, простой: чистый зюйд. Даже если без компаса останутся, держи по корме Большую Медведицу, тут спутаться трудно... Имеются другие варианты?

— Пока нет. А предложение есть. Раз у вас там цветные стекла, не лучше ли дать зеленый огонь? Рифы рифами, а от греха подальше. Красный сам в глаза кидается, белый — очень ярок, а зеленый — вроде и звезда какая... Все-таки маскировка...

— Согласен, пусть будет зеленый,— ответил Решетников и, явно повеселев, взглянул на часы.— А что, товарищ майор, может, пораньше подойдем?

Луников искоса взглянул на него и усмехнулся:

— Пожалуй, правильно... Зачем нам лишние полчаса томиться? Уж рвать зуб, так сразу...

Решетников несколько смутился, поняв, что майор разгадал его нетерпение. Как бывает это в подобных случаях, ему уже невмоготу было дожидаться того, что все равно должно случиться, и хотелось, чтобы это поскорее началось. Он дунул в свисток переговорной трубы на мостик и приказал Михееву ворочать на обратный курс и при подходе к мысу пробить боевую тревогу, а сейчас прислать в рубку Хазова и Артюшина.

Майор хотел было уйти, но дверь отворилась, выключив свет. Когда он зажегся, в рубке стояли оба.

— Ясно,— недовольно сказал Решетников.— Было приказано спать, а они уже на палубе.

— При повороте с койки скинуло, товарищ лейтенант,— сразу же ответил Артюшин.— Я и вышел Зыкину сказать, что со штурвалом аккуратно надо обращаться. Не выйдет из него рулевого, как хотите, его бы в авиацию списать, пусть там виражи закладывает...

— Товарищи старшины, получите новый приказ на возвращение,— перебил его лейтенант, и Артюшин тотчас подтянулся.— Подойдите к карте...

Он подробно, с излишней даже обстоятельностью, объяснил им свой план, подчеркнув, что уклоняться вправо ни в коем случае нельзя, чтобы не проскочить катер с его темного борта, и закончил обычным:

— Все ясно? Вопросы имеются?

Он сказал это четко, по-командирски, и Артюшин так же четко ответил, что все понятно. Но Хазов неторопливо сказал:

— Есть, товарищ лейтенант.

— А что, Никита Петрович? — совсем другим тоном спросил Решетников, и Артюшин, спрятав невольную улыбку, заметил, что он с беспокойством покосился на левую руку боцмана.

Тот и в самом деле поднял ее к подбородку привычным жестом и в раздумье потер ладонью бритую щеку.

— Маловато запасу. Тут грести порядочно, шлюпка курса точно не удержит. Можем и правее катера пройти.

— Вот товарищ майор того же опасается,— сказал Решетников озабоченно.— Я и сам хотел для верности поставить катер западнее, да боюсь — увидите ли вы тогда огонь? Далековато на луч выйдете.

— Увидим,— с уверенностью сказал Хазов.

И Артюшин подтвердил:

— Ратьер увидим. Его из Поти увидишь, это не синий ночничок, прошлый раз все глаза проглядели...

— Ясно,— подытожил лейтенант и нарисовал на карте новый кружок с якорьком.— Вот так у вас запасу будет за глаза — градусов тридцать... Всё, товарищи старшины. Помните — на вас вся операция держится. Потеряем нынче шлюпку — весь смысл потеряется: разведчиков надо обязательно завтра на борт принять. Ну... желаю успеха.

Он пожал руку обоим. Хазов достал из реглана аккуратный клеенчатый бумажник и молча передал его командиру катера. То же сделал и Артюшин, но у него документы оказались в кокетливом кисетике, сшитом, очевидно, женскими руками. Потом оба вышли из рубки, а за ними — и Решетников с майором.

На палубе чувствовалось присутствие в темноте многих людей. Сквозь мягкий рокот одного мотора, под которым шел сейчас катер, слышны были негромкие голоса, какие-то тени уступали дорогу офицерам, направившим-

ся на корму к шестерке. Очевидно, второй поворот дал знать команде и разведчикам, что время высадки приближается, и боевой тревоги уже не требовалось: все оказались на своих местах, шлюпку готовили к спуску и разведчики подтаскивали к ней громоздкий инвентарь пехотного боя и окопной жизни, который им придется скоро разместить на своих плечах.

Тот незаметный, но ясно ощутимый всеми переход из одного жизненного состояния в другое, который начинает собой всякую боевую операцию задолго до ее фактического начала, уже произошел. И, хотя люди держались по-прежнему, спокойно разговаривали, шутили, выполняли порученное им дело, во всем этом теперь была особая значительность, которую все чувствовали, но которой не подчеркивали и даже как бы не замечали, словно уговорились между собой делать вид, что решительно ничего не происходит. Между тем часть этих людей уже переступила ту грань, за которой могла встретиться военная смерть, тогда как другая часть оставалась еще по эту сторону грани, где такая смерть была маловероятной. И как ни старались те и другие держаться естественно, быть такими, какими были пять минут назад, это у них не очень получалось, и усилие над собой выражалось у кого повышенной веселостью, у кого нарочитым спокойствием, у кого смущенностью и неловкостью. И всем, как недавно Решетникову, уже хотелось, чтобы действия, связанные с возможностью гибели, начались поскорее, если уж все равно они должны начаться.

Катер снова повернул, на этот раз на малом ходу, плавно. Звезды, качнувшись, расположились над ним так, что Большая Медведица оказалась по правому борту, и все на палубе поняли, что теперь катер идет вдоль берега к бухте. Однако никто не сказал об этом вслух: разведчики негромко обсуждали с лейтенантом Ворониным — взять лишнюю «цинку» с патронами или добавить гранат, Жадан приставал к боцману, чтобы подкормили разведчиков — есть, мол, лишний суп,— и только Сизов, оказавшийся каким-то образом рядом с Артюшиным, спросил его упавшим голосом:

— Подходим, что ли?

— Ты откуда тут взялся? — удивился тот.

— Радиограмму носил. Так, верно, подходим?

— Когда еще подойдем... «Последний час» успеешь выдать.

— «Последний час» еще через час.

— Тогда не успеешь. Сыпься на место.

Сизов помолчал, потом тронул его за локоть.

— Артюш... Ты, значит... это самое...

— Ну, чего тебе?

— Нет, ничего. Ну, счастливо, мне слушать надо.

— Счастливо. Иди слушай.

Артюшин постоял в темноте, потом, словно, пожалев, что отпустил Сизова, негромко крикнул вслед:

— Юрка!

— Есть! — ответил голос рядом.

— Ты еще тут? — удивился Артюшин.

— Тут.

— Иди на место, я сказал.

— Я и шел, а ты зовешь.

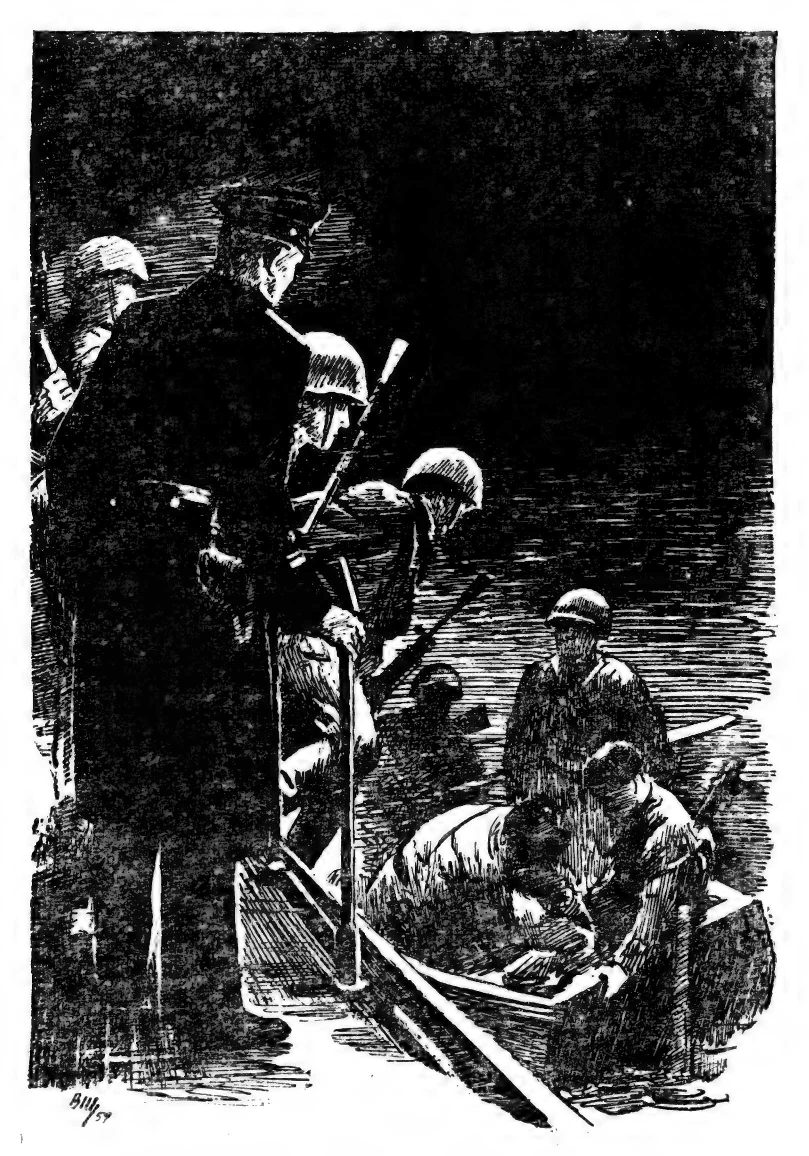
— Ну, счастливо! Эх ты... герой...

— Командира отделения рулевых Артюшина на мостик! — донеслась до кормы голосовая передача.

— Есть на мостик! — отозвался Артюшин и, охватив Сизова за плечи, ласково потряс его худощавое, еще мальчишеское тело.— Вот теперь и в сам-деле подходим, раз самого маэстро приглашают... Будь здоров, Юра!

Артюшин угадал: командир катера приказал ему стать на руль, как это бывало всегда при сложном маневре. После поворота катер начал слегка рыскать на зыби, а ему следовало идти точно по курсу, чтобы попасть в намеченную его командиром точку несколько западнее бухты Непонятной.

Всё на мостике было сейчас подчинено этой задаче. Лейтенант Михеев следил за равномерностью хода, то и дело справляясь о числе оборотов мотора. Птахов, доверяясь своим глазам больше, чем биноклю, всматривался в темную гряду берега, чуть различимого на фоне звездного неба, надеясь опять, как и в прошлый раз, приметить зубец вершинки, находящейся неподалеку от бухты. Сам Решетников, положившись на его снайперское зрение, наклонился над компасом: несмотря на все искусство «маэстро», картушка медленно ходила около курсовой черты, и лейтенант внимательно



Разведчики один за другим спрыгнули в шестерку...

следил, не уводит ли это рысканье в какую-либо одну сторону. Избежать его можно было, лишь прибавив оборотов, чего сделать было нельзя: подходить к месту высадки полагалось тихо, и катер, чуть поводя носом вправо и влево, словно принюхивался к чьему-то следу, продолжал медленно красться вдоль берега.

В таком напряжении прошло более получаса. Наконец Птахов негромко, но с нескрываемым торжеством доложил:

— Вершина, справа восемьдесят.

Решетников посмотрел в бинокль туда, куда показывал Птахов, и, хотя, кроме темной полосы, закрывавшей на горизонте звезды, ничего не увидел, облегченно вздохнул: вершинка означала, что до якорного места оставалось идти только шесть минут. Хитря с самим собой, лейтенант добавил к ним две-три для верности, чтобы шестерка не проскочила катер с запада. Тогда он поставил рукоятку машинного телеграфа на «стоп», негромко скомандовал: «Отдать якорь!» — и пошел на корму, где вокруг шлюпки сгрудилась уже почти вся команда, готовясь с помощью разведчиков спустить ее на воду.

Это было проделано неожиданно быстро. Командирская рационализация с поясами вполне оправдалась — корма, поддерживаемая пробкой, даже не черпнула, и, когда Хазов отдал хитро завязанный им конец и пояса вытащили на катер, разведчики один за другим спрыгнули в шестерку и начали разбирать весла, не тратя времени на отливание воды.

Майор подошел к Решетникову и, не отыскав в темноте его руки, дружески пожал ему локоть:

— Ну, товарищ лейтенант, спасибо за доставку. Значит, до завтра... Сенеку почаще вспоминайте,— добавил он улыбаясь, что было понятно по голосу, потом шагнул к борту.— Орлы! Хватайте ногу, поставьте ее там куда-нибудь не в воду...

Он не очень ловко слез в шестерку, и из темноты донесся спокойный голос Хазова:

— Разрешите отваливать, товарищ лейтенант?

— Отваливайте,— так же спокойно ответил Решетников.

Все, что передумал и перечувствовал он на мостике

перед поворотом у мыса, вновь взмыло в нем из самых глубин души, куда он постарался это запрятать. Если бы он мог, он задержал бы шестерку, заменил бы Хазова кем угодно или пошел бы сам. Но ничего этого сделать было нельзя, как нельзя было хотя бы затянуть уход шлюпки бесполезными расспросами, все ли нужное взято, помнят ли Хазов и Артюшин, как, в случае чего, держать по Большой Медведице. Можно было сказать лишь одно это командирское слово «отваливайте» — роковое слово, решающее судьбу людей и судьбу друга.

Его он и сказал спокойным, обыденным тоном.

Несколько сильных рук оттолкнули шестерку от борта. Темный силуэт ее на секунду закрыл собою звездный отблеск, мерцающий на выпуклой маслянистой волне зыби, и сразу же растворился в остальной черноте, окружающей катер.

Какое-то очень недолгое время оттуда доносились тихие равномерные всплески весел. Наконец и этот слабый звук погас, как гаснет тлеющая искра,— незаметно, но невосстановимо. И тогда над катером встала та удивительная тишина уснувшего моря, которая не может нарушиться ни шелестом листвы, как то бывает в лесу, ни шорохом сорвавшегося камешка, как в горах, ни встрепетом птицы в траве, как в степи. Беззвучность черноморской ночи была настолько совершенной, что слабое движение воздуха, едва ощущаемое кожей лица (и то лишь потому, что оно несло с собой холод), улавливалось слухом, как звук чьего-то близкого легкого дыхания. И казалось совершенно невероятным, что в этой безмятежной, спокойной тишине могут сухо затрещать выстрелы, застучать автоматная очередь или плотно ухнуть взрыв.

Но именно это и опасался услышать Решетников, присевший на освобожденные от шестерки стеллажи, и того же опасались те люди, которых он оставил на верхней палубе, запретив двигаться, кашлять и шептаться, чтобы не заглушить хоть малейшего звука, который мог донестись с берега или с воды. То и дело лейтенант отворачивал рукав шинели и смотрел на светящиеся стрелки. И чем ближе время подходило к тому, когда, по его расчету, шестерка должна была начать высадку, тем тревожнее вслушивался он в морскую тишину.

Наконец, не в силах сидеть неподвижно, он встал, словно так было лучше слушать. По времени получалось, что там, в бухте, шестерка уже подошла к берегу. Ночь по-прежнему была беззвучна. Он опять взглянул на часы: наверное, теперь все уже выскочили на гальку. Никита Петрович прошлый раз говорил, что в бухте есть такой ровный пляжик, очень удобный для высадки. Ну, еще три минуты — сталкивают шлюпку. Все тихо. Сердце стало биться ровнее. Он простоял неподвижно еще пять минут, слыша только легкие вздохи ветерка. Ветерок был холодным, резкая свежесть забиралась за воротник кителя и почему-то главным образом ощущалась у затылка. Теперь шестерка, видимо, подходила к выходу из бухты. Сердце его опять тревожно заколотилось: а вдруг он так тянул со временем, что она давно уже вышла и сейчас ищет свет ратьера? Лейтенант снова взглянул на часы: нет, до этого еще далеко, не меньше двадцати минут, но для верности — пора.

— На мостике! Включить зеленый луч! — негромко скомандовал он и удивился: вот ведь неожиданно вышло! И как ему раньше не приходило это в голову — и верно, зеленый луч... Он усмехнулся про себя и докончил команду: — Влево не показывать, держать на нордост!

— Есть включить зеленый луч, влево не показывать! — весело откликнулся голос Птахова.

Катер стоял носом к востоку, и потому с кормы огня нельзя было увидеть. Но матросы, услышав команду, облегченно зашевелились. К лейтенанту подошел Чайка, потом сразу двое, потом кто-то споткнулся в темноте, и голос Сизова спросил:

— Возвращаются, товарищ лейтенант?

— Будем думать,— осторожно ответил Решетников.

— Товарищ лейтенант,— сказал Сизов уже совсем рядом,— старшина второй статьи меня сменил и приказал спать. А разве сейчас уснешь? Разрешите на палубе подождать, пока Артюшин вернется?

— Ну что ж, подожди. Сядь тут, тебе долго стоять нельзя. Ноги-то как?

— Совсем приросли, товарищ лейтенант, порядок!

— Ну ладно. Сиди и слушай!

Но сам Решетников не мог оставаться на месте. Те-

перь, когда напряженность положения несколько разрядилась, им все больше овладевало нетерпение. Ведь тишина еще ничего не доказывала: сомовская шлюпка исчезла в такой же мирной тишине. Оставалось ждать, а ждать в этих условиях было очень трудно. Еще труднее было выкинуть из головы беспокойные мысли о том, увидит ли шестерка зеленый луч. Это походило на то, чтобы заставить себя не вспоминать о белом медведе. Все самое далекое, самое постороннее, что ему удавалось вытащить из памяти, чтобы отвлечься от этих тревожных мыслей, тут же, подобно свитой в тугую спираль пружине, которую согнуть невозможно, немедленно выворачивалось и неизменно приводило к тому, что он отгибал рукав шинели и убеждался, что прошло всего две или три минуты.

Решетников поднялся на мостик, заглянул в узкую щель ратьера, откуда весело и ярко бил зеленый свет, проверил по компасу, верно ли Птахов его направляет, поговорил с самим Птаховым и только потом рискнул взглянуть на часы. Оказалось, все это заняло четыре минуты. Время тянулось невозможно медленно.

Лейтенант вздохнул и решил зайти в рубку, где оставил сданные Артюшиным и боцманом документы. Они лежали на слабо освещенной карте, на которой карандашной чертой был отмечен условный луч ратьера, проходивший почти параллельно берегу. Глядя на него, Решетников вспомнил, как он рассказывал Никите Петровичу о зеленом луче и как убеждал не пропускать ни одного заката на море, чтобы все-таки поймать его. Кажется, это было в тот самый примечательный день, когда они с боцманом впервые заговорили по душам. Да, правильно. Они пошли вместе в штаб договариваться о дне первого выхода на пробу механизмов после ремонта. С утра резко похолодало, и над горами, обступившими бухту, нависли плотные белые облака. Их становилось все больше, они как бы давили друг на друга и к обеду сели на вершины гор, совершенно скрыв их от глаз. Бухта и море приобрели неприятный мертвенный оттенок залежалого свинца. Норд-ост переваливал облака через горы к морю. Текучие плотные туманы безостановочно скатывались по склонам к городку. Словно какая-то густая холодная жидкость, они наливали до-

верху всякую впадину, лощину, седловину, выпуская к домикам и к садам шевелящиеся щупальца. Потом белая масса выплескивалась из впадин и, клубясь, катилась вниз, готовая поглотить городок. Но едва она достигала какой-то черты, ветер, вырывавшийся из бухты, вздымал ее вверх и там яростно и быстро разрывал в клочья.

Глядя на это, Никита Петрович сказал тогда запомнившиеся Решетникову слова: «Ну и силища, вроде фашистской. А глядите — тает». Действительно, хотя белые массы, завалившие собой горы, были неисчислимы и хотя за плотной их стеной угадывались новые, еще бóльшие массы облаков, гонимых на город невесть откуда, было несомненно, что, сколько бы их не оказалось, сильный и верный ветер с моря разорвет их в клочья и рассеет в небе грязными слоистыми облачками.

А Решетников, смотря на эту белую тучу, вспомнил о другой — черной, висевшей над алтайской степью. Тут он впервые рассказал Хазову о своем детстве и о том, как решил стать командиром военно-морского флота. И ему показалось, что Хазов как-то по-новому, с уважением, на него посмотрел и, вероятно, изменил свое мнение о нем, потому что с этого дня он чувствовал совсем иное отношение к себе. Именно тогда он и понял, что Хазов может быть для него тем же старшим другом, каким так недолго был для него когда-то Петр Ильич.

Перебирая это в памяти, Решетников машинально открыл клеенчатый бумажник. Там лежали партийный билет, удостоверения о награждении, выдававшиеся вместо орденских книжек, какие-то справки, видимо нужные боцману. Решетников с удивлением заметил, что на фотографии в партбилете Хазов выглядел не только моложе, что было понятно, а просто совсем другим человеком. Карточка была маленькая, но очень четкая: можно было различить даже выражение глаз. Они были спокойными, веселыми, а на лице совсем не замечалось сосредоточенной задумчивости и хмурой замкнутости, какие Решетников привык видеть на нем с первой же встречи,— видимо, все это сделала война. В бумажнике нашлась еще небольшая фотография. На ней был снят подросток, и сперва показалось, что это сам Никита Петрович, настолько все в лице мальчика напомина-

ло его, но не теперешнего, а такого, каким он снимался несколько лет назад для партбилета. Однако на обороте оказалась надпись неровными буквами: «Косте Чигирю — Петр Хазов», а ниже этого якорь, на лапах которого стояли цифры — 1940, а под ними — слово «союз» с восклицательным знаком.

Этому романтическому Петру было на взгляд лет десять-одиннадцать. Предположить, что это сын Хазова, о существовании которого никто на катере не знал, было трудно: получалось, что он родился, когда Никите Петровичу было восемнадцать-девятнадцать лет. Видимо, это был его младший брат, о котором он тоже никогда не упоминал. Решетников еще раз посмотрел на открытое, смелое и удивительно привлекательное лицо, которое невольно запоминалось, вложил фотографию в бумажник и спрятал его в карман.

Но и на это все ушло едва три минуты. Лейтенант вышел из рубки, постоял возле нее, давая глазам привыкнуть к темноте, потом опять пошел на корму и сел рядом с Сизовым.

Тот немедленно же спросил:

— Долго ждать еще, товарищ лейтенант?

Решетников взглянул на часы:

— Недолго. Минут через десять должны подгрести.

— Скорей бы,— вздохнул Сизов совсем по-детски.

И Решетников улыбнулся. Видимо, Артюшин был для Юры тем же, чем в свое время был для него самого Ершов. Но прошло и десять минут, и двадцать, а шестерка не возвращалась.

На палубе снова появились люди, и снова они замерли в неподвижности. Опять настала полнейшая тишина — все слушали, не возникнет ли в ней слабый, чуть слышный звук равномерного всплеска весел.

Сроки, которые лейтенант ставил для своего успокоения, проходили один за другим. Пошел уже второй час с того времени, когда шестерка должна была подойти к катеру. Страшное волнение охватило Решетникова. Хорошо, что было темно: все в нем трепетало, дрожало, ходило ходуном, и это, несомненно, могли бы заметить. Догадки и подозрения снова, как и в походе, осаждали его. Самой грозной из них была мысль, что шестерка прошла к западу от катера — там, где не было зеленого

луча. Этого не могло быть, он отлично знал, что не могло быть, так как для этого шлюпка должна была бы держать Медведицу не по корме, а почти по правому борту. И, зная это, он все же поймал себя на том, что собирается крикнуть на мостик: «Включить второй ратьер на зюйд-вест!» Но это могло бы погубить катер: такой огонь наверняка был бы замечен. Решетников не мог этого сделать, как вообще не мог ничего сделать. Все его действие заключалось в бездействии. Чтобы помочь Хазову в беде, он готов был кинуться под снаряды, под пули, в воду, но должен был только ждать.

За все это время ни один человек из его команды не задал ему пустого и бесполезного вопроса: где же шестерка? Все молчали, но Решетников знал, что вопрос этот у всех на языке. Молчал и он сам.

Теперь его грызла нестерпимая по силе упрека мысль, ужасное для него сознание, что он сам, своим приказом, лишил себя только что приобретенного друга.

Он горько усмехнулся, вспомнив майора с его Сенекой: посмотреть бы, как Луников справился бы с той стаей грозных видений, которая вилась вот тут, в этой морской тишине, поглотившей без звука шестерку!..

Воспоминание о Луникове заставило его взять себя в руки. «Такая уж наша командирская должность...» Он командир, и он обязан что-то объяснить своей команде.

Усилием воли он подтянулся.

— Что-нибудь произошло,— сказал он матросам, стоявшим рядом, сам удивляясь своему спокойному тону.— Ну что ж, время у нас есть, рассвет еще не скоро. Будем ждать до рассвета.

И он опять сел на стеллажи глубинных бомб, зябко передернув плечами — то ли ночь, перевалив за свою половину, стала много холоднее, то ли это был нервный озноб. Он застегнул воротник шинели и замер в неподвижной позе.

Ему уже столько раз мерещился дальний, чуть слышный всплеск весел, что он решил не напрягать более слуха: если что будет — скажут другие. Теперь он вспоминал то, что сказал ему вчера Владыкин, давая боевое задание: «Пора, пожалуй, о том приказе подумать. Лучше будет, если вы сами поднимете вопрос. Пишите рапорт после первого же боя». А когда он спро-

сил: «Может быть, после этого похода?» — Владыкин усмехнулся и сказал, что присваивать офицерское звание за такие прогулки по морю не полагается... Все думали, что это будет прогулкой. И сам он тогда, на берегу, думал так же.

Все это проносилось у него в мозгу как бы по верхней части экрана — остальная была занята неподвижной, безответной мыслью: где же шестерка? И так же неподвижно, как неподвижна была эта мысль, взгляд Решетникова упирался в темноту по носу катера, где мог показаться темный силуэт шестерки, заслоняющий собой отраженное водой звездное мерцание. Но это желанное пятно на воде все не появлялось, и было ужасно допустить мысль, что никогда и не появится.

Время тянулось так медленно, что казалось — оно вообще остановилось. Но, видимо, оно все же шло: звездное небо уже значительно повернулось, изменив свой яркий пунктирный узор. Решетникову даже почудилось, что оно бледнеет. Неужели уже рассвет, и с ним — конец ожиданию, в котором была хотя бы надежда? Нет, созвездия были по-прежнему ярки, а небо на востоке и не начинало сереть. Темнота эта успокаивала: значит, время еще есть, можно еще ждать и надеяться. Он смотрел в эту темноту, желая только одного — чтобы она не светлела.

Внезапно в ней беззвучно вспыхнул большой и широкий желто-розовый свет, на миг озаривший половину неба над берегом. Вспыхнул и исчез. Не успел Решетников подумать, показалось это ему или было на самом деле, как в небе треснуло и раскатилось.

Взрыв словно сорвал лейтенанта со стеллажей. Он вскочил на ноги, собираясь кинуться сам не зная куда, но рядом с ним очутился Сизов.

— Товарищ лейтенант, что же это? Наши?..— выкрикнул он.

Матросы, стоявшие на корме, молчали, но чувствовалось, что и они спрашивали то же.

— Ничего сказать еще нельзя,— заговорил Решетников каким-то чужим голосом.— Может быть, просто совпадение, а может быть... Подождем. Я сказал: будем здесь до рассвета.

Сизов вдруг зарыдал.

Лейтенант охватил его дергающиеся узкие плечи.

— Ну, Юра, Юра... Ты же матрос... И ничего еще пока не известно... Держись, Юра!

Но успокоить того было невозможно.

— Ну-ка, кто-нибудь, возьмите его в кубрик,— сказал Решетников опять тем же чужим голосом и добавил громко: — На мостике! Держать луч точно на норд-ост, берегу не показывать!

— Есть берегу не показывать! — ответил Птахов.

И лейтенант снова сел на стеллажи. Если бы мог он дать себе сейчас волю!.. Зарыдать так, как рыдал Юра, как сам он плакал семь лет назад...

Но он мог только сидеть молча или говорить вот этим чужим голосом, твердым голосом командира корабля. И, как командир корабля, он не мог спрятаться со своим несчастьем в рубке или в каюте. Он должен быть здесь, на верхней палубе, среди своего экипажа. Должен смотреть на это бессмысленное сияние звезд и слушать спокойную тишину уснувшего моря, в котором такие взрывы кажутся невероятными. И должен делать вид, что ничего не известно, что можно еще чего-то ждать, когда сам прекрасно понимал, что взрыв был почти у выхода из бухты, если не в нем самом.

Но думать он мог.

А о чем думать? Как тогда — как же теперь жить?

Нет, теперь это вовсе не вопрос. Второго друга отняла у него война. Надо жить, чтобы ей не давать убивать. Надо жить, чтобы покончить с нею,— вернее, с теми, кто выпускает ее на волю, где она гуляет и гикает, сжигает и убивает, душит, топит, взрывает. Надо жить, чтобы отомстить за обоих.

Впрочем, это личности. Свое горе. А чужого горя полны целые города, области, даже республики.

И дело не в мести, а в том, чтобы предупреждать убийства. В том, чтобы удавить эту войну и не дать выскочить на волю новой. Другого дела в жизни нет.

Вот и опять ты повзрослел. Тогда кончилось детство, теперь — молодость.

Что ж, будем ждать до рассвета. А с рассветом ты снимешься с якоря и уйдешь, так и не узнав, что случилось со вторым твоим другом. Ты офицер, и у тебя, кроме этих двоих, еще целый корабль со своей командой.

В спокойной, беззвучной и звездной черноморской ночи стоял у южного берега Крыма маленький военный корабль, и на корме его, опустив голову и глядя в маслянисто-черную воду, как в открытую могилу, сидел молодой человек в шинели с офицерскими погонами. А с мостика крохотного корабля, не то забытый, не то упрямо оставленный, бесполезным сигналом светил вдоль рифов побережья тонкий и яркий зеленый луч.

Глава десятая

Отойдя от катера, шестерка повернула почти на север и ходко пошла к берегу под сильными, протяжными гребками шестерых разведчиков. Двое остальных и лейтенант Воронин сидели с автоматами на носу шлюпки, а в корме разместились майор Луников, Хазов, Артюшин и шлюпочный компас.

Этот маленький прибор был нынче на шестерке в особом почете. На кормовом сиденье ему отвели отдельное место; ради него все оружие было отправлено на бак, чтобы вредным своим соседством не мешать его важной работе. И ему одному разрешалось пользоваться светом: картушка его была освещена синим лучом карманного фонарика, хитро вставленного в нактоуз, в футляр компаса. Здесь было свое штатное освещение потайной масляной лампочкой, но слабый свет ее не устраивал Артюшина, и он приспособил фонарик, чтобы точнее держать на курсе.

Вход в бухту Непонятную осложнялся тем, что перед нею, как бы отгораживая ее от моря, параллельно берегу тянулась высокая подводная гряда, доходящая почти до поверхности воды и небезопасная даже для шлюпок. Ее приходилось обходить, оставляя слева, а потом идти между нею и берегом до входа в бухту. Так и шла сейчас шестерка, держа курс по компасу.

Все в шлюпке молчали. В тишине повторялись ритмичные, однообразные звуки гребли: всплеск лопастей, поскрипывание деревянного набора шлюпки, содрогающегося в конце каждого гребка, когда весла, вылетая из воды, делают последний рывок. Хазов, сидевший рядом

с Артюшиным, всматривался вперед. Наконец он молча положил руку на румпель, и Артюшин так же молча снял с него свою и потушил фонарик в нактоузе: шлюпка приближалась к берегу, начиналось лоцманское плавание, для которого не нужно ни компаса, ни искусства классного рулевого и где «лоцманом может быть даже боцман» — как еще на катере сообщил это Артюшин майору.

Подведя ее почти вплотную к скалам, закрывавшим собою звездное сияние неба, боцман повернул влево и повел шлюпку вдоль них. Потом скалы стали отходить, и шестерка, словно они притягивали ее к себе, тоже стала склоняться вправо, сперва понемногу, потом все круче, покамест Большая Медведица не оказалась снова у нее прямо по носу.

Это и был вход в бухту. Хазов вполголоса скомандовал:

— Суши весла...

Разведчики перестали грести. Шестерка продолжала бесшумно двигаться вперед с поднятыми над водой веслами. Воронин и оба матроса на баке привстали с автоматами в руках. Артюшин шепнул загребному: «Оружие сюда»,— и гребцы передали с бака два автомата и несколько гранат.

Дав шестерке дойти до середины бухты, о чем он догадался по каким-то своим признакам, Хазов положил лево руля и так же негромко скомандовал:

— Левая табань, правая на воду... — И, выждав, когда шлюпка развернулась носом к выходу из бухты, добавил: — Табань обе... Помалу.

Теперь шлюпка медленно пошла к берегу кормой, готовая в случае опасности быстро отойти от него. Боцман без стука снял с петель руль и положил его в шлюпку, потом взял в обе руки по гранате и повернулся к берегу. Артюшин и майор уже пристроились с автоматами к заспинной доске кормового сиденья.

В бухте было совсем тихо, только плескалась вода у камней: зыбь образовала здесь легкий накат. Резкая прохлада ночи чувствовалась меньше, может быть потому, что воздух тут был почти неподвижен. Вода, лишенная отблеска звезд, закрытых нависающими над ней скалами, казалась черной. Подгоняемая бесшумными

гребками, шлюпка осторожно приближалась к берегу. Вглядываясь в проступавшие в темноте камни, боцман молча, не оборачиваясь, трогал гранатой колени то правого, то левого загребного. По этому знаку то один, то другой борт переставал грести, отчего шестерка изменяла направление, отыскивая известный боцману каменистый пляжик.

Наконец корма ее приткнулась к гальке. Шестерка остановилась, чуть пошевеливаясь на ленивой волне, набегающей на отлогий берег. Майор собрался шагнуть в воду, но Хазов удержал его. С полминуты он стоял неподвижно, вслушиваясь в темноту, потом обернулся и шепнул:

— Шабаш... Легче с веслами, не стучать!

Он перекинул ноги через фальшборт, осторожно ступил в холодную воду и рывком потянул на себя шлюпку. Корма вылезла на гальку.

— Теперь сходите,— шепнул он Луникову.

Сама высадка заняла не более двух-трех минут. Выскочив на берег, первые двое разведчиков тотчас исчезли в темноте, разойдясь по берегу, чтобы выяснить обстановку. Остальные без звука разобрали оружие и весь свой пехотный груз. Майор потянул к себе Хазова за рукав ватной куртки:

— Спасибо, боцман, кажется, сошло... Желаю счастливо добраться. И помните — завтра нам обязательно на катере надо быть. Ждать будем тут же.

— Помню,— коротко ответил Хазов.— Счастливо вам, товарищ майор.

— Осторожнее из бухты выходите. Хотя,— тут в голосе Луникова послышалась усмешка,— хотя насчет ножей-то я и впрямь кино сочинил... Тут такая тьма, что шлюпки на воде и не различишь... Ну, будем думать, и дальше все хорошо сойдет. Отваливайте, не теряйте времени.

Хазов легко вскочил в шестерку. Артюшин, не выходивший из нее, теперь пристроил компас на первой с кормы банке, опять приладив к нему свой фонарик. Это было его собственное изобретение, которое прошлый раз вполне оправдалось: сидя с веслом на второй банке, он мог следить за курсом, не прекращая гребли, чего при тусклом штатном освещении делать было невозможно.

Разведчики подошли к корме, чтобы столкнуть шлюпку в воду, но Артюшин зашипел на них:

— Не май месяц — купаться, сами сойдем! Ну, отважная морская пехота, замцарица полей, желаю!..

Уперев весла вальками в грунт, они вдвоем легко сдвинули облегченную шлюпку. Она быстро отошла от берега, и фигуры людей сразу исчезли в темноте. Артюшин сел на банку и вложил весло в уключину.

— Значит, уговор прежний: в бухте ты лоцман, а в море я штурман. На воду!

И они сделали первый дружный гребок.

Идти на шестерке без руля под двумя веслами — дело не очень простое. Гребцы должны работать очень слаженно, хорошо чувствуя друг друга, чтобы не перегребать соседа и не уводить этим шлюпку с намеченного курса. У неопытных порой получается так, что в стараниях сравнять силу гребков оба быстро выдыхаются или, наоборот, уступая друг другу, теряют ход шлюпки, не могут держать заданное направление и дело кончается тем, что оба бросают весла и со злыми глазами переходят к взаимным упрекам.

Хазов и Артюшин, моряки умелые и бывалые, даже и не думали обо всем этом. Едва они начали грести, мышцы их сами нашли некоторый общий, наиболее выгодный для обоих уровень усилий, отчего ритм гребли сам собою установился и шестерка пошла ровно, без толчков и рыскания, но, конечно, уже не так быстро, как входила она в бухту под всеми шестью веслами. Согласно уговору вел ее сейчас боцман. Это означало, что Артюшин должен был грести ровно, с одинаковой силой, а Хазов по мере надобности либо ослаблял свои гребки, либо усиливал их для того, чтобы сохранить направление хода шлюпки или, наоборот, изменить его.

Сидя по левому борту на третьей с кормы банке, он греб, повернув голову направо, вглядываясь в скалы, хорошо различимые в звездном свете. Шлюпку нужно было вести вплотную к ним, чтобы сперва найти выход из бухты, а потом то приметное место берега, где обрывистые их стены сменялись отлогим галечным пляжем. Тут, уже не опасаясь камней подводной гряды, можно было поворачивать в море, и здесь лоцманские обязанности Хазова заканчивались: шлюпка ложилась на курс

чистый зюйд, и вести ее по компасу до встречи с лучом ратьера должен был «штурман» Артюшин.

Они гребли молча. Скалы неясными громадами медленно проходили по левому борту. Приподнимаясь на зыби, шестерка то чуть ускоряла, то чуть замедляла ход. Потом Хазов перестал грести, и шлюпка под ударами одного весла начала забирать влево, выходя из бухты. Вдруг, коротко ругнувшись, Артюшин рывком поднял весло на сгибе локтя, задрал его лопасть.

Хазов обернулся:

— Чего ты?

— Чего... Мина... И здоровущая, тварь!

Мимо шлюпки, у самого борта, проплывала черная круглая масса. Артюшин увидел ее, вернее, почувствовал, когда, повернув голову к левому плечу, заносил весло. Движение, которым он вырвал его из уключины, получилось у него помимо воли. От легкого удара веслом мина вряд ли сработала бы, вот если бы шестерка с ходу наткнулась на мину форштевнем...

При этой мысли Артюшин покрутил головой и, сделав гребок, не очень естественно засмеялся.

— Повезло нам с тобой, боцман, прямо скажем... И откуда ее черт принес! Тут и заграждений-то нет...

Хазов промолчал. Артюшин хотел добавить, что завтра, выходит, снова придется дважды проходить мимо этой окаянной мины, раз она болтается в бухте и деваться ей некуда. Но, подумав, он оставил это открытие при себе: неписаные правила поведения людей на войне воспрещают делиться с товарищами такого рода соображениями,— догадался, ну и помалкивай, нечего других расстраивать. Да и сам он постарался не думать об этом. Все равно ничего тут сделать было нельзя: ни расстрелять ее, ни разоружить. Чтобы отвлечься от этих бесполезных мыслей, он начал считать гребки. Досчитав до двухсот, когда, по его соображениям, шестерка должна была уже миновать подводную гряду, он окликнул Хазова:

— Не пора ворочать, боцман?

— Скалы еще.

— Долго нынче идем.

— Зыбь.

— Тогда давай навалимся.

Боцман даже не ответил.

Считать гребки надоело, но, пожалуй, их набралась еще добрая сотня, когда Хазов наконец сказал:

— Галька. Давай на курс.

Артюшин оставил весло и наклонился к компасу, чтобы включить свое хитрое освещение. Боцман двумя гребками развернул шлюпку кормой к берегу.

— Ну, скоро ты там? — спросил он.

— Техника на грани фантастики,— смущенно ответил Артюшин.— Наверное, проводок отскочил. Говорил Юрке — подлиньше припаивай...

— Зажги лучше маслянку, вернее будет.

— Да тут делов на момент, зато потом спокойней пойдем. Сейчас прикручу.

Фонарик Артюшина, подаренный ему кем-то из разведчиков, заряжал обычно Сизов, загоняя туда элементы из «Бас-80» — «батареи анодной сухой восьмидесятивольтовой», которых у него, как у всякого радиста, было предовольно. Но потому ли, что Юра был расстроен предстоящей высадкой, или потому, что Артюшин торопил его, фонарик нынче отказал. Артюшину пришлось открывать дверцу и на ощупь прикручивать проволочку к контактной пластинке.

Хазов не торопил его: минута-две ничего не меняли, а удобства артюшинского освещения стоили этой задержки. Он сидел, отдыхая, спокойно положив руки на валек весла, и смотрел на Большую Медведицу, свесившую хвост как раз над кормой. Шлюпка лениво шевелилась на зыби. Глубочайшая тишина стояла вокруг; даже того легкого плеска воды о камни, который слышался в бухте, здесь не было.

Вдруг ему показалось, что часть звезд ниже Медведицы скрылась. Он присмотрелся. Звезды на краю неба исчезали одна за другой, словно на них надвигалась непроницаемо плотная туча. Прошло еще с минуту, когда стало ясно, что закрывает их скала — та самая скала, которую они уже проходили, приближаясь к отлогому берегу.

— Артюшин, садись за весло! — тревожно сказал он.

— Сейчас. Уже наладил, включаю...

— На воду, говорю! Шлюпку сносит!

Артюшин схватился за весло. Они развернули шестер-

ку снова вдоль берега, продвинули ее вперед, потом Хазов приказал сушить весла, всматриваясь в скалы. Едва они перестали грести, шестерка сразу же пошла назад. Чтобы удерживать ее на месте, приходилось делать довольно частые гребки.

— На воду! — сказал Хазов.— К гальке приткнемся...

Они снова начали грести. Шлюпка пошла к тому же месту, где недавно разворачивалась. Но все то, что тогда не привлекало их внимания, сейчас доказывало скорость этого неожиданного течения: и медленность, с какой уходили назад скалы, и количество лишних гребков. Артюшину даже померещилось, что вода за бортом журчит, как будто шлюпка идет не по морю, а по реке, и довольно быстрой. На самом деле так оно и было: шестерку сносила назад невидимая река.

Накануне того дня, когда «СК 0944» вышел к бухте Непонятной, только что утих зюйд-вестовый шторм, доходивший до семи-восьми баллов. Трое суток подряд все то огромное количество воды, которое образует собой Черное море, находилось в непрестанном сильнейшем движении. Вряд ли на всем его пространстве от Босфора до Керчи оставалась в покое хоть одна капля. Тяжелые массы соленой воды колыхались, вздымались, опадали, сшибались, превращались в зыбкие крутые горы, в пологие ложбины, в холмы и обрывистые овраги. Ветер, пролетая над созданным им клокочущим кипением, гнал громадные валы в одном направлении. Украшенные белопенными султанами, они как бы догоняли друг друга, мчась в стремительном беге вслед за низкими рваными облаками, проносившимися над ними к северо-востоку.

На самом деле неслись туда только эти облака. Волны же, вопреки сложившемуся поэтическому представлению о них, никуда не стремились, не катились и не бежали чередой: вода, составляющая их, стояла на месте, лишь перемещая свои текучие частицы вверх и вниз по замкнутым круговым орбитам, безостановочно меняя этим свою форму и создавая впечатление быстрого бега волн. Однако некоторый тонкий слой ее и в самом деле передвигался вслед за ветром к берегам Крыма и Таманского полуострова. И так велико было Черное море, что этого тонкого слоя, сдвинутого ветром в северо-восточный его угол, оказалось достаточно, чтобы порядком под-

нять там уровень воды и образовать обратное течение.

Оно началось сразу же, едва напор ветра ослаб. Море еще продолжало вздыхать невысокими волнами зыби, постепенно успокаиваясь, а те значительные массы воды, которые шторм нагонял сюда целых три дня, уже стремились обратно, на юго-запад. Медленными невидимыми реками они текли по Черному морю в разнообразных и капризных направлениях, зависящих от местных береговых ветерков, температуры встречных слоев воды и рельефа дна.

Одно из таких обратных течений, зародившееся в Феодосийском заливе, куда шторм нагнал особенно много воды, направилось вдоль берега Крыма. Сильные его струи шевельнули встреченную на пути тупоголовую черную мину, плавающую на поверхности. Та сперва только лениво повернулась, но потом, словно надумав, сдвинулась и поплыла вместе с течением. Короткий обрывок троса болтался у нее под брюхом: два дня назад шторм сорвал ее с якоря, на котором, охраняя от советских кораблей советские же берега, она простояла более года, так и не дождавшись толчка, который разбудил бы дремлющую в ее утробе черно-желтую тротиловую смерть. Плавно покачиваясь на затихающей зыби, мина весь следующий день плыла вдоль берега на запад. В сумерках ее поднесло к бухте, у входа в которую выдвигались в море скалы. Отброшенное ими течение образовало здесь довольно крутой изгиб. На повороте мину вынесло из движущихся струй в неподвижную воду бухты. Вернуться в протекающий мимо поток она уже не смогла и, подталкиваемая случайными струями, заглядывающими сюда, начала описывать между скалами неправильные кривые, петли и спирали, мягко вздымаясь и опускаясь на зыби.

Именно с ней, едва не столкнувшись, и встретилась выходящая из бухты шлюпка. И точно так же, как появление здесь мины было полной неожиданностью для сидящих в шлюпке двоих людей, не меньшей неожиданностью для них оказалось и то, что вдоль берега шло сильное течение на запад. Они пытались все же с помощью двух тяжелых весел продвигать навстречу ему неуклюжую шлюпку, не понимая, что, по существу, вступают в поединок с Черным морем, которое, восстанавливая свой



Мимо шлюпки, у самого борта, проплывала мина.

нарушенный штормом уровень, перемещает из одного своего угла в другой безмерно громадные массы воды.

Не вдаваясь в истинные причины сноса шлюпки, Хазов, едва обнаружив его, тотчас стал действовать так, как в этих условиях было единственно правильно и необходимо. Нужно было немедленно же зацепиться за берег, чтобы удержать шестерку там, куда им удалось ее довести, и тогда уже пытаться понять, что же происходит и что им следует делать. Гладкие скалы берега и камни возле него не давали этой возможности. Но, как только шлюпка, с трудом выгребая против катящегося навстречу ей неудержимого потока, миновала наконец последнюю скалу, Хазов повернул и приткнул ее носом к гальке отлогого берега, начинавшегося отсюда.

— Ну, старшина, давай соображать. Время для начала заметь,— сказал он обычным своим спокойным тоном.

Артюшин посветил фонариком на часы.

Оказалось, на переход сюда из бухты они потратили почти вдвое больше времени, чем при прошлой высадке,— около получаса. Это был уже достаточный показатель силы течения, вполне определивший серьезность положения. То обстоятельство, что течение шло как раз вдоль берега, то есть на запад, вносило уже окончательную ясность. Это означало, что, когда шлюпка начнет грести к катеру, снос будет наибольшим из возможных, так как течение придется под прямым углом к курсу.

— Выходит, пронесет нас мимо катера,— сказал Хазов, произведя в уме несложные расчеты.— Не выгрести.

— Сюда же выгребли,— возразил Артюшин.— Это у берега так тянет. Если б в море так сносило, мы бы на камнях сидели.

— А мы через них и проскочили.

— Скажешь тоже! — обиделся Артюшин.

— Я срамить тебя не хотел. Ты куда шестерку вывел? Я думал, компас у тебя врет, а получается — снесло.

Артюшин вспомнил, что шлюпка и точно вышла не сюда, к отлогому берегу, куда в обход подводной гряды был проложен курс, а на какую-то высокую скалу. Тогда он подумал, что это была первая скала рядом с пляжем, и не придал значения небольшой неточности курса. Теперь он оценил это иначе.

— Получается так,— согласился он.— Градусов на

пятнадцать снесло, не меньше. И как это нас на камни не посадило?

— Бывает. С миной же вот разошлись.

— Ну, возьмем на снос тридцать градусов, вот и выйдем на катер,— уверенно сказал Артюшин.— Конечно, грести уж на совесть придется.

Хазов покачал головой:

— Сил не хватит. Почти час грести. Не выйти на двух веслах: на шести — и то куда снесло.

Минуту они сидели молча. Потом Артюшин сказал:

— Наверное, с Азовского тянет, штормом туда нагнало. Вполне понятное дело.

— А нам с того легче?

— Все-таки научное открытие. И ту шестерку, видно, так же унесло. Помнишь, накануне тоже шторм был?

— Вот и унесло, раз к катеру пошли. Ну, так что делать будем? Время идет.

Глубокая, полная тишина стояла над ровным каменистым пляжем, уходящим на восток. Чуть пошевеливалось за бортом оставленное в уключине весло, лопасть которого лежала на воде, катившей мимо шлюпки быстрые струи невидимой реки. И берег и море, как бы отдыхая после недавнего потрясения штормом, сохраняли удивительный покой, следя за бесшумным ходом звездного неба, которое поворачивало над ними свою мерцающую, светящуюся, играющую огнями дальних миров сферу. И двое людей, сидевших в шлюпке, тоже как будто отдыхали в неторопливом ожидании кого-то, кто должен подойти сюда, в условленное место,— так спокойны были те короткие фразы, которыми они время от времени перекидывались, и так обыденны были их позы. Один полулежал на банке, как бы рассматривая звезды, другой сидел, удобно облокотившись и медленно поглаживая ладонью подбородок и щеку.

Между тем в звездной спокойной ночи по скалам берега пробирались в горы моряки, успех трудного военного дела которых зависел от этой шлюпки, а в море, в миле от берега, стоял катер, дальнейшие действия которого были связаны с ее возвращением, а далеко отсюда, в Москве, люди, управлявшие ходом войны, ожидали результатов того, что должны были выполнить разведчики морской пехоты и моряки катера и что было нужно для

улучшения военной службы огромной страны и ее многомиллионного населения. Рассчитанный и проверенный ход этой незначительной маленькой операции, имеющей столь значительный и большой смысл, вдруг нарушился стихийным обстоятельством, которое невозможно было предвидеть: капризным поворотом отливного послештормового течения в северо-восточной части Черного моря.

Исправить этот нарушившийся ход операции не могли ни командир катера, ни высадившийся с разведчиками боевой офицер майор Луников, ни те обладающие громадной властью, опытом и знаниями военные и государственные люди, которые управляли ходом всей войны. Сделать это могли только эти два человека, сидевшие в шлюпке,— два советских человека, носящих военно-морскую форму, два матроса, два коммуниста.

И они пытались решить, что же можно сделать в данном сложнейшем положении. И, хотя в тех коротких фразах, которыми они перебрасывались, не было и намека на то, что оба понимают и чувствуют ответственность за успех операции, важный смысл которой был им даже неизвестен,— все, что они говорили, было направлено к одной цели: исправить ход этой операции, нарушенной последствиями шторма.

Они обсудили и отвергли уже несколько решений. Круг все сужался. Сперва стало ясно, что возвращение на шлюпке к катеру сейчас невозможно. Ожидать же, когда течение прекратится или хотя бы ослабнет, было тоже невозможно: это могло произойти одинаково вероятно и через час и через сутки. Тогда в обсуждение вошла другая тема: остаться со шлюпкой здесь, спрятав ее в камнях, а завтра, с темнотой, привести в бухту, куда должны вернуться разведчики. Предложил это Артюшин, и Хазов сперва ухватился за эту мысль. Конечно, в этом был серьезнейший риск: если бы шлюпку заметили, то разведчикам неминуемо устроили бы засаду. Но потом Хазов припомнил, что сегодня, выводя шестерку из бухты, он случайно обнаружил под нависшей скалой нечто вроде грота, где вполне возможно спрятать шестерку, залив ее водой, чтобы понизить борта.

— Ну и притопим,— весело сказал Артюшин,— а завтра, как стемнеет, начнем отливать. Согреемся, по крайней мере... Значит, пошли?

Он взялся уже за весло, как боцман остановил его вопросом:

— А на катере?

— Что — на катере?

— Откуда на катере будут знать, что завтра надо за нами вернуться?

Артюшин молча отпустил весло. Повиснув в уключине, оно легло лопастью на струившуюся мимо борта воду и снова начало пошевеливаться на ней.

В самом деле, прождав шлюпку до рассвета, лейтенант Решетников будет вынужден уйти, как неделю назад ушел старший лейтенант Сомов, также не дождавшись своей шлюпки. Артюшин знал, что утром майор должен будет связаться по радио с катером, тогда Решетников сообщит ему о пропаже шлюпки, и тот не приведет разведчиков в бухту! Таким образом, получалось, что прятать шлюпку вдвойне бессмысленно.

— А фонарик? — сказал вдруг Артюшин.

— Что — фонарик?

— Поморзим на катер, вот и узнают.

— Нельзя.

— Знаю, что нельзя. Да бывает, что и нельзя — можно.

— А тут нельзя. Сказано — ничем себя не обнаруживать.

— Так ведь момент: мигну — Птахов враз примет.

— А что ты мигнешь?

Артюшин задумался. Но как ни вертел он слова, составляя донесение, все-таки выходило, что морзить придется далеко не «момент», а больше минуты. Кроме того, и катер должен был ответить на вызов. Этого за глаза хватало, чтобы провалить всю операцию. Он с сожалением повертел в руках фонарик и положил его на банку.

— Значит, фокус не удался. Давай дальше думать.

И он снова вернулся к мысли, как бы все-таки довести шестерку до катера. Теперь он предложил подняться против течения вдоль берега на милю. Это займет, правда, около часа, зато даст полную гарантию, что шлюпку не пронесет мимо катера. Однако, когда Хазов спросил его, способен ли он будет грести два с лишним часа подряд, не отдыхая да еще наваливаясь, так как каж-

дая минута отдыха и каждый слабый гребок означали дополнительный снос, он тут же отказался от своего предложения и выдвинул новое, прямо противоположное:

— Тогда затопим шлюпку и уйдем в горы. Авось найдем к утру партизан, майор передаст, чтобы катер пришел завтра с другой шлюпкой,— всего и делов.

Хазов помолчал.

— Не знаем мы, где их искать,— не годится. А вот насчет другой шлюпки — ты это верно.

— Что — верно? — не понял Артюшин.

— Сходить катеру за ней в базу, вот что. Вполне до завтрашней ночи может обернуться.

— Так и я про то говорю.

— Про то, да не так. Плыть надо на катер, вот как.

Теперь помолчал, соображая, Артюшин.

— Так ведь тоже снесет,— возразил он наконец.— Хуже, чем шлюпку.

— А если против течения подняться, как ты говорил? Только не по воде, а по берегу. Быстро, и не устанем.

Артюшин опять помолчал, взвешивая его слова.

— Километра полтора пройти — тогда не пронесет. Вода вот холодна.

— Быстрей поплывем — согреемся.

— Это верно. Так решили, что ли?

— Видно, надо решать,— сказал Хазов.

— Обожди. Плыть недалеко — милю, да вода холодна. На шлюпке все же вернее. Давай еще подумаем.

Они посидели молча с минуту, перебирая в уме уже отвергнутые варианты и ища новые. Вдруг Артюшин засмеялся и хлопнул себя по коленке.

— Ну и головы!.. Чего тут думать: садись на руль, а я фалинь на плечо — и рысью по берегу!

Он сказал это с такой веселой уверенностью, что Хазов невольно привстал на банке, собираясь пересесть на корму. Конечно, вернее всего было протащить шестерку вдоль берега на фалине подобно тому, как ведут на бечеве лодку против течения. Это сохранило бы и время, и силы, и самую шлюпку.

Но для этого требовалось, чтобы отлогий берег тянулся по крайней мере полтора километра. Между тем боцман, которого Решетников, по примеру Луникова, тотчас после ужина заставил хорошенько рассмотреть

карту, помнил, что галечный пляж метров через пятьсот снова переходит в скалистый берег. Пройти там пешком было можно, но тащить за собой шлюпку на коротком фалине никак не удалось бы, и грести все равно пришлось бы минут сорок.

Все это боцман немногословно объяснил Артюшину. Тот молча выскочил из шлюпки.

— Куда ты? — спросил Хазов.

— Камней наберу, а ты пока оружие вытаскивай.

Оба взялись за дело, стараясь наверстать время, ушедшее на поиски выхода. В шлюпку для верности наложили камней, потом спрятали в скалах оба автомата, гранаты и компас, чтобы завтра, если все обойдется благополучно, захватить с собой на обратном пути. Масляную лампу Артюшин вынул из нактоуза и положил на гальку в бескозырке вместе с фонариком.

Хазов вывинтил чоп — пробку в днище,— и вода журчащим фонтаном забила в шлюпку. Выскочив из шестерки, боцман сильным ударом столкнул ее на глубину под скалы.

— Как там время? — спросил он.

Артюшин зажег свой фонарик. На их военный совет, на переноску оружия и камней ушло двадцать четыре минуты.

— Долго провозились,— недовольно сказал Хазов и тут же двинулся широким шагом по берегу.— Пошли? Быстрей пойдем! И прогреемся, и время наверстаем.

Артюшин подобрал бескозырку и компасную лампу и, почти бегом догнав боцмана, подладился ему в ногу и зашагал рядом. Галька, стуча, откатывалась из-под их подошв. Боцман действительно дал хороший ход, и обоим стало тепло, потом жарко. Так они шли молча минут пять. Хазов увидел, что Артюшин несет что-то в руке.

— Ты что тащишь?

— Лампу взял из нактоуза.

— Фонаря тебе мало?

— Маслом намажемся. Я об одном проплыве читал, обязательно мазаться надо. От холода спасает. Плывешь, что в фуфайке.

Больше за все время этого стремительного хода по пустынному ночному берегу они ни о чем не говорили. Только хрустела и стучала галька, отмечая каждый их

шаг. Порой она сменялась песком, плотно укатанным волнами, и тогда идти становилось легче, ноги упруго отталкивались от него, но затем опять вязли в сыпучей массе мелкой круглой гальки. Потом все чаще стали попадаться большие камни, которые приходилось обходить, чтобы не лезть по грудь в воду, потом берег стал обрывистым и раза три-четыре пришлось карабкаться на скалы. Они снова сменились отлогим галечным пляжем, и тут боцман остановился так же решительно, как начал этот ночной переход вдоль берега.

— Сколько прошли?

— Восемнадцать минут.

— Хватит?

— Километра полтора с гаком отхватили.

Хазов повернулся к Большой Медведице:

— Давай курс, штурман.

Они легко нашли Полярную звезду. Боцман стал лицом к ней, Артюшин — спиной к его спине. Выбрав среди звезд перед собой одну поярче, которая была градусов на двадцать левее, он показал ее Хазову.

— На нее и будем держать, запомни, лоцман. Ну, на старт, что ли? До чего же неохота, братцы... Холодна же, окаянная.

Они быстро разделись. Свежий ночной воздух охватил разгоряченные тела. Артюшин, разделив пополам масло, налил его на ладонь боцману и себе. От масла стало еще холоднее. Но надо было связать одежду в узел, набить брюки галькой. В последний раз взглянув на часы, Артюшин отчаянным жестом далеко закинул в море фонарик, но часы оставил на руке, надеясь сам не зная на что.

Взяв узлы с одеждой, они вошли в воду, и вначале показалось, что в ней теплее, чем на воздухе. Дно быстро понижалось. Зайдя в море по грудь, они забросили вперед свои тяжелые узлы, и те сразу затонули. Мягкая волна зыби оторвала их от песчаного дна, и они поплыли.

Артюшин легко нашел избранную им яркую звезду и повернул прямо на нее. Боцман, держась с левой его руки, поплыл рядом. И так же, как на шестерке, они, не уговариваясь, нашли общий, наивыгоднейший для обоих ритм, так и сейчас, проплыв минуту-две в некото-

ром разнобое, то отставая, то перегоняя друг друга, оба вскоре широкими и свободными движениями поплыли голова в голову.

Помогало ли артюшинское масло или в телах их был еще достаточный запас тепла, но первое время холод окружающей их воды почти не ощущался. Они плыли брассом, самым экономным и выгодным для далекого проплыва стилем, плыли не торопясь, сберегая силы. Несколько мешала зыбь. Она приподымала их — и тогда движения затруднялись, потом мягко опускала — и тут рукам было легче разгребать воду. Наконец оба приладились и к этому.

Монотонность плавательных движений убаюкивала. Ра-аз, два-три — пауза. Ра-аз, два-три — пауза... Сто, двести, тысячу раз... Казалось, думать о чем-нибудь было невозможно, кроме этого подчиняющего себе ритма. Однако Хазов думал.

Он думал все о том же, о чем думал почти всегда и отчего на лице его было то постоянное выражение сосредоточенности или, наоборот, рассеянности, которое обращало на себя внимание всякого, кто смотрел на него. Эта постоянная, неотвязная мысль никому не была известна. Он хранил ее в себе, не делясь ни с кем, потому что никто в целом мире не мог бы помочь ему ни дружеским, ни любовным словом утешения. Она была привычна ему, как дыхание, как биение сердца. И так же как без них он не мог бы жить, так и без этого воспоминания он не мог бы продолжать жизни. Он отлично понимал всю бесполезность этой мысли, всю беспомощность воспоминания, которое никогда не может восстановить прошлого. Но вместе с тем он боялся, что настанет время, когда постоянная эта неотвязная мысль покинет его, когда воспоминание, потускнев, исчезнет, и тогда Петр действительно умрет, действительно уйдет из его жизни.

Есть люди, для которых горе — как ураган. Оно разрушает все вокруг, оно способно убить самого человека, переживающего это горе, оно делает из молодого — старика. Но, как ураган, оно проносится, и солнце вновь проглядывает на небе, и только далекий отзвук горя, с такою страстной мукой перенесенного, грохочет где-то вдали мягким рокотом ушедшей грозы. А воздух полон уже свежести, и трава, прижатая ураганом к земле, под-

нимается в необыкновенно яркой своей зелени, и жизнь возвращается — может быть, даже с большей силой.

Но есть люди, для которых горе — как осень, долгая, тяжелая, холодная осень беспросветных дней и длинных пустых ночей, лишенных сна и покоя. Горе, которое поселяется в душе по-хозяйски, надолго, с которым человек свыкается, как с непроходящей болезнью, горе, так давно потерявшее свою остроту, что его, быть может, уже и не надо называть горем. Чаще всего такое горе приживается в материнском сердце, которое не умеет забывать. Воспоминания живут в нем, подсказывая исчезнувший голос, зажигая угасший взгляд, восстанавливая тысячи мелочей, связанных с детством ушедшего ребенка, который умер совсем не ребенком. Ни с кем не говорит об этом мать, все хранит в себе, и только задумчивость или рассеянность укажут порой другим, что милое видение все живет в ее печальном сердце.

Такое непроходящее, постоянное горе и поселилось в душе Никиты Хазова. Может быть, потому, что отцовское чувство его было более материнским.

Разглядывая фотографию Петра Хазова, лейтенант Решетников подсчитал, что он никак не может быть сыном Никиты Петровича: получилось, что тот стал отцом в восемнадцать-девятнадцать лет. Между тем так оно и было. Никита Петрович (тогда еще Никитка) женился именно восемнадцати лет, женился по какой-то ошалелой, внезапной, не желающей ни с чем считаться любви. И Наташе было столько же. Никита только что кончил школу, собирался держать экзамены в училище имени Фрунзе, а она — в медицинский институт. Что и как случилось, теперь уже невозможно было ни понять, ни вспомнить. Была севастопольская весна с сиренью, цветущим миндалем, с воздухом, живительным и томящим, была юность, честная, не знающая сделок с совестью. И была любовь, цельная, уносящая, всенаполняющая. Когда выяснилось, что у них — самих почти детей — будет ребенок, Никита сказал, что надо пожениться. Она пусть идет в институт, а он будет работать — его звали на Морской завод. Ждали почему-то девочку, а родился сын. Наташа уехала в Москву, потеряв год, Петр остался на руках бабушки и самого Никиты. В тот год, когда его призвали во флот, Наташа умерла, порезав на вскрытии палец.

По-настоящему Никита Петрович узнал сына, когда тому минуло пять лет: тогда, оставшись на сверхсрочную, он стал бывать дома почти каждый день. Он таскал мальчика на катер, ходил с ним в порт, и скоро на дивизионе привыкли, что Петр целые дни проводит тут. И так же как в свое время Никита Петрович знал, что жизнь его пройдет на флоте, так теперь знал он, что сын его непременно будет флотским командиром. Все мысли и действия обоих были направлены к тому самому училищу имени Фрунзе, поступить в которое отцу сын помешал своим появлением на свет.

Петр погиб в марте сорок второго года. Он оставался в Севастополе, прибившись к морякам Седьмой бригады морской пехоты, не считая возможным для себя эвакуироваться с мальчишками. Война щадила его, хотя он был в довольно горячем месте — у Чоргуна, напрашивался в разведку, ходил в атаку с полуавтоматом. Потом начальство распорядилось отправить его на Большую землю. Дважды он убегал с кораблей, увозивших семьи и раненых. На третий раз его все-таки удалось отправить на госпитальном судне. У мыса Меганом судно это потопили торпедоносцы.

Петр тонул в такой же холодной воде, в какой плыл сейчас он. И привычная внутренняя тоска, почти не выражавшаяся вовне, теперь усиливалась ощущением этой холодной воды.

Может быть, вот так же плыл и Петр, разводя в ней тонкими, еще не окрепшими руками подростка: ра-аз, два-три — пауза, ра-аз, два-три — пауза. Но впереди у него была безнадежность. Не только невозможность доплыть до берега, но и бессмысленность этого: на берегу был враг. Что он думал, что переживал? Как он пошел на дно? Изнемогши от усталости или сознательно, бросив ненужную борьбу?

Странным образом Решетников с некоторых пор напоминал Хазову сына. Все было не похоже — возраст, характер, биография,— но было между ними что-то общее. Как будто Петр вырос и стал лейтенантом и командиром катера. Хазов долго не мог понять: что же именно? И только когда Решетников рассказал ему о «вельботе», об озере, о разговоре в степи и о туче над ней, Хазов понял, что общим у них с Петром была та еще не

осознанная, необъяснимая, почти инстинктивная любовь к морю и флоту, которая двигала их поступками. Он вспомнил, как в один из приходов катера в Севастополь отпросился на берег и нашел сына в окопике у Чоргуна. Тогда в ответ на уговоры отца эвакуироваться на Кавказ, где он сможет продолжать учиться, Петр ответил: «А флот кто защищать будет? Дядя? На корабли не пускают, так я здесь с моряками бок о бок дерусь, и сам моряк!..»

Ра-аз, два-три — пауза... Ра-аз, два-три — пауза... Конечно, через десять лет он стал бы таким, как Решетников. Такой же ершистый, самолюбивый, прямой, смелый.

— Боцман! — сказал вдруг рядом Артюшин.

Хазов повернул голову:

— Ну что?

— Знаешь, как в обозе кричат? На заднем возу хреновинка вышла, батька помер...

— Не пойму, о чем ты.

— Судорога меня прихватила, вот что. Руками плыву. Отстану.

— Хватайся за меня.

— Не. Плыви вперед. Справлюсь, доберусь.

— Хватайся, говорю.

— Слушай, боцман... Ты со мной тут прочикаешься, а катер уйдет. Ждать не будет.

— Никуда он не уйдет до самого рассвета.

— Ну да. Пождет да и даст ходу.

— Ты глупостей не говори,— сурово сказал Хазов.— Не такой у нас командир. Хватайся за шею.

— Снесет нас. Вперед плыть надо.

Хазов подплыл к нему и силком положил его руку к себе на плечо.

— Тогда погоди,— смирился Артюшин.— Дай я попробую ногу растереть. Вот тебе и масло, черт его...

Он забарахтался в воде, энергично растирая ногу. Хазов держался на месте, медленно разводя руками. Зыбь покачивала их, течение поворачивало в воде. И тогда перед глазами Хазова над водой вспыхнул большой и широкий желто-розовый свет, на миг озаривший половину неба над берегом. Потом по воде докатился плотный гремучий звук взрыва.

— Что это? — спросил Артюшин.

— Твоя хлопнулась. Завтра чисто в бухту входить будем,— спокойно ответил Хазов.— Ну, подправился?

— Погоди, сейчас.

Все еще держась за его шею, Артюшин сделал несколько движений ногой, потом отпустил Хазова.

— Порядок! Полный вперед! Ложусь на курс!

Он повернул снова на избранную им звезду и опять оба вошли в одинаковый, выгодный для обоих ритм: ра-аз, два-три — пауза, ра-аз, два-три — пауза. Зыбь подымала и опускала их так же, как еще недавно подымала она и опускала в бухте большую тупоголовую мину, пока на каком-то стотысячном подъеме не поднесла ее к мелкому месту и не опустила на подводный камень. Собственным своим весом мина произвела необходимый толчок ударного приспособления и взорвалась, никому не причинив вреда.

Сколько времени они плыли, ни тот, ни другой сказать бы не мог. Не признаваясь друг другу, они уже начинали отчаиваться. Видимо, расчеты их оказались неверны и их уже пронесло мимо катера. Но они упорно двигали руками и ногами в этом монотонном, почти безнадежном ритме: ра-аз, два-три — пауза, ра-аз, два-три — пауза. Безмерная усталость сказывалась на сердце, на дыхании, на мышцах.

И тогда боцман сказал, словно невзначай:

— На катере, пожалуй, больше нас переживают. Мина-то в самой бухте хлопнула, на нас подумали. Надо доплыть, Степан, а то никто ничего не поймет. И бухту загубят. А она правильная.

Эту длинную для пловца речь он произнес по крайней мере в десять приемов. Артюшин ответил короче:

— Факт, надо. Мы и плывем.

Они проплыли еще минуты три, и вдруг Артюшин заорал так громко, как только можно заорать в воде:

— Боцман, вижу! Зеленый ратьер вижу! Провались я на этом месте, вижу! Братцы, что же это делается? Вижу! Гляди правее, вон туда!

Хазов рывком выбросил плечи из воды и тут же увидел зеленую точку. Она светила на самом краю воды, до нее, казалось, было безмерно далеко, но она светила!

Они повернули на нее. И тут оказалось, что она совсем не так далеко. Зыбь приподымала их, и всякий раз

зеленая точка сияла им верным светом надежды и спасения. С каждым движением рук они приближались к ней, к катеру, к теплу, к продолжению жизни.

Теперь, когда великий их воинский долг был выполнен, когда самым появлением своим они вносили ясность в запутанную обстановку бухты Непонятной, когда важнейшее задание, имеющее государственное военное значение, было обеспечено, они думали о том, о чем до сих пор ни у одного из них не мелькнуло и мысли: что они спасены, что они не утонут, что в этом громадном ночном море они не проскочат мимо крохотного катерка, стоящего в нем на якоре. Время пошло в тысячу раз быстрей. Они не успели опомниться, как зеленый огонь достиг нестерпимой яркости и руки их коснулись благословенной, желанной твердости борта. И тут Артюшин не удержался.

— На катере! — закричал он слабым голосом. — Прошу разрешения подойти к борту!

На палубе зашумели, раздался топот многих ног, потом послышался тревожный голос Решетникова:

— Оба здесь? Боцман где?

— Здесь, товарищ лейтенант!

Сильные руки вытянули их на борт.

Через минуту блаженное тепло охватило их иззябшие тела. Остро пахло спиртом: видимо, их растирали. Хазов поймал чью-то руку, больно царапавшую кожу на груди.

— Командира позови...

— Здесь я, Никита Петрович, слушаю.

— Товарищ лейтенант, в бухте все в порядке... Течение, не выгрести... Надо идти в базу, взять другую шлюпку... Завтра проведем туда... Мина была... Взорвалась... Чисто...

— Понятно, Никита Петрович, сделаю.

Но Хазов уже ничего не слышал. Сознание его провалилось в мягкую, но сухую и теплую бездну. «Ра-аз, два-три — пауза... Ра-аз, два-три — пауза...»

Решетников вышел на палубу из отсека среднего мотора, куда внесли боцмана и Артюшина. Полной грудью вдохнув свежий воздух, он громко скомандовал:

— Радиста ко мне! На мостике! Выключить зеленый луч!

1943—1953

МОРСКАЯ ДУША

Рассказы





КРОШКА

Когда в отряд прибыло пополнение в шесть лошадей, присланных из Кронштадтского порта, капитан Розе окончательно расстроился.

Три месяца назад, при формировании этого балтийского берегового отряда, капитан Розе, читавший в Школе оружия курс двигателей внутреннего сгорания, никак не мог предполагать, что превратится из техника в хозяйственника. Пока он занимался автотранспортом — все было привычно и понятно. Но когда пришли на фронт и отряд продолжал расти, когда завернули эти необыкновенные морозы и целый подземный городок вырос в заснеженном лесу — как-то само собой получилось, что именно на капитана Розе свалились все хозяйственные заботы. Командир отряда, бывший балтийский матрос, в

свое время повоевавший «на сухом пути» — под Царицыном и под Перекопом,— все чаще и чаще поручал ему разные снабженческие дела и наконец однажды вечером вызвал его в землянку и жестоко распушил за невкусный борщ. Капитан Розе изумился, но, решив, что комбригу виднее, кто за что должен отвечать, побежал к походным кухням и тотчас собрал коков на совет: что делать, чтобы картошка не мерзла и не гадила борща? И когда в очередном приказе было уже прямо сказано: «Начальнику тыла капитану Розе обеспечить...» — капитан философски решил, что кому-нибудь в отряде надо же быть этим начальником.

Но лошади вывели его из себя. Все-таки между автотранспортом и картошкой была какая-то логическая связь: картошку привозили на его машинах — значит, он должен был не только довезти эту картошку до лагеря, но, так сказать, довести ее и до бойца, то есть сберечь от порчи, сварить и раздать, для чего нужно было позаботиться и о дровах, и о соли, и о мастерстве коков. Но лошади?!

Было ясное морозное утро. Из землянок тянулся легкий дымок, и снег, нависший на ветвях, таял и капал, сразу же превращаясь в лед. У гаража, образованного парусиновым обвесом меж елей, стояли возле машин шесть загадочных существ, заиндевевших и мохнатых.

— Нет, вы подумайте, так на мою голову еще и лошади! — восклицал капитан Розе.— Ну что мне лошади и что я им? Может быть, кто-нибудь покажет, куда в них наливать горючее? И где я построю им гараж? Они же лопнут на этом проклятом морозе; это же не машины, чтобы из них выпускать на ночь воду!..

Тут стоявший впереди огромный серый битюг вкусно фыркнул и ткнулся носом в карман капитанского полушубка.

— Нет, вы посмотрите, оно уже хочет кушать! — в отчаянии воскликнул капитан и, достав из кармана горбушку, протянул битюгу, который и зажевал ее с видимым удовольствием.— Ну чем я буду тебя кормить, дорогая крошка?.. Вы не знаете случайно, товарищ Андреев, они консервы кушают? Или, может быть, как-нибудь проживут на одном хлебе?..

В шуточном отчаянии капитана сквозило, однако,

серьезное беспокойство. Лошади были голодные, усталые от долгого перехода по снегам, и, как ни велико было отвращение техника к этому виду транспорта, надо было все же немедленно «поставить их в человеческие условия», как выразился капитан Розе. А для этого надо было найти людей, которые понимали бы толк в этих чуждых флоту и технике существах. И когда в ответ на призыв капитана вперед вышел комсомолец Савкин, один из лучших учеников в Школе оружия, готовившийся стать штурманским электриком, капитан Розе облегченно вздохнул и пошел с докладом к комбригу, не удержавшись, впрочем, от совета Савкину обращаться с битюгом осторожно, «чтобы не устроить где-либо в нем короткого замыкания...».

Комбриг лежал в своей землянке больной. На его стареющем, но еще крепком теле было уже тринадцать ран, полученных в гражданской войне и в амурских боях 1929 года. Теперь к ним прибавилась четырнадцатая. Она, правда, совсем затянулась, но нога плохо работала, и комбрига опять лихорадило. Поэтому капитан Розе снова отложил давно намеченный крупный разговор о том, что он — техник и преподаватель двигателей внутреннего сгорания — не может, не умеет, наконец, просто не хочет быть «начальником тыла» и что он просит поручить ему командование приданными отряду танками. Он ограничился докладом о прибывших лошадях и о Савкине, которого просил утвердить в должности «флагманского конюха», дав ему в помощь пять краснофлотцев «такого же лошадиного склада мыслей», и добился своими шутками того, что комбриг повеселел и выпил горячего чая. Потом, плотно укутав больного, он вышел из землянки, строго приказав часовому со всеми вопросами посылать к нему и не беспокоить комбрига.

Так штурманский электрик Савкин стал «флагманским конюхом» балтийского отряда.

В лесу выросла конюшня, сложенная из тонких елей, на которые набросали ветви. В аккуратных стойлах появились фанерные дощечки с надписями: «Линкор», «Торпеда», «Мина», «Компас», «Ураган». Так по-флотски окрестил Савкин безыменных друзей. И только над огромным битюгом висело мирное слово «Крошка» — в память первого знакомства капитана Розе с лошадьми.

Крошка стал любимцем Савкина. Быстро отъевшись на овсе (для которого «флагманский конюх» с боями вырывал у капитана Розе место в очередной машине), могучий серый конь стал гладким, веселым и не отказывался ни от какой работы. А работы хватало. «Лошадиный дивизион» принял на себя и подвоз снарядов на передовые батареи, где машины вязли в снегу, и доставку бойцам на передний край позиции горячего борща в двухведерных термосах, бережно привозил из боев раненых, волоком тащил по снегу лес для новых землянок, и даже как-то сам капитан Розе, прикрывая смущение шутками, поручил Савкину вызволить из заноса грузовик, застрявший в лесу,— и шесть нормальных лошадиных сил дружно сдвинули с места тяжелую машину вместе с ее пятьюдесятью условными лошадьми, замерзшими в ее моторе.

Пошептавшись однажды с разведчиками-лыжниками, Савкин заложил Крошку в розвальни и затрусил в лес. Два дня Крошка таскал неведомо откуда бревна, доски, двери и кирпичи, и скоро в отряде появилась настоящая баня. Это был домик лесника, каким-то чудом уцелевший от поджогов. Его распилили на месте. Крошка перевез на себе весь сруб, и баня распахнула перед балтийцами свои горячие желанные двери. Честь париться первыми была предоставлена капитаном Розе «флагманскому конюху» и лыжникам, отыскавшим домик. Они принесли в баню больного комбрига, и тогда состоялось торжественное открытие «Дворца культуры». В бане же комбриг пригласил Савкина и лыжников к себе в землянку пить чай, и там за столом Савкин внес еще одно предложение по лошадиной части.

В десяти километрах по льду от берега выдавался в море мыс — правый фланг укрепленной финской позиции. Перед ним в торосах залегли балтийцы. Уже третий день они лежали на льду, прячась в торосах от меткого огня снайперов, которыми кишел весь прибрежный лес и которые не давали возможности перебраться на берег по открытому голому льду. Третий день балтийцы были без горячего супа, потому что лыжники могли по ночам приносить им лишь маленькие термосы с какао, заботливо сваренным капитаном Розе. Савкин предложил попытаться доставить им суп, а заодно и запас патронов, которых Крошка сможет взять любое количество.

Комбриг внимательно посмотрел на Савкина, разглядывая его. Ладный и крепкий юноша с простым веснушчатым лицом, несколько смущаясь, продолжал говорить. Оказывается, он все уже подсчитал и прикинул: луна заходит в начале ночи, стало быть, до рассвета он поспеет к торосам. Там он положит Крошку за большую льдину, чтобы его не пристукнул снайпер, переждет день и ночью вернется. А что до того, что на льду нет санной дороги, то Крошка дорогой не интересуется, вывезет и по брюхо в снегу любой воз...

Комбриг смотрел на Савкина, и перед ним вставали давние дни, когда в сугробах Донбасса балтийские моряки так же за кружкой чая спокойно обсуждали боевой день. Юноша-комсомолец, молодой краснофлотец, чем-то напоминал тех, прежних... В повадках его, в жестах и в разговоре не было и тени крутого матросского нрава. Глаза, еще по-юношески ясные, были совсем другими, чем усталые и гневные глаза тех людей, которые прошли тяжелую царскую службу, пережили четыре года войны и вновь по своей охоте ринулись под пули и снаряды в неведомые флоту степи и леса. И самый тон его, сдержанный и спокойный, ничуть не был похож на соленый и резкий разговор старых балтийцев.

Но в нем жило то, что в академии называлось «волей к победе» и что сам комбриг называл «боевым упорством», «балтийским упрямством» или — по-давнему, по-матросскому,— «марсофлотством».

Собственно, ничего особенного Савкин не предлагал. Ну, какое геройство было в том, чтобы подвезти на лошади по льду термосы с супом и цинки с патронами? Но, вглядевшись в его глаза, где сидело это самое «марсофлотство», комбриг понял, что суп — это только разведка, что Савкин задумал другое, о чем пока не говорит, и что этот юноша из тех, кто найдет выход из любого положения, кто пойдет сам и поведет за собой людей куда угодно.

— Ну, вези борщ, балтиец,— сказал он, называя его словом, которое у него означало высшую похвалу.— Вези, вези... я тебя насквозь вижу!.. Адъютант, начальнику тыла сказать, что борщ мировой был!

И ночью Савкин выехал с борщом на лед. Десять лыжников сопровождали розвальни. Савкин направлял

Крошку по их лыжням, как бы стараясь расширить полозьями эту узкую дорогу, но Крошка то и дело проваливался в снег по брюхо.

Невнятная, неясная мгла висела над заливом, белое марево снега и луны. Где-то далеко ухали залпы, порой в небе, шурша, пролетал над головой снаряд. Потом луна зашла, и к этому времени Крошка задымился, тяжело поводя боками. Савкин дал ему передохнуть, лыжники разобрали по рукам концы, которыми прихвачены были к розвальням термосы, цинки с патронами и тюк с газетами, подкинутый начальником тыла, и впряглись в сани, помогая Крошке. Уже светало, когда из снега донесся крик:

— Пропуск?

Это был секрет перед торосами...

Через сутки Савкин вернулся, привезя трех тяжело раненных снайперскими пулями. Он тотчас же прошел к комбригу, и тот понял, что не ошибся: борщ был только разведкой — разведкой пути и силы Крошки. Настоящее дело начиналось теперь.

Ночью с берега на лед съезжала тройка. В корню был Крошка, в пристяжке — сильный Линкор и выносливая Торпеда. В розвальнях было, очевидно, что-то потяжелее, чем борщ, потому что полозья, несмотря на дважды прокатанную Крошкой колею, вязли в снегу, и вся тройка задымилась далеко до того места, где в первую ночь остановился Крошка. Но Савкин на этот раз не щадил коней, понукая их, дергал вожжи, и тяжелый воз все ближе и ближе подходил к торосам.

Там его ждали. Неслышно и быстро распаковали воз. Тускло блеснула в рассветной мгле сталь. Тупое рыльце орудия хитро выглянуло из рогожи.

Орудие появилось на льду, перед самым лесом,— орудие, которого враг не мог ожидать!

Его собрали, лежа за льдинами, потому что снайперы, еще не видя в неясной мгле цели, но услышав возню, не давали приподыматься над торосами. Савкин заботливо повалил на льдину сперва Крошку, потом и остальных двух коней. Торпеда заупрямилась, и Савкин возился с ней, негромко приговаривая: «Ложись же, дура, подстрелят», когда рядом с ним рявкнул звонкий орудийный выстрел, потом другой, третий... Торпеда испуганно взмет-

нулась и встала во весь рост, но стрелять по ней уже было некому...

В прибрежном лесу, кишевшем на каждом дереве снайперами,— этим тайным, скрытым, невидимым врагом,— теперь свистела между ветвей шрапнель прямой наводки. Орудие, привезенное Савкиным, в упор било по лесу. Шрапнель стряхивала с елей пласты снега, подсекала суки, сшибала, как яблоки, закутанных в белое людей с автоматами.

— Один! — крикнул Савкин, забыв про Торпеду.— Еще один! Третий!..

В трехстах метрах от торосов падали на снег под сосны неподвижные фигуры.

В лес, освобожденный от снайперов, кинулись балтийцы. Они перепрыгивали через торосы, бросались в снег и ползли к берегу, достичь которого не могли все эти четверо суток. Уже слышны были взрывы ручных гранат — бойцы добрались до проволоки; уже яростно загремели пулеметы дотов, лишенных передовой своей охраны — снайперов. Савкин схватил винтовку, лежавшую возле раненого, и кинулся было на лед, но, вспомнив, крякнул и вернулся к коням.

— Вставай, Крошка, поехали обратно, такая уж у нас работа — и повоевать нельзя!..

Он подобрал четырех раненых, мягко уложил их в санях на солому, где только что лежало орудие, сейчас осыпавшее шрапнелью окопы перед дотами, и поехал к отряду.

Розовый и морозный, вставал над замерзшим морем рассвет. Сразу же у торосов Савкин встретил на льду первую группу лыжников-краснофлотцев, подальше вторую, за ней третью — и так до самого своего берега он ехал, как по людной улице. Уже показалось солнце, веселые и ясные его лучи освещали разгоряченные и серьезные лица друзей, и по коротким их возгласам Савкин понял, что отряд вышел на лед еще задолго до первого выстрела орудия, доставленного им в торосы. Видно, крепко поверил комбриг в выдумку своего «флагманского конюха», что бросил вслед за ним балтийскую силу, чтобы использовать прорыв правого фланга и ударить в тыл этим мрачным, скрытым в земле вражеским дотам. Видимо, понял это и враг, потому что все чаще вставали

на льду тяжелые черные столбы разрывов крупных снарядов, и на чистой пелене снега темными озерками сияла вода. Но балтийцы все шли и шли, мерно и неостановимо, и над их головами, шурша и воя, неслись туда, за торосы, наши снаряды, расчищая им путь в тыл и фланг врага...

Через три дня весь балтийский лагерь со своими лазаретами, кухнями, гаражами и машинами снялся с якоря, чтобы продвинуться вперед. «Лошадиному дивизиону» снова пришлось жарко, а Крошка и Савкин приказом капитана Розе были откомандированы в распоряжение комбрига, который все еще не мог ходить. То и дело в лесу раздавалась странная команда: «Флагманский катер к трапу!» — и Савкин, лихо развернувшись меж сосен, подавал «катер», то есть розвальни, заботливо устланные полушубками. Комбрига переносили в сани, и Крошка пробирался по тропам или целине к переднему краю.

Однажды «флагманский катер» возвращался с переднего края. В этот день было очередное передвижение лагеря. Лесная дорога была сплошь забита машинами и людьми, возами и танками. Саперы спешно строили мост через оборонительный ров перед разбитой и уничтоженной линией дотов, и весь огромный караван тыла вытянулся по дороге. Комбриг приказал проехать к строящемуся мосту.

Дорога, черная и накатанная, здесь обрывалась, и на белом снегу виднелись лишь следы краснофлотцев-минеров. Савкин придержал Крошку. Впереди медленно шли краснофлотцы, держа в руках легкие бамбуковые палки и водя ими перед собой. Могло показаться, что они удят в снегу рыбу. Гибкие палки размеренно описывали в воздухе широкие полукруги, и время от времени кто-либо из краснофлотцев становился на колени и осторожно разгребал руками белую пушистую пелену снега. Через минуту в руках его блестела медная маленькая трубка. Это был запал мины, теперь обезвреженной, и тогда из-под снега доставали круглую металлическую коробку, в которой была законсервирована смерть.

Вся дорога была минирована. Мины были хитрые: они были способны выдержать тяжесть человеческой ноги, но обязательно взрывались под тяжестью танка или машины.

Крошка нетерпеливо фыркал, ожидая, когда люди с

удочками двинутся вперед, и охотно шел вслед за ними. Комбриг дал указания и приказал ехать обратно.

Колонна танков и грузовиков уже шла навстречу, медленно подминая пушистый снег, в котором зияли черные ямы от вынутых мин. У большой сосны комбриг остановил свой «катер», и Крошка уткнулся мордой во встречный танк.

Солнце празднично освещало заснеженный тихий лес, где-то плотно и бодро гудели орудия, и казалось странным, что три-четыре дня назад здесь на каждом шагу подстерегала смерть. Она таилась везде — в минах, в амбразурах дотов, теперь разрушенных и немых, на каждом дереве. Сейчас здесь кипела жизнь, раздавались громкие голоса, шутки, смех — и одно нетерпеливое стремление вперед и все вперед, к новой линии дотов, к новым трудным и славным победам увлекало всю массу людей. Но краснофлотцы с удочками еще не окончили работы, впереди могли еще лежать под снегом, тайно и коварно, металлические ящики со смертью, и комбриг задержал колонну. Приподнявшись в санях, он крикнул, чтобы нашли начальника тыла, и Савкин из разговора комбрига с командиром танка понял, что капитану Розе сильно попадет за то, что он выслал с удочками мало людей.

Капитан Розе скоро появился. Он ехал на велосипеде, изумляя всех (и, вероятно, самого себя) таким странным способом передвижения по снегу. Это был подобранный им на дороге велосипед, ободранный и погнутый, без шин и покрышек, но отлично пробиравшийся по накатанной колее и сохранявший начальнику тыла немало времени в его бесконечном мотании вдоль колонны. Крошка покосился на велосипед, фыркнул и рванулся вправо, высоко взметнув передние ноги. Савкин, невольно засмеявшись, натянул вожжи, но внезапно плотный и тяжкий звук ударил ему в уши, черный столб встал перед глазами, горячий удар сбросил его в сани прямо на комбрига, и, когда выдохнув из легких ядовитый сладкий дым, он открыл глаза, Крошки перед ним не было.

Рядом на дороге ничком лежал капитан Розе, сброшенный с велосипеда, комбриг ворочался в санях под Савкиным, но стонов его тот не слышал, потому что в ушах гудело и выло. Савкин соскочил с саней, потряс головой и, убедившись, что все в порядке, поправил на по-

лушубках комбрига. Тогда и капитан Розе поднял голову, не понимая, что произошло. Командир танка протирал глаза, засыпанные землей. Все были целы, кроме Крошки.

Оглядевшись, Савкин увидел на снегу шагах в тридцати распластанную серую шкуру огромного битюга. Она лежала, отбросив в сторону пышный хвост, и было похоже, что мастер своего дела тщательно освежевывал коня, выделывая шкуру. Все остальное, что составляло крупный и могучий организм коня, висело на ветвях сосен и елей, подброшенное силой взрыва. Так рвались эти мины — все вверх и ничего в стороны.

К месту взрыва бежали саперы. Комбриг, морщась и потирая ногу, растревоженную падением Савкина, укоризненно смотрел на них.

— Что ж, прошляпили, рыболовы? — сказал он недовольно.— Товарищ капитан, что же у вас так?

Капитан Розе опять, как и с борщом, почувствовал себя виноватым. Война снова меняла его специальность, и теперь приходилось думать об удочках и минах. Он нагнулся над ямой, поковырял ее и потом поднял голову.

— Они ни при чем, товарищ комбриг,— сказал он, показывая обломок доски.— Мина не металлическая. А на дерево наши удочки еще не обучены... Надо все сначала думать...

Была ли это очередная хитрость врага или у финнов уже кончился запас мин, аккуратно заделанных в металлические коробки, они вынуждены были прибегнуть к кустарной выделке, но мина действительно была в деревянном ящике. И первым обнаружил это Крошка.

Колонна задержалась. Капитан Розе, командиры и краснофлотцы-минеры стояли у развороченных оглобель, из которых вылетело на сосны тело Крошки, и между ними пошел серьезный разговор о деревянных минах и о том, как их находить. Савкин плохо слышал, в ушах у него все еще гудело, и он смотрел в сторону, туда, где на снегу лежала распластанная шкура Крошки. Потом он вздохнул и пошел разыскивать Торпеду, чтобы отремонтировать «флагманский катер», лишенный своего могучего двигателя. Он нашел Торпеду за шестым грузовиком и начал убирать из розвальней поклажу.

— Спасибо Крошке! — сказал Андреев, хозяин Торпеды.— Боевой был коняга!

— Боевой,— ответил Савкин, и тяжелая военная грусть легла на его сердце, как будто он потерял в бою испытанного и верного боевого друга.

Колонна медленно двинулась. Краснофлотцы-минеры второй раз проходили перед ней дорогу, очищая ее от новых, невиданных мин, обнаруженных Крошкой — флагманским конем берегового балтийского отряда.

1940

СВОЕВРЕМЕННО ИЛИ НЕСКОЛЬКО ПОЗЖЕ...

Решающий участок боя был на крайнем правом фланге, там, где, ворча, кипела большая кастрюля.

В этом бою с ожившей камбузной утварью, которая ползала, прыгала и металась по плите, норовя выкинуть все свое содержимое на палубу, Алексею Сухову, коку-призовику подлодки «Щ-000», удалось одержать ряд немалых побед. Тесто и фарш, по природе своей лишенные маневренных способностей, уже томились в горячем плену духовки, превращаясь в румяные пирожки. Грудой поверженных тел громоздились на противне готовые котлеты. И даже зловредная кастрюлька с соусом, носившаяся, как маленький торпедный катер, по всей плите, была ловко загнана в угол и прижата огромным чайником, могучую броню которого она теперь таранила яростно, но тщетно...

И только большая кастрюля не сдавалась.

Плотно вставленная в свое гнездо на плите, она в точности повторяла за лодкой то беспорядочное перемещение воды, которое называется качкой, и плескавшийся в ней кипяток бушевал совсем так, как и море за бортами подлодки. Сталкиваясь и взвихриваясь, маленькие и горячие волны били в стенки кастрюли, и стоило лишь приподнять крышку, как яростный всплеск обжигал пальцы и добрая половина содержимого кастрюли оказывалась на плите. Сухов с проклятием отскакивал, белый пар, шипя, заволакивал тесный камбуз и, вырвавшись из двери, сразу же оседал на переборке блестящими каплями,— из

центрального поста тяжелой холодной волной тянул морозный воздух. Там было очень холодно: лодка, шедшая под дизелями, дышала через открытый люк.

Но еще холоднее было на мостике. Стылая декабрьская Балтика расшумелась вовсю, не видные во тьме волны швыряли лодку без всякой пощады и системы, и ледяной ветер порой срывал гребень с высокого вала и хлестал им из мрака по сигнальщику и по командиру. Мгновенно захватывало дух, и тогда капитан-лейтенант приседал и крякал, а сигнальщик молча обтирал лицо замерзшей перчаткой.

Поход был внезапен. Лодка недавно вернулась из тяжелой и длительной боевой операции, и ей был обещан заслуженный отдых. Уже готовились к встрече Нового года, уже прикупили к пайку мандарины, конфеты, отборные консервы, утром началось повальное глаженье брюк, но все это было прервано приказом. Надо было немедленно выйти в далекий район.

И вот уже целый день лодка шла по зимнему штормовому морю, и часы показывали двенадцатый час ночи, и в тесном камбузе призовой кок Алексей Сухов сочинял мировой новогодний ужин.

Гвоздем ужина должен был быть задуманный Суховым компот с выразительным названием: «А все-таки Новый год!» Основой его были мандарины, которые в спешке сборов захватили с собой на лодку почему-то все командиры и краснофлотцы. Мандаринов оказалось столько, что расправиться с ними можно было только при помощи компота. И вот лежали они в миске, борясь своим тонким и свежим ароматом с душным запахом теплого масла и горючего, наполнявшим лодку, и добровольные помощники уже принесли тщательно срезанную тонким пластом розовую их кожу, а проклятую кастрюлю никак нельзя было открыть.

Сухов нервничал, поглядывая на часы.

Сгрудившиеся у двери «помощнички» с притворным участием давали советы один ехиднее другого: кто предлагал налить в кастрюлю масла, основываясь на его свойстве укрощать бушующие волны, кто изобретал сложную механическую кастрюлю с сеткой, которая якобы удержит всплески, а кто попросту советовал оставить кипяток только на донышке, ввалить в кастрюлю ман-

дарины, посолить, поперчить, протушить — и подавать под названием «штормовая запеканка».

Разъяренный Сухов захлопнул дверь и в раздумье стал перед кастрюлей, болтаясь вместе с ней и с лодкой. Так его застал капитан-лейтенант, спустившийся с мостика погреться.

— Ну-ка горяченького, товарищ Сухов,— сказал он, разматывая обледеневший шарф.— Как у вас дела?

— Плохо, товарищ капитан-лейтенант,— хмуро ответил кок, ловко взрезая булку и всовывая в нее сочную, истекающую маслом котлету. Он положил ее на тарелку и потом налил в кружку ароматный крепкий кофе. Командир торопливо отхлебнул два глотка и с радостью почувствовал, как тепло входит в его промерзшее тело.

— С чем плохо? — спросил он, потянувшись к тарелке.

Сухов, вздохнув, собрался было признаться, что плохо с компотом, как вдруг лодку резко швырнуло и накренило, миска с мандаринами поползла к краю стола, и Сухов едва успел ее подхватить. Тарелка, как снаряд, вылетела из-за миски и со звоном разбилась на палубе, а кофе в командирских руках наполовину выплеснулся из кружки, облив кожанку.

— Так,— сказал капитан-лейтенант, с огорчением глядя на погибшую котлету.— Вижу, что плохо. Удивительно, как это вы кофе ухитрились сварить. Как же мы столы накроем?

Он допил остатки и протянул кружку за добавкой.

— Отставить Новый год,— сказал он решительно.— Этак у вас весь кофе выплеснет. Раздавайте сейчас ужин, товарищ кок, пусть едят по способности. А вам еще придется поработать. Новый год все-таки встретим... своевременно или несколько позже... Утром встретим — понятно?

— Понятно, товарищ капитан-лейтенант,— ответил Сухов, повеселев.

В самом деле, все было понятно. С рассветом лодка, опасаясь быть обнаруженной противником, все равно должна будет уйти на глубину. А глубина в шторм — самое милое дело: не мотает, не качает, можно и стол накрыть как следует, и тост сказать. А самое главное — этим неожиданным переносом Нового года была спасена честь призовика-кока: на глубине не только компот мож-

но сделать... Сухов хитро посмотрел на проклятую кастрюлю и выключил ток.

Кофе уже выпили «по способности», то есть полулежа или скрючившись, зажавшись между стойками, и котлеты были уже уничтожены, когда репродуктор наполнил лодку родным и знакомым шумом Красной площади. Командир спустился в центральный пост, где была переговорная труба, проведенная во все отсеки.

Шум площади прорезался звучным перезвоном курантов, потом гулко ударили часы Кремлевской башни. А через открытый люк доносились тяжкие удары волн и свист ветра. Мокрый и обледеневший капитан-лейтенант выждал последний удар часов и потом сказал в переговорную трубу:

— Второй боевой смене заступить! С Новым годом, товарищи краснофлотцы, командиры и политработники, с новыми боями за родину.

Он помолчал и потом добавил:

— Объявляю приказ по лодке: ввиду особых условий перенести встречу Нового года с ноля на девять ноль-ноль первого января. Части снабжения обеспечить нормальную встречу, личному составу побриться.

Он потрогал подбородок, подумал, но снова поднялся на мостик, в мокрый и морозный мрак. Там он вынул свисток из переговорной трубы, приложил ухо к ее холодному зеву и, вздрагивая от ледяных брызг, долго слушал, как в лодке победно и могуче звучит «Интернационал».

Мутная мгла рассвета отделила наконец воду от неба. Оно проявилось нежно светлеющей на востоке полосой, и скоро серые тусклые волны обозначили свои горбы и провалы. Вода показалась еще холоднее и ветер — пронзительнее. Не раз сменялись на мостике сигнальщики, не раз выходил помощник подсменить командира, и наконец капитан-лейтенант скомандовал: «К погружению!»

К этому времени Сухов сбил из сгущенных сливок некоторое подобие крема. И едва лодка, покачавшись последними замирающими размахами, твердо установилась на спокойном подводном курсе, он зарядил упрямую кастрюлю мандаринами и принялся за «скульптуру». На выпеченном за ночь торте появилась маленькая подлодка из крема — точная копия родной «щуки» — и новогодняя

надпись. И когда озабоченный помощник командира, пахнущий одеколоном, в чистом воротничке, заглянул в камбуз — у Сухова было все готово.

В носовом отсеке тесно, но уютно накрыли стол, и помощник пошел будить капитан-лейтенанта, прилегшего на часок отдохнуть. Тогда у стола появились врач и Сухов. Хитро улыбаясь, они несли настоящее шампанское вместо штатного подводного портвейна: это был заботливый подарок порта лодке, уходившей в море под Новый год. Сухов поставил бутылки, взял в руки поварешку и большую кастрюлю и приготовился отбить по знаку штурмана двенадцать мерных ударов, а политрук занес мембрану патефона над диском «Интернационала»...

В восемь часов пятьдесят восемь минут в отсек вошел капитан-лейтенант, свежий, выбритый, праздничный, скомандовал «вольно» и протянул руку к серебряному горлышку красивой бутылки. Звонкий веселый хлопок пробки готов был раскатиться по лодке... Но вдруг извне грохнул тяжелый глухой удар. Лодка покачнулась. Две лампочки потухли. Тревожным прерывистым воем залились резкие звонки — и смолкли. Тишину нарушил быстрый топот ног, короткие команды, с металлическим стуком захлопнулись водонепроницаемые двери, и в лодке все замерло. Только жужжали моторы да звучно щелкали указатели рулей. Лодка заметно наклонилась носом, жужжание моторов усилилось — направляемая рулем, она полным ходом шла на глубину, резко меняя курс.

Ударил второй взрыв, лодка содрогнулась, два стакана, звеня, упали с праздничного стола. В черном провале переговорной трубы раздался спокойный голос капитан-лейтенанта:

— Глубинные бомбы. В отсеках осмотреться!

Осмотрелись: корпус выдержал, швы нигде не пропускали.

«Щука» быстро уходила на предельную глубину. Потом моторы сбавили обороты, чуть ощутимо качнул лодку мягкий толчок, моторы стихли, и лодка легла на грунт.

Все слабее, все дальше звучали взрывы. Видимо, гидрофоны противника потеряли замолчавшую лодку, и враг швырялся теперь бомбами лишь для очистки совести. Но молчание и тишина в лодке не нарушались.

Акустик последовательно докладывал, что шум винтов удаляется, что он едва слышен, что гидрофоны не слышат ничего. Тогда капитан-лейтенант скомандовал:

— Боевой тревоге отбой. Личному составу собраться в носовом отсеке. Говорить вполголоса. Будем встречать Новый год, пока есть время.

И в носовом отсеке собрались все, кого боевая служба не задержала у механизмов. Шампанское открывали с такой осторожностью, будто разоружали боевую мину,— медленно вытаскивая пробки, чтоб не наделать шума: противник мог быть и над головой. Благородное советское вино празднично шипело, вздымаясь легкими веселыми пузырьками. Капитан-лейтенант поднял свой стакан.

— Товарищи, боевые друзья! — сказал он тихо и обвел глазами краснофлотцев и командиров.

Они стояли перед ним плотной живой стеной — спокойные и веселые люди, как будто эта необычайная встреча Нового года происходила не на дне моря под пристальным и чутким слухом врага.

Особым — военным — блеском сверкало вокруг них сложное и могучее подводное оружие, выстроенное новым поколением советских людей. Торжественную тишину нарушало только тиканье часов над торпедными аппаратами. Капитан-лейтенант взглянул на стрелки и вдруг широко улыбнулся.

— Своевременно или несколько позже,— сказал он.— Одиннадцать часов тридцать семь минут. Докатился и до нас Новый год... Велика наша родина, товарищи! Самому земному шару нужно вращаться девять часов, чтобы огромная наша Советская страна вся вступила в новый год своих побед... Будет время, когда ему понадобится для этого не девять часов, а круглые сутки. Потому что каждый наш год — это ступень к братству народов всего земного шара...

Он остановился в раздумье и снова посмотрел на часы.

— Несуразное время, и точно... Девять раз встречали Новый год сегодня в Советском Союзе, начиная с Тихого океана и кончая родной Балтикой, а вот нам привелось встречать его в десятый. И кто знает, товарищи, как приведется нам встречать Новый год через пять, через де-

сять лет? По какому поясу? На каком новом меридиане? С какой новой страной, с каким новым народом будем мы встречать Новый год, если будем так же крепко беречь родину нашу, где для всего человечества зреет и крепнет счастье? За мужество, за верность партии, за родину, за победу над врагом!

— Ура!..— вполголоса ответили краснофлотцы, и тотчас где-то около торпедных аппаратов возник «Интернационал».

Его пели чуть слышно, потому что вода могла передать звук в растопыренные сторожкие уши вражеских гидрофонов там, наверху. Но этот сдержанный голос боевого коллектива звучал единой могучей волей балтийских подводников, звучал как клятва в верности родине, верности до последнего вздоха.

1940

НОЧЬ ЛЕТНЕГО СОЛНЦЕСТОЯНИЯ

Пора было спуститься поужинать, но старший лейтенант оставался на мостике, вглядываясь в дымчатый горизонт балтийской белой ночи.

Высокий светлый купол неба, где мягко смешивались нежные тона, легко и невесомо опирался на гладкую штилевую воду. Она светилась розовыми отблесками. Солнце, зайдя, пробиралось под самым горизонтом, готовое вновь подняться, и просторное бледное зарево стояло над морем, охватив всю северную часть неба. Только на юге сгущалась над берегом неясная фиолетовая дымка. Наступала самая короткая ночь в году, ночь на двадцать второе июня.

Но для тральщика это была просто третья ночь беспокойного дозора.

Тральщик крейсировал в Финском заливе, обязанный все видеть и все замечать. Здесь проходила невидимая на воде линия границы, и все, что было к югу от нее, было запретно для чужих кораблей, самолетов, шлюпок и пловцов. Вода к северу от нее была «ничьей водой». Эта «ничья вода» была древней дорогой торговли и культуры, но она же была не менее древней дорогой войны. Поэтому

и там надо было следить, не собирается ли кто-либо свернуть к советским берегам: морская дорога вела из Европы, в Европе полыхала война, а всякий большой пожар разбрасывает опасные искры.

Дозор выпал беспокойный. Две ночи подряд тральщик наблюдал необычайное оживление в западной части Финского залива. Один за другим шли там на юг большие транспорты. Высоко поднятые над водой борта показывали, что они идут пустыми, оставив где-то свой груз, но торопливость, с которой они уходили, была подозрительной. Тральщик нагонял их, подходил вплотную, и на каждом из них был виден на корме наспех замазанный порт приписки—Штеттин, Гамбург, а сверху немецких—грубо намалеванные финские названия кораблей. С мостиков смотрели беспокойные лица немецких капитанов, а над ними на гафеле торопливо поднимался финский флаг. Странный маскарад...

Все это заставляло насторожиться. Поэтому к ночи тральщик снова повернул на запад, поближе к «большой дороге», и старший лейтенант, рассматривая с мостика горизонт, интересовался вовсе не красками белой ночи, а силуэтами встречных кораблей.

Очевидно, он что-то увидел, потому что, не отрывая глаз от бинокля, нащупал ручки машинного телеграфа и передвинул их на «самый полный». Тральщик в ответ задрожал всем своим небольшим, но ладно сбитым телом, и под форштевнем, шипя, встал высокий пенистый бурун.

— Право на борт,— сказал Новиков, не повышая голоса.

На мостике все было рядом — компас, рулевой, штурманский столик с картами. И только два сигнальщика, сидевшие на разножках у рогатых стереотруб, были далеко друг от друга: они были на самых краях мостика, раскинувшегося над палубой от борта до борта,— два широко расставленных глаза корабля, охватывающие весь горизонт. Старший лейтенант наклонился над компасом, взял по нему направление на далекий транспорт и проложил этот пеленг на карте. Он наметил точку встречи и назвал рулевому новый курс.

На мостик поднялся старший политрук Костин — резкое увеличение хода вызвало его наверх, оторвав от

позднего вечернего чая (который вернее было бы назвать ночным). Он тоже поднял бинокль к глазам и всмотрелся.

— Непонятный курс,— сказал он потом.— Идет прямо на берег... Куда это он целится? В бухту?

Он обернулся к командиру, но, увидев, что тот, шевеля губами, шагнул от компаса к штурманскому столику, замолчал. Не следует задавать вопросы человеку, который несет в голове пеленги: бормоча цифры, тот посмотрит на вас отсутствующим взглядом, еще пытаясь удержать в голове четвертушки градусов, потом отчаянно махнет рукой и скажет: «Ну вот... забыл...» — и вам будет неприятность. Поэтому старший политрук дождался, пока цифры не превратились в тонкие линии на карте, и тогда наклонился над маленьким кружком — местом тральщика в море. Командир провел на западе еще одну линию — курс замеченного транспорта. Она уперлась в восточный проход мимо банки с длинным названием «Эбатрудус-матала».

— Вот куда он идет. Понятно? — сказал он и выразительно взглянул на политрука.

Проход был в «ничьей воде». Он лежал далеко в стороне от большой дороги в Балтику, и транспорту, если он не терпит бедствия, решительно нечего было тут делать. Но проход этот, узкий и длинный, был кратчайшим путем из прибрежной советской бухты в Финский залив. Второй выход из нее вел далеко на запад, в Балтику. Старший политрук понимающе кивнул головой и посмотрел на счетчик оборотов (стрелки их дрожали у предельной цифры), потом опять поднял бинокль.

— Пустой,— сказал он, вглядываясь,— наверное, опять из этих, перекрашенный... Продали они их финнам, что ли? И какого черта ему идти этим проходом, это же ему много дальше? — Он посмотрел на карту.— «Матала» — банка, а «Эбатрудус»? Знакомое что-то слово, и какая-то пакость... Забыл...

Старший политрук учился говорить по-эстонски и тренировался на всем: на вывесках, на встречных лайбах, на газетах и названиях маяков и банок. Он еще пошептал это слово, как бы подкидывая его на языке и беря на вкус, и неожиданно закончил:

— Надо догнать, командир. Ряженый. От него всего жди.

— Догоним,— ответил старший лейтенант. Он вновь взял пеленг на далекий силуэт и подправил курс.

Тральщик полным ходом шел к точке встречи. Легкий ветер, рожденный скоростью, шевелил на мостике ленточки на бескозырках сигнальщиков. Один из них, не отрываясь, смотрел на транспорт, второй, с левого борта, медленно обводил своей рогатой трубой горизонт. На мостике молчали, выжидая сближения с транспортом. Потом старший политрук огорченно вздохнул.

— Нет, не вспомнить,— сказал он и достал потрепанный карманный словарик. Он полистал его (на мостике было совершенно светло) и радостно докончил: — Говорил я, что пакость! «Вероломство», вот что! Банка Вероломная, или Предательская, как хочешь.

— Никак не хочу,— сердито ответил командир, и оба опять замолчали, вглядываясь в транспорт. В бинокль он уже был виден в подробностях — большой и высокий. Гребной винт, взбивая пену, крутился близко от поверхности воды, как это бывает у незагруженного корабля. Транспорт упорно шел к проходу. Через час он мог быть там.

— Слева на траверзе три подводные лодки! Восемьдесят кабельтовых,— вдруг громко сказал сигнальщик на левом крыле.

Командир и политрук одновременно повернулись и вскинули бинокли. Много правее розового зарева низко на воде виднелись три узкие высокие рубки. Лодки, очевидно, были в позиционном положении. Но сигнальщик торопливо поправился:

— Финские катера, товарищ старший лейтенант.— И добавил, оправдываясь: — Рубки очень похожие, а палуба низкая... Три шюцкоровских катера, курс зюйд.

Старший лейтенант пригнулся к компасу и быстро перешел к карте. Он прикинул на ней место катеров и задумался, постукивая карандашом по ладони. Старший политрук молчал: не надо мешать командиру принимать решение. Но, стоя рядом с командиром, Костин тоже оценивал обстановку и думал, как бы он сам поступил на его месте.

Обстановка была сложной: слева — военные катера чужой страны шли на юг к невидимой линии границы, справа — торговый транспорт, перекрашенный и под чу-

жим флагом, шел к важному проходу в «ничьей воде». Тральщик мог повернуть или вправо, или влево, проследить одновременно действия подозрительных гостей он не мог. Давать радио о помощи было бесполезно, даже самолет запоздал бы к месту происшествия. Оставалось решать, куда важнее идти: к катерам или к транспорту?

Но катера были военные, и катера явно шли в наши территориальные воды. Следовательно, нужно было гнаться именно за ними, а не за торговым кораблем в нейтральных водах. Додумав, Костин выжидательно посмотрел на командира.

Очевидно, и тот пришел к такому же решению, потому что скомандовал:

— Лево на борт, обратный курс... Держать на катера! Видите их?

— Вижу, товарищ старший лейтенант,— ответил рулевой, пригибаясь к штурвалу, как будто это помогало ему рассмотреть катера. Они были очень далеко, за дистанцией залпа, и для простого глаза казались низкими черточками на воде.

Тральщик, кренясь, круто покатился влево, а командир, смотря в бинокль, стал с той же скоростью поворачиваться вправо, не выпуская из глаз транспорт. Даже когда тральщик закончил поворот и пошел на катера, командир продолжал стоять к ним спиной.

— Не нравится мне этот транспортюга,— сказал он негромко, и в голосе его Костин уловил тревожные нотки.— Уж больно кстати катера подгадали, что-то вроде совместных действий... Как они там — не поворачивают?

— Идут к границе, далеко еще,— ответил Костин.— Думаешь, старый трюк откалывают?

— Обязательно,— сказал старший лейтенант.— Вот увидишь, сейчас повернут — и начнется петрушка... Плюнуть бы на них и жать полным ходом к транспорту... Да, черт его, как угадаешь?..

Трюк, о котором говорил Костин, был действительно уже устаревшим. Недели три назад сторожевой корабль так же ходил в дозоре и так же заметил два шюцкоровских катера, идущих к нашим берегам. Сторожевик пошел на сближение, и катера тотчас повернули вдоль линии границы. Но едва сторожевик, убедившись в этом, попробовал вернуться к своему району, катера опять по-

шли на юг, к нашим водам, вынуждая его гнаться за ними. Так, не переходя запретной линии, а только угрожая этим, катера оттянули сторожевик далеко на восток, а на западе меж тем проскочила к берегу шлюпка... Правда, привезенного ею гостя немедленно же словили пограничники, но задачу свою катера выполнили.

Обстановка и в этом случае была похожей: транспорт зачем-то пробирался в проход у Эбатрудус-матала, и катера явно отвлекали внимание дозорного тральщика. Некоторое время они шли еще прежним курсом к границе; потом, убедившись, что они обнаружены и что тральщик повернул на них, катера легли курсом ост и пошли вдоль границы.

— Так, все нормально,— сказал старший лейтенант, когда сигнальщик доложил об этом повороте.— Что же, проверим... Лево на борт, обратный курс!

Тральщик снова повернулся к транспорту. Тот уже был близко от прохода, и, чтобы тральщику застать его там, нужно было решиться теперь же прекратить преследование катеров и идти прямо к банке Эбатрудус. Старший лейтенант прикинул циркулем расстояние до прохода и поднял голову.

— Эбатрудус, Эбатрудус...— сказал он в раздумье, покачивая в пальцах циркуль.— Так, говоришь — Вероломная?

— Или Предательская, как хочешь,— повторил Костин.

— Это что в лоб, что по лбу... Название подходящее... Только что ему там делать? Шпионов на таких бандурах возить — дело мертвое... Хотя, впрочем, из-за борта на резиновой шлюпке спустить — и здравствуйте...

— А черт его знает,— медленно сказал Костин.— Ему и затопиться недолго. Потом скажет — извините, что так вышло, ах-ах, авария, нам самим неприятно, сплошные убытки, а дело сделано...

Война полыхала в Европе, а Европа была совсем близко. Перекрашенный корабль под чужим флагом мог, и точно, выкинуть любую пакость. А проход был узок, и транспорт, затонувший в нем как бы случайно, мог надолго закупорить для советских военных кораблей удобный стратегический выход. Догадка Костина была близка к правде, и за транспортом надо было глядеть в оба...

— Товарищ старший лейтенант, катера повернули на зюйд,— снова доложил сигнальщик.

Все разыгрывалось как по нотам: теперь тральщик вынуждался вновь идти к катерам, те снова отвернут на восток вдоль границы — и все начнется сначала... А тем временем перекрашенный транспорт выполнит ту диверсию, для которой, как вполне был убежден старший лейтенант, он и шел в проход.

Уверенность в том, что транспорт имеет особую тайную цель, была так сильна, что старший лейтенант твердо решил идти к угрожаемому проходу, не обращая более внимания на демонстративное поведение катеров. Он сказал об этом Костину, добавив, что катера вряд ли рискнут на глазах у советского дозорного корабля войти в наши воды. Надо тотчас дать радио в штаб с извещением о появлении катеров, а самим следить за транспортом.

Радио дали, и тральщик продолжал идти к проходу у банки Эбатрудус. Маневрирование, к которому вынудили его катера, несколько изменило положение: теперь точка встречи с транспортом могла быть у самого прохода, а не перед ним. Но все же старший лейтенант надеялся, что, видя возле себя советский военный корабль, транспорт не осмелится ни затопиться, ни спустить шлюпку с диверсантами, ни принять на борт возвращающегося шпиона.

Однако и решив бросить катера, он то и дело оглядывался, следя за ними. Они упорно продолжали идти на юг. Направление на них показывало, что они все еще не дошли до запретной линии границы. Наконец проложив очередной пеленг, старший лейтенант сказал:

— Дальше им некуда. Через три минуты повернут.

Но прошло и три минуты, и пять, а катера все еще продолжали идти курсом зюйд. Старший лейтенант тревожно наклонился над компасом: они были уже на милю южнее границы, и не заметить этого на катерах, конечно, не могли. Но они продолжали идти в кильватер головному, не уменьшая хода, и курс их нагло и открыто — на глазах у дозорного корабля — вел к советской воде, к советским берегам.

По всем инструкциям дозорной службы тральщик был теперь обязан преследовать катера. Но ясно было, что катера и транспорт действуют совместно, решая одну

задачу. Откровенный и наглый переход границы должен был заставить тральщик все-таки кинуться за ними, бросив транспорт в проходе у банки Эбатрудус. Что он мог там сделать — было еще непонятно, но оба, и командир и политрук, были убеждены, что все дело сводилось к нему. Надо было быть возле него, чтобы помешать ему сделать то неизвестное, но опасное, что угадывалось, прощупывалось, чувствовалось в его настойчивом и странном стремлении к проходу.

Транспорт был уже хорошо виден. И тогда на гафеле его поднялся большой флаг.

— Товарищ старший лейтенант, транспорт поднял германский торговый флаг,— тотчас доложил сигнальщик с правого борта, и командир вскинул бинокль.

Это был флаг дружественного государства, связанного с Советским Союзом пактом о ненападении, договорами и соглашениями. Торговый корабль этого дружественного государства шел в нейтральной воде, там, где он имел право ходить, как ему угодно. Он шел пустой, без груза, осматривать на нем было нечего, и задержать его для осмотра или предложить ему переменить в «ничьей воде» курс означало бы вызвать дипломатический конфликт. Отчетливо видный в ровном рассеянном свете белой ночи, льющемся со всех сторон высокого неба, флаг дружественной державы, поднятый на транспорте, резко менял обстановку. Оставалось одно: повернуть к военным кораблям, нарушившим границу.

Но старший лейтенант медлил.

Он продолжал смотреть на флаг, не опуская бинокля, и глаз его Костину не было видно — руки открывали только нижнюю часть лица. Губы командира дважды выразительно сжались, потом раскрылись, как будто он хотел что-то сказать, но вновь сомкнулись, и на щеке выскочил желвак: он плотно стиснул челюсти. Долгую минуту, которая Костину показалась часом, командир молчал. Потом он опустил бинокль и повернул лицо к своему заместителю — и тот поразился перемене, которая произошла в нем за эту минуту.

— Война,— сказал старший лейтенант негромко, не то вопросительно, не то утверждающе.

Над Европой полыхал пожар войны, ветер истории качнул языки пламени к Финскому заливу, сухой и гроз-

ный его жар вмиг иссушил это живое, почти мальчишеское лицо. Он стянул молодую кожу глубокой складкой у бровей, отнял у глаз их влажный юношеский блеск, сухими сделал полные губы. В такие минуты военные люди, как бы молоды они ни были, сразу становятся взрослыми.

Это веселое простое лицо молодого советского человека, привычное лицо командира и друга, было новым и незнакомым. Новыми были эта складка на лбу, крепко сжатые челюсти, странная бледность розовых щек — или так играла на них белая ночь? — незнакомым был серьезный, какой-то слишком взрослый взгляд веселого и жизнерадостного командира, которого больше хотелось называть Колей, чем товарищем Новиковым или, как полагается по службе, «товарищ старший лейтенант». И сразу тихая белая ночь, нежные краски воды и неба, последняя ночь привычного, надоевшего дозора, далекая база с друзьями, с семьей, театром и обычной воскресной поездкой за город — все исчезло, стерлось, заволоклось горячим и тревожным дыханием войны.

Транспорт надо было остановить или заставить отвернуть от прохода. Но он имел право не подчиниться сигналу. Тогда следовало дать по нему предупредительный выстрел, который мог быть первым из миллионов других.

— Отсалютовать флагом! — скомандовал старший лейтенант.— Лево на борт!

Он наклонился над картой и быстрым движением проложил курс на северо-восток — к катерам.

— Не уйдут,— сказал он Костину.— Мы их отрежем.

Транспорт, продолжая держать на гафеле флаг, уходил к банке Эбатрудус. Старший лейтенант проводил его долгим выразительным взглядом и потом надавил кнопку. Резкий звонок боевой тревоги прозвучал в тишине белой ночи. Тральщик увеличил ход, орудия его зашевелились.

Спокойно плыла над морем белая тихая ночь. Это была самая короткая ночь в году—ночь летнего солнцестояния. В эту ночь черные тяжелые бомбовозы уже несли по легкому, высокому и светлому небу большие бомбы, чтобы скинуть их на города Советской страны, мирно отдыхающие под воскресенье. В эту ночь фашистские танки уже шли к границе в военный поход на Советский Союз. В эту ночь фашизм рвал договоры и пакты, совершая ни-

кого уже не изумляющее новое предательство. В эту ночь — самую короткую ночь в году — история человечества вступала в новый период, который потом будут называть периодом восстановления прав человека на земном шаре, загаженном страшной, мрачной силой фашизма.

Катера заметили поворот советского тральщика. Они тотчас повернули на север и полным ходом стали уходить из территориальных вод, стараясь как можно скорее уйти на «ничью воду», где советский корабль уже не сможет их обстреливать.

На мостике тральщика была боевая тишина. Ровно гудели вентиляторы, низко рычало в дымовой трубе горячее бесцветное дыхание топок. И только один голос звучал в этой тишине — дальномерщик каждые полминуты называл расстояние до катеров. Оно медленно, но неуклонно уменьшалось, но было еще слишком далеко для верного залпа. Носовое орудие, задрав до самого мостика ствол, пошевеливало им в стороны, как бы нюхая в воздухе след уходящих катеров.

Это была погоня — напряжение всех механизмов, молчаливое выжидание залпа, умный точный выигрыш на каждом градусе курса. Катера не могли полностью использовать свое превосходство в скорости: не рассчитав маневра, они слишком далеко спустились за линию границы. Теперь справа им мешали островки, и оставалось только уходить от островков под углом к курсу тральщика. А это означало, что раньше, чем они выйдут на «ничью воду», они сблизятся с тральщиком на дистанцию его артиллерийского залпа.

Видимо, на катерах поняли всю опасность этого сближения, потому что под кормой головного вырос белый бурун и остальные стали заметно отставать. Потом и у них за кормой показалась пышная пена — катера дали предельный ход. Его не могло надолго хватить, и весь вопрос был теперь в том, успеют ли они выскочить за невидимую роковую линию или до этого сблизятся с тральщиком.

Старший лейтенант, казалось, совсем забыл о транспорте. Теперь им владело одно стремление — догнать и атаковать катера, пока они находятся еще в наших водах. Он дважды до отказа передвинул рукоятки машинного телеграфа, и, очевидно, этот сигнал, требующий от людей

и механизмов невозможного, был понят: тральщик дал ход, которого он до сих пор не знал. Дистанция снова начала уменьшаться.

Но все же она уменьшалась слишком медленно. Катера все ближе подходили к заветной грани. Через пять-шесть минут они будут на нейтральной воде, и пограничный конфликт опять перерастет в дипломатический, угрожающий войной. Не пойманный — не вор: уничтоженные в советских водах катера считались бы бандитами, уничтоженные в «ничьей воде» — они были бы военными кораблями, на которые напал первым советский военный корабль.

Старший лейтенант быстро перешел к карте, хотя она вся была у него в голове. Он наклонился над столом, но сбоку ему протянул листок шифровальщик.

— Товарищ старший лейтенант, экстренное радио по флоту.

— Старшему политруку дайте,— сказал он нетерпеливо.

Сейчас ему было не до телеграмм, даже если в ней сообщалось о вылете самолетов: катера уже были у «ничьей воды»... Нужно было немедленно выдумать что-то, что помогло бы их поймать. Он всматривался в карту, требуя от нее ответа, хотя отлично знал, что другого маневрирования не придумаешь. Если бы граница была хоть на две-три мили севернее!.. Тогда катера были бы вынуждены сами еще отклонить курс в сторону тральщика — острова прижали бы их на запад — и вошли бы в сферу его действительного огня. Но граница была там, где она была, и ничего нельзя было сделать...

— Уйдут,— сказал старший лейтенант сквозь зубы и с отчаянием повернулся к Костину.

Он хотел сказать ему, что попался на удочку, медля возле транспорта, что катера успели сделать свое дело у берегов и теперь безнаказанно уходят, но старший политрук молча протянул ему бланк радиограммы. Командир прочел, поднял на него глаза, снова прочел бланк, потом бережно сложил его вчетверо и спрятал в боковой карман кителя.

— Товарищ старший политрук,— сказал он официально,— объявите на мостике и по боевым постам. Первая задача — катера.

Солнце уже встало над морем, и вся таинственная невнятность белой ночи давно исчезла. Трезвая и ясная, бежала за бортами вода, ясно и прозрачно было голубое небо. Блестела на мостике краска, и ярко трепетали на быстром ходу цветные флажки флюгарки. Начинался день, первый день войны, и в мыслях, во всем существе была та же ясность, трезвость и прозрачность.

Все стало на свое место: враг есть враг, и никакие дипломатические сложности, никакие условные линии границ, которых не видно на море, не стесняли более действий тральщика. Радиограмма была короткой. В ней сообщалось о нападении гитлеровской Германии на наши города и приказывалось атаковать противника при встрече.

Огромное спокойствие овладело Новиковым. Как будто лопнул где-то внутри давний старый нарыв, мучивший и беспокоивший, стеснявший движение и мысль. Ему показалось, что эта белая невнятная ночь, транспорт, катера, неизвестность, что делать и за кем гнаться были давным-давно, несколько лет назад. Он даже удивился, как это мог он так мучиться и колебаться. Теперь он неторопливо подошел к компасу, удобно пристроился к нему и стал ожидать терпеливо и спокойно, когда катера сделают вынужденный поворот и сами приблизятся к его курсу. Впереди было много воды, ясность и победа.

Так его и застал старший политрук, когда вернулся на мостик. Он сообщил, что краснофлотцы приняли сообщение именно так, как он и ожидал: спокойно, почти не удивляясь, не разменивая ненависть к врагу на крик и угрозы. Краснофлотцы просили передать командиру, что к бою с врагом родины, революции и человечества они готовы.

— Про катера сказал? — спросил старший лейтенант.

— Про катера я не говорил,— негромко сказал Костин и наклонился к нему.— Ты малость погорячился, Николай Иванович. Ничего с ними не изменилось: Финляндия пока с нами не воюет. Она, может, только наших снарядов и ждет, чтобы поднять крик на весь мир.

Он сказал это мягко и осторожно. Так говорят другу о неожиданно постигшей его беде, так опытный врач сообщает больному о перемене к худшему. Он слишком хорошо знал своего командира (и просто Колю Новикова),

чтобы не понимать, каким ударом будет для него это сообщение.

Старший лейтенант продолжал стоять у компаса в той же спокойной позе. Только карандаш в его руках, с которым он отошел сюда от карты,— карандаш, которым был проложен беспощадный курс, отрезающий катерам выход—внезапно хрустнул. Ровный голос дальномерщика продолжал отсчитывать дистанцию. Она была близка к дистанции огня, еще пять минут — и можно было открывать огонь. Тральщик, дрожа, мчался вперед, носовое орудие по-прежнему нюхало след врага, но весь план боя рухнул.

Старший лейтенант поднял руку и выбросил обломки карандаша за борт. Потом он повернул пеленгатор на катера и прильнул к нему глазом. Сбоку Костин увидел этот пристальный, немигающий взгляд и снова поразился: второй раз за эти немногие часы веселый молодой командир повзрослел еще на несколько лет.

— Ясно. Ушли. Право на борт, трал к постановке изготовить,— скомандовал старший лейтенант и поднял голову от пеленгатора.

Он посмотрел на Костина, и где-то в глубине глаз тот на миг увидел прежний взгляд Коли Новикова, горячего, неукротимого парня, выдумщика и упрямца, человека смелых, но слишком быстрых поступков.

— Эх, и прижал бы я их к островкам, и раскатал бы как миленьких! — протянул он, покачивая сжатым кулаком.— Ведь что обидно, Кузьмич: на них те же немцы сидят, это как факт, все же теперь ясно... Да, я понимаю,— остановил он Костина,— я все понимаю... Предлагаю перейти к очередным делам. Пойдем посмотрим, что там эта гадюка наделала...

Он дал телеграфом «малый ход» и повел Костина к карте.

Через полтора часа тральщик с заведенными фортралами подходил к проходу у банки Эбатрудус. Здесь не было никого — транспорт «дружественной державы» давно ушел в Балтику западным дальним проходом, и нагнать его не было возможности.

Был совершенный штиль, зеленая вода лежала ровно и гладко, и рябь не затуманивала ее прозрачной глубины. В ней отчетливо были видны красные буйки фортра-

ла — они плыли над водой, как плотные, упитанные дельфины, изредка резвясь и вскидываясь к поверхности, но тотчас увлекаемые на нужную глубину оттяжками и рулями. Прочные тросы, проведенные к ним с форштевня, защищали тральщик от встречи с миной. Раздвигая перед собой воду, водоросли и минрепы, тральщик осторожно вошел в проход. И в самом узком месте прохода из правого трала всплыла подсеченная им мина.

Освобожденная от удерживавшего ее на глубине минрепа, перебитого тралом, она с легким всплеском выскочила из воды и осталась на поверхности — первая мина новой большой войны. Финский залив, вдоволь наглотавшийся мин за годы первой мировой и гражданской войн, вновь почувствовал их надоедливый металлический вкус. И может быть, поэтому он так охотно и быстро выплюнул эту первую мину, едва трос, удерживавший ее в зеленой глубине, встретился с советским очистительным тралом. Она медленно кружилась на неподвижной воде, показывая свои длинные рожки — обнаженные нервы, не терпящие прикосновения,— огромная черная круглая смерть.

Ее уничтожили, как гадюку, меткой пулеметной очередью. Зашипев, как гадюка, она медленно погрузилась и пошла на дно, выпустив темный дым из мерзкого своего существа. Пули, не вызывая взрыва, продырявили ее корпус — командир решил утопить ее без шума, чтобы не привлекать внимания.

Но вторая подняла этот нежелательный шум: правый трал неудачно задел ее рожок, и столб воды, дыма и металла встал рядом с тральщиком. Страшное сотрясение всего корпуса выбило из зажимов рубильники, в кочегарке и в машине потух свет. Рулевой повернул голову к старшему лейтенанту и, стараясь не повышать голоса, доложил, что рулевое управление вышло из строя, и потом отряхнулся от воды, упавшей с неба на мостик прохладным, свежим душем. Через минуту на мостике зазвонил телефон, из машины сообщили, что все нормально и что рубильник теперь зажат намертво, все должно работать — и руль, и приборы, и свет.

Тогда новый столб воды встал с левого борта, новый звуковой удар потряс людей — и второй красный упитанный дельфин всплыл рядом с бортом. Тральщик остался без фортралов.



Тогда новый столб воды встал с левого борта...

Старший лейтенант застопорил машину.

Было неизвестно, на какую глубину поставил мины транспорт, так оправдавший название банки Эбатрудус. Предательское заграждение, выставленное торговым кораблем без объявления войны, несомненно, было рассчитано и на мелкосидящий тральщик, гнавшийся за транспортом. Поэтому продвижение вперед без фортрала было опасным. Заводить новые буйки здесь, на заграждении, было бессмысленно: трал начинал работать при определенной скорости хода, а развивать эту скорость на минах было нельзя. Уйти задним ходом тоже нельзя было: струя винтов сама подтащила бы к корпусу тральщика покачивающиеся под водой мины.

Старший лейтенант в раздумье смотрел в воду. Спокойная и неподвижная, она была прозрачна. Он поднял голову и взглянул на Костина:

— Я думаю, проползем, если с умом взяться? Не ночевать же тут.

— Попробуем,— ответил Костин, поглядывая в воду.— Все равно до самой смерти ничего особенного не будет.

Командир наклонился с мостика и объявил краснофлотцам, что надо делать.

Приготовились к худшему — достали спасательные средства, вывалили за борт шлюпки. На баке, по бортам, на корме встали наблюдатели. Дали воде совершенно успокоиться и восстановить свою прозрачность. И тогда старший лейтенант дал малый ход — несколько оборотов винтов — и тотчас застопорил машины.

Медленно, как бы ощупью, тральщик двинулся вперед.

Напряженная, строгая тишина стояла на мостике, на палубе, в машине, в кочегарке. И в этой тишине раздался возглас наблюдателя с бака:

— Мина слева в пяти метрах, тянет под корабль!

Новиков и Костин перегнулись с левого крыла мостика.

Мина, и точно, была видна. Она стояла на небольшой глубине, дожидаясь прохода тральщика. И как ни медленно и ни осторожно он шел, увлекаемая им масса воды заставила мину дрогнуть на минрепе, качнуться и двинуться к борту тральщика.

Неторопливо поворачиваясь и как бы целясь своими рогами в борт, она подходила ближе.

Но этим рогам был нужен удар определенной силы — иначе мины рвались бы сами от удара волны, от наскочившей на них сдуру крупной рыбы. И на этом был построен весь расчет старшего лейтенанта: пройти медленно, по инерции, может быть, и касаясь мин и их рогов, но касаясь осторожно, без удара.

И тральщик медленно шел вперед, и еще медленнее текло время. Страшной эстафетой — страшной в своей деловитости и спокойствии — шла вдоль борта к корме перекличка наблюдателей:

— Мина слева в трех метрах. Уходит под корабль.

— Мина у борта, плохо видно.

— Ушла под корабль у машинного отделения.

Томительно и грозно наступила большая пауза. Мина шла под дном корабля. Она шла медленно, вероятно поворачиваясь и царапая днище. Возможно, что колпаки не сомкнутся. Но возможно и другое. Сделать больше ничего нельзя, надо ждать.

И на тральщике ждали. Краснофлотцы смотрели вниз: те, кто стоял на палубе,— в воду, те, кто был внутри корабля,— на железный настил. И только двое, подняв головы, смотрели на небо: это были два сигнальщика, искавшие в голубой яркой высоте черную точку. Старший лейтенант был убежден, что вот-вот должен появиться фашистский самолет — транспорт наверняка сообщил по радио о преследовании его тральщиком.

О мине под днищем никаких сведений больше не поступало. Зато с бака опять раздался спокойный голос боцмана:

— Товарищ старший лейтенант, вторая. Справа в шести метрах.

— Докладывайте, как проходит,— сказал старший лейтенант, всматриваясь. С мостика она еще не была видна.

— На месте стоит, товарищ старший лейтенант. То есть мы стоим, хода нет.

— Так,— сказал старший лейтенант и повернулся к Костину: — Интересно, где первая? Может быть, уже под винтами... Рискнуть, что ли?

— На Волге шестами отпихиваются, а тут глубоко,—

ответил тот.— Хочешь не хочешь, а крутануть винтами придется. Давай, благословясь.

Старший лейтенант передвинул ручки телеграфа, поймав себя на том, что старается сделать это осторожно, как будто от этого зависела сила удара винтов. В машине старшина-машинист переглянулся с инженером, и оба опять невольно посмотрели себе под ноги. Потом старшина приоткрыл стопорный клапан, и винты дали несколько оборотов. Стрелка телеграфа опять прыгнула на «стоп», и пар перекрыли.

Тральщик получил чуть заметный ход. Тогда сразу раздалось два одновременных возгласа:

— Вышла из-под днища на правом борту, всплывает!

— Справа мина проходит хорошо!

А с бака вперебивку раздался тонкий тенорок боцмана:

— Товарищ старший лейтенант, третья слева, в трех метрах, тянет под корабль!

— Спички у тебя есть, Николай Иванович? — вдруг спросил Костин.

Старший лейтенант покосился на него неодобрительно: никогда не курил, а тут... Он достал спички и нехотя протянул ему. Старший политрук аккуратно вынул две спички и положил их на стекло компаса.

— Две прошло,— пояснил он.— Запутаешься с ними, так вернее будет.

Командир засмеялся, и Костин увидел, что перед ним прежний Новиков — жизнерадостный, веселый, молодой. Глаза его блестели прежним озорным блеском, и тяжелая непривычная складка на лбу разошлась.

— А ведь вылезем, Кузьмич! Смотри, как ладно идет!

— Ты сплюнь,— посоветовал ему Костин.— Не кажи «гоп», пока не перескочишь... Неужто всю коробку на компас выложу? О четвертой докладывают.

Но коробки хватило. Через двадцать три минуты тральщик очутился на чистой воде, и Костин бережно собрал со стекла двенадцать спичек.

Тральщик весело развернулся на чистой воде, завел тралы и снова пошел на заграждение, освобождая от мин важный для флота проход у банки Эбатрудус. Солнце подымалось к зениту, наступал полдень первого дня войны и первого за последние полгода дня, который был

короче предыдущего. Солнце повернуло на осень. Впереди были холодные дни, дожди, сырость, мрак — зима, ожидающая фашистские полчища. Впереди был бесславный конец начатой ими в этот день гибельной войны.

1941

ГРУЗИНСКИЕ СКАЗКИ

Последние пять суток в лодке почти не спали.

Северный шторм, как в трубу, дул в этот стиснутый скалами длинный залив. Вздыбленные им волны растревожили холодную воду до самых тайных глубин, и лодке никак не удавалось лечь на грунт, чтобы людям можно было поесть горячего и поспать: лодку постукивало о камни или попросту вышвыривало на поверхность мощной глубинной волной.

Наверху же лодку ждал мороз. Все, что выступало над водой — мостик, рубку, орудия,— он облеплял льдом. Лодка получала ненужную ей добавочную плавучесть, и никакими силами нельзя было бы загнать ее под воду в случае неожиданной встречи с врагом или приближения к береговым батареям. Тогда краснофлотцы выползали на ледяную скорлупу и, обвязавшись, скалывали ее топорами и ломами, сами сбиваемые с ног нестерпимо холодной водой, и лодка вновь погружалась.

И когда наконец оказались на этом спокойном курсе и коку удалось сварить борщ и кофе, командир приказал спать всем, кроме боевой смены. В центральном посту осталось лишь несколько человек.

Лодка шла на небольшой глубине ровно и спокойно, даже не покачиваясь. Успокоительно жужжал гирокомпас, мирно чикали указатели рулей, по-домашнему пахло недавним обедом, и казалось, что это — обычный учебный поход. Только холод и сырость, въевшиеся в борта и в одежду за долгие дни блокады, да карта на штурманском столе, где выразительными крестиками помечены места потопленных лодкой транспортов с боеприпасами, напоминали о том, чтó было до этого похода.

Лодка держалась в заливе до последней возможности. Уже прихватило берега плотным береговым припаем, и

пора было уходить в базу. Но оставались еще топливо, снаряды и торпеды, и лодка продолжала стеречь морскую дорогу к врагу. Это не было ни упрямством, ни рекордсменством — это было военной необходимостью.

Ботника была одним из важных путей снабжения врага снарядами, оружием, боеприпасами. Ботника была как поддувало горящей печи: прикрыть его — и свернется, а может быть, замрет на фронте огонь, лишенный своей взрывчатой пищи, и тысячи человеческих жизней будут сохранены для труда и счастья. И то, что у одного из крестиков на карте стояло позавчерашнее число, доказывало, что лодка задержалась здесь не зря: враг, уверенный, что советские подводники, не выдержав зимних штормов, уже сняли блокаду, попытался подвезти боеприпасы. Но у самого входа в ледяной фарватер оба транспорта трескучим фейерверком взлетели к низким снеговым облакам, и огненные столбы взрыва показали, что советские подлодки еще здесь.

Но дальше оставаться в Ботнике было нельзя: небывало суровая зима могла сковать льдом проходы между островами, и тогда залив стал бы ловушкой или могилой. И сразу после атаки командир проложил курс на юг, торопясь к проливу, пока шторм, разбивая льдины, не давал единственному выходу в море закрыться льдом.

К рассвету лодка подошла к проливу. Командир был наверху один. Охрипший его голос передал по трубе в центральный пост пеленги на мысы и уцелевший маяк. Штурман нанес место на карте, чтобы начать от него слепую подводную прокладку, но командир почему-то долго не спускался вниз. Наконец на трапе показались его ноги, он задраил выходной люк и скомандовал погружение.

Лодка ушла на небольшую глубину, скрываясь от батарей, стерегущих пролив, и скоро, очевидно, оказалась между островами, потому что качка постепенно стихла, и началось это блаженное безмятежное плавание, по случаю которого командир распорядился об отдыхе и даже штурмана отослал спать. Командир спокойно поглядывал на счетчики лага, на часы, на карту, негромкой командой менял курсы, строго держась найденного в свое время безопасного фарватера, и всем в центральном посту казалось, что все идет нормально. Только боцман Вяз-

нов, испытанный горизонтальный рулевой, приметил, что капитан-лейтенант нынче что-то не в себе: он то и дело шагал циркулем по карте, подолгу стоял над ней, перелистывая лоцию. Потом вынул из стола целый ворох метеорологических телеграмм, опять читал лоцию, проводил на карте много южнее выхода из залива кривые странные линии, смотрел на них, что-то прикидывая, и, наконец, резко отодвинув в сторону толстый том лоции, недовольно буркнул:

— А что мне, легче, что раз в сто лет...

Боцман поднял на него глаза, но командир строго приказал ему точнее держать глубину и снова наклонился над картой.

Все это не походило на его обычную спокойную приветливость. Но в конце концов он, видимо, что-то решил, потому что убрал и лоцию и сводки, вычистил резинкой карту, и, сделав на курсе пометку далеко впереди, плотно запахнул реглан, и сел на разножку вздремнуть.

Мало-помалу лодка начала оживать — и самый усталый человек когда-нибудь да выспится. Подводники просыпались, сами не веря себе, что этот спокойный курс еще не кончился. Началось всеобщее бритье — из того расчета, что после всплытия вновь будет валять до самой базы. Пришел кок и спросил разрешения давать завтрак (хотя по часам это никак не могло так называться). По лодке потянуло вкусным запахом — на этот раз какао. Выпив свою чашку, капитан-лейтенант послал за помощником, приказал ему идти намеченными курсами, ни в коем случае не всплывая, и разбудить его за полчаса до намеченной по карте точки.

Но когда он вновь пришел в центральный пост, было видно, что сон никак его не освежил. Казалось, он вовсе не спал — командир осунулся, почернел, и глаза его были воспалены. Он обменялся короткими словами с помощником, отпустил его и снова присел на свою разножку.

На горизонтальных рулях снова нес вахту боцман Вязнов, и с ним стояла вся лучшая смена: трюмные, электрики, вертикальный рулевой — все были отличниками и коммунистами. Капитан-лейтенант подолгу задерживал на них взгляд, как бы оценивая каждого заново. В лодке стали утихать голоса, все, кто мог, снова прилегли поспать, пользуясь спокойным плаванием, и почти никто не

проходил больше через центральный пост, но капитан-лейтенант вдруг негромко сказал:

— Задрайте двери, чтоб не ходили тут...

И когда последний барашек водонепроницаемых дверей был довернут до места, он так же негромко приказал:

— Товарищ боцман, всплывайте на перископную глубину. Полегоньку.

Электрик тотчас взялся за рубильник, чтобы поднять из шахты перископ, как полагается это при всплытии, но командир остановил его жестом, глядя на глубомер. Вязнов осторожно переложил рули, лодка поднялась носом, глубомер медленно повел стрелку влево. Но когда она переползла через цифру, означающую, что перископ (если бы он был поднят над рубкой) мог бы уже видеть горизонт,— лодка качнулась, будто рубка наткнулась на какое-то препятствие, мешающее ей выглянуть из воды, и глухой шум донесся сверху.

— Так,— сказал капитан-лейтенант,— продуть среднюю.

Трюмный открыл воздух, меж бортов заурчала вода, вытесняемая из цистерны, но стрелка глубомера замерла на том же делении, а палуба вдруг покосилась под ногами. Капитан-лейтенант махнул рукой, и трюмный, не спускавший с него глаз, заиграл своими рычагами и штурвальчиками. Лодка, вновь приняв воды, пошла вниз, медленно выпрямляясь на ровный киль.

— Давайте на прежнюю глубину,— сказал командир и обвел глазами всех, кто был в центральном посту.— Все понятно? Ну и молчок.

Все было понятно: то, что мешало лодке всплыть, не было отдельной льдиной, которая могла бы соскользнуть с рубки. Крен лодки, упершейся рубкой в лед, означал, что это было ледяным покровом.

Все в центральном посту молчали. Капитан-лейтенант склонился над картой, шагая циркулем вперед по курсу. Он наметил новую точку впереди и повернулся:

— Товарищ боцман, вызовите смену, а со своей пока отдохните. Через три часа попробуем еще разок. Где-нибудь да кончится... В лодке лишнего не болтать, незачем остальным беспокоиться. Понятно?.. Отдраить двери.

Вахта сменилась, спокойное плавание продолжалось, и никто, кроме ушедшей спать смены, не догадывался,

что отсутствие качки объяснялось тем, что все это время лодка шла под сплошным ледяным потолком.

В том месте, где капитан-лейтенант, пройдя замерзший пролив, попытался всплыть, Балтийское море не замерзало ни разу за сто лет, и он никак не мог рассчитывать на это коварство природы. Когда на рассвете лодка подходила к проливу и когда вместо черной бушующей воды командир увидел гладкую белую пелену, он понял, что пролив все-таки замерз, несмотря на шторм. Тогда он вынужден был нырнуть под лед, пройти под ним пролив, чтобы вынырнуть далеко в море, там, где огромные, непрестанно движущиеся водяные горы замерзнуть, конечно, не могли.

И лодка ушла под лед, южная кромка которого была неизвестно где, но где-то, несомненно, должна была быть.

Должна... но была ли?

Место, которое капитан-лейтенант назначил себе для первой попытки всплыть, было на десять миль южнее той самой крайней линии ледяного покрова, какую лоция Балтийского моря указывала в качестве единственного за сто лет события. Эти десять миль были поправкой на нынешнюю зиму. И все же оказалось, что и здесь, где даже в тот исторический год была чистая, незамерзшая вода, теперь был настоящий лед...

В подводной лодке, как нигде, надо уметь владеть своим воображением. Стоило на секунду дать ему волю, как на карте тотчас нарастали две белые полосы. Они закрывали собой черные цифры глубин, двигаясь друг к другу от северного и южного берегов. Они сходились бесшумно, и где-то под ними металась обреченная лодка...

Надо было упорно думать, где могла быть чистая вода. Она должна была быть. Она не могла не быть.

Искать указаний на это в лоции было бесполезно. Старушка, как и полагается старожилам, уже честно призналась, что такого не запомнила за сто лет. Спрашивать у других — означало только покушаться на их спокойствие. Оставалось сидеть на разножке, ждать еще три часа и снова пробовать всплыть.

Но когда через три часа пришел боцман Вязнов со своей сменой, оказалось, что о ледяном потолке, нависшем над лодкой, как крышка длинного гроба, думают не только капитан-лейтенант и те, кто был свидетелем по-

пытки всплыть. Подводникам стал ясен и крен, и странный шум над головой, и капитан-лейтенант понял взгляды, которые кидали на него краснофлотцы, проходя через центральный пост.

Капитан-лейтенант прижал губы к трубе, проведенной по всем отсекам, коротко объяснил всей команде, в чем дело, и дал знак к всплытию.

Теперь, пытаясь выбраться из-подо льда, лодка яростно кидалась снизу на его плотную броню. Она царапала его рубкой с полного хода. Застопорив машины, подкрадывалась к нему по вертикали, чтобы отчаянным усилием, продувая все цистерны, приподнять гигантский ледяной покров Балтийского моря. Люди на своих боевых местах покрывались пóтом, как будто это они сами — своими плечами — пытались взломать нависший над ними потолок.

Но ледяной покров пробить не удалось. И лодка ушла на глубину, как уходит от плотного беспощадного стекла аквариума быстрая, но мягкая рыба.

На глубине капитан-лейтенант приказал замерить плотность батарей. Энергия была на исходе. Теперь ее не хватило бы и на то, чтобы вернуться в залив, туда, где была еще чистая вода. Он наклонился над картой, прикидывая господствующие ветры, глубины, течения, потом резко изменил курс к западу, в сторону от базы, и вышел из центрального поста.

В отсеках шла нормальная походная жизнь. Подводники держали себя спокойно, даже шутили, но капитан-лейтенант то и дело ловил пристальный взгляд, немой вопрос, обращенный к нему. Все имеет пределы—и выдержка и мужество. Испытание было слишком длительным.

Тогда он прошел в каюту, взял книжку, вернулся с ней в центральный пост и углубился в чтение.

Он читал сосредоточенно, иногда усмехаясь и переворачивая страницы, чтобы перечесть понравившееся место. И краснофлотцы, проходя, словно по своим делам, через центральный пост, видели: сидит капитан-лейтенант и читает, как будто лодка самым будничным образом идет в чистой воде. Значит, по балтийской поговорке, все было нормально. Зачем же волноваться и гадать, где кончится лед, если командир сидит и, усмехаясь, читает книжку?



Капитан-лейтенант не отрываясь смотрел в перископ...

И только боцман Вязнов увидел то, чего не заметил никто. Когда командир поднял глаза на часы, боцман поймал однажды его взгляд. И такое подметил боцман в усталых, воспаленных глазах капитан-лейтенанта, что дрогнуло в нем сердце и циферблат глубомера на миг заволокся радужной пленкой. Колено боцмана касалось колена командира — разножки их стояли близко,— и боцман, хотя ему было неудобно, и нога затекла, и очень хотелось ее вытянуть, не мог оторвать свое колено от холодного командирского реглана: будто какая-то струя воли, спокойствия, решимости шла от этого незначащего прикосновения.

В поставленный самому себе срок капитан-лейтенант закрыл книгу и встал.

Опять прогремели звонки к всплытию. Опять лодка пошла вверх, продувая цистерны, и опять раздался проклятый удар рубки о лед. Но стрелка глубомера, задержавшись на миг, резко пошла влево, достигнула нуля, и лодка закачалась.

Подняли перископ. Стеклянный его глаз показал битые льдины, плавающие вокруг. Волна раскачивала лодку все сильнее. Капитан-лейтенант не отрываясь смотрел в перископ (так нашедший в степи воду припадает к ней жадным ртом), и тоненький белый лучик дневного света играл на красноватом белке его правого глаза. Потом он повернул голову, и все увидели прежнего командира.

— Штурман, пометьте-ка там в лоции, сто двенадцатая страница: кромка льда в северной части Балтийского моря может достигать широты — место снимите с карты... Дизеля к зарядке!

Он поднялся по трапу, с трудом открыл выходной люк, и веселые мелкие льдинки обдали его звенящим душем. Свежий морозный воздух хлынул в рубку, волна накренила лодку, и с разножки на палубу скользнула книга.

Боцман Вязнов бережно поднял ее и положил рядом с лоцией. Это были «Грузинские сказки».

1941

ТОПОВЫЙ УЗЕЛ

I

«Мощный» нес незаметную службу: вечно заваленный до самой трубы бочками, тюками, ящиками, он ходил с разными поручениями в Ленинград, на форты, в Ораниенбаум, перетаскивал баржи и шаланды, глубокой осенью настойчиво пробивался во льду, задорно наскакивая на льдины своим высоким и острым форштевнем. Порой он пыхтел на рейде, разворачивая огромную махину линкора, для чего, однако, ему требовалась помощь «Могучего» и «Сильного», ибо мощность «Мощного» заключалась главным образом в его названии: это был обыкновенный портовый буксир полуледокольного типа, невзрачный и трудолюбивый работяга на все руки.

Тем не менее Григорий Прохорыч, бессменный его капитан, всерьез обиделся, когда портовые маляры к началу кампании замазали гордое слово «Мощный» и вывели на бортах невыразительные знаки «КП-16», что значило «буксир № 16 Кронштадтского порта». В виде протеста Григорий Прохорыч, выпросив у маляров той же краски, собственноручно подновил надпись «Мощный» на всех четырех спасательных кругах и на пожарных ведрах.

— Капе, капе... что за капе, да еще шестнадцатый? Корабль имя должен иметь, а не номер,— жаловался он за вечерним чаем дружку своему, машинисту Дроздову, которого величал «старшим механиком».

Оба они, старые балтийские моряки, служили на «Мощном» по вольному найму, служили плотно и устойчиво добрый десяток лет, оба были приземисты, суровы и в свободное время гоняли чаи в количестве непостижимом.

— Так разве ж это корабль? — отвечал тот, с хрустом надкусывая сахар.— На кораблях мы с тобой, Григорий Прохорыч, свое отплавали... Бандура это, а не корабль...

Здесь опять начинался горячий спор, имевший многолетнюю давность. Дроздов, человек склада трезвого и иронического, любил подразнить капитана, который считал свой буксир кораблем, наводил на нем военный порядок и воспитывал в почтении к чистой палубе моло-

дежь, в особенности Ваську Жилина, занозистого кронштадтского паренька, а от своего «старшего механика» беспощадно требовал, чтобы «Мощный» не дымил, как паровоз, а ходил без дыма, как и полагается военному кораблю.

Перемена названия огорчила Григория Прохорыча гораздо больше, чем мог предполагать это Дроздов. Если «Могучий», «Сильный» и прочие буксиры-близнецы, волей порта превращенные в номерные «КП», были для других капитанов только местом довольно беспокойной службы, то для него «Мощный» был кораблем. А в понятие «корабль» Григорий Прохорыч за тридцать с лишним лет своей флотской службы привык вкладывать огромное содержание.

Но добиваться, что именно означает для него корабль, было бы так же бесполезно и жестоко, как требовать от матери точных разъяснений, что́ представляет для нее ее ребенок и на основании каких именно данных она страстно верит в то, что сын ее — лучше, красивее, виднее других.

Корабль был для него смыслом и содержанием жизни. Пожалуй, этой общей фразой вернее всего будет передать все то, что заставляло его рисковать порой здоровьем, отдавать кораблю все силы и чувства, двадцать лет подряд вскакивать задолго до побудки и осматривать палубу, шлюпки и краску, соображая, с чего начать дневные работы, чтобы корабль был всегда нарядным, подтянутым, чистым и великолепным,— ибо двадцать лет подряд Григорий Прохорыч был боцманом: на крейсерах, потом на учебных кораблях и, наконец, на линкоре.

При этих переходах с корабля на корабль он испытывал всегда одну и ту же смену чувств.

Сперва это была острая горечь расставания с командой, с которой он сжился и вместе с которой терял друзей и учеников, оставляя в них часть самого себя; со знакомой палубой, где каждый уголок был для него историей; со шлюпками, в быстрый ход и в ослепительную белизну весел которых было вложено так много его боцманского труда. Эту горечь расставания сменяло неодобрительное недоверие к новому кораблю и его команде: все было непривычно, все выглядело иначе, люди все незнакомые, ни на кого нельзя положиться, и везде требо-

вался свой глаз — и стопора якорного каната захватывали звенья не по-человечески, и шпиль заедал, и шлюпки были какими-то неуклюжими, как рыбачьи лодки.

Но силой великого понятия «свой корабль» все вскоре чудесно преображалось: и стопора оказывались самыми надежными, и шлюпки самыми изящными и быстрыми на всем флоте, и в команде обнаруживался какой-либо самый лучший на все корабли плотник или маляр, и опять знакомой гордостью билось сердце при взгляде со стенки или с катера на этот новый, недавно еще чужой, корабль. А прежний — смутным и дорогим видением отходил в глубины чувства и памяти, жил там непререкаемым примером всего самого лучшего, быстрого и толкового: «А вот у нас на «Богатыре» выстрела́[1] в полминуты заваливали, и какие выстрела́!» И боцманская дудка давала тяге талей и брасов богатырский темп, и огромные бревна, взмахнув одновременно, как длинные узкие крылья, за полминуты плотно прижимались к высоким бортам «Океана» совершенно так же, как и на «Богатыре». И только при встрече в море или стоя рядом в гавани с прежним своим кораблем, Григорий Прохорыч ревниво всматривался в него, ища знакомые и милые сердцу черты и по привычке вглядываясь, плотно ли занайтовлены шлюпки и не висят ли из-под чехлов концы.

Привязанность Григория Прохорыча к военному кораблю, к его налаженности, порядку, силе и чистоте легче всего было бы объяснить чувством местного патриотизма. Но удивительно было то, что за годы службы все эти корабли, каждому из которых он отдавал частичку своего сердца, неразличимо смешивались в одно общее понятие — корабль.

Именно это понятие заставило его вместе с шестью такими же старыми балтийскими матросами бросить в Гельсингфорсе надежную и родную палубу крейсера и с малым чемоданом, в котором лежали хлеб, консервы и кой-какой инструмент, кинуться на миноносец «Пронзительный»; на том почти не было команды, а к городу подходили немецкие войска, и флот должен был немедленно уходить сквозь тяжелые льды в Кронштадт, чтобы не оставить военные корабли под сомнительной защитой бу-

---

[1] Выстре́л — горизонтальное бревно, отваливаемое перпендикулярно к борту корабля для привязи шлюпок.

мажных пунктов мирного договора. «Пронзительный» стоял в самом городе, в Южной гавани. Он прижался к стенке, и все четыре его орудия встали на нем дыбом, как шерсть на маленьком, но отважном щенке, готовом ринуться в схватку, не обещающую ему ничего доброго,— горячие головы оставшихся на нем матросов не задумались бы дать залп по белофинским или немецким отрядам, если только они посмеют коснуться красного флага, трепетавшего на флагштоке беспомощного корабля.

Матросы с крейсера, среди которых один был членом Центробалта, разъяснили морякам «Пронзительного», что стрелять нельзя, потому что все-таки мир, а вот уходить надо во что бы то ни стало. А стало это во многое: людей на миноносце было раз, два — и обчелся, машины устали от трехлетних дозоров и штормов, из командного состава не покинул корабля один только бывший минный офицер. Тем не менее «Пронзительный» принял за ночь уголь, подправил неполадки в машине и котлах и в тот самый день, когда на эспланаде, упиравшейся в гавань, защелкали уже выстрелы немцев, отдал швартовы и ушел в лед.

Четырнадцать суток он пробивался в ледяных полях, ловчась попасть в извилистую щель, оставленную во льду прошедшими перед ним кораблями. Два дня удалось отдохнуть: его подобрал на буксир транспорт. Но на третий они обогнали застрявшего во льду «Внимательного», у которого начисто был сворочен на сторону его длинный таран и обломаны оба винта. «Пронзительный» уступил ему свое место на буксире и пошел опять пробиваться сам. Льдины порой сжимались, и тогда слабенький корпус миноносца трещал, зажатый огромным ледяным полем, которому раздавить корабль представляло столько же трудности, сколько створке ворот хрустнуть костями цыпленка. Прохорыч кидался в трюм, клал там ладонь на вздрагивающую сталь обшивки — и под ней явственно ощущался холодный и тяжкий напор льда. Разбили шлюпки — все дерево на корабле ушло на подкрепы шпангоутов, в отчаянии выбирались задним ходом из предательской холодной щели, неумолимо зажимавшей борта, и однажды обломали себе на этом правый винт. Пошли под одним, хромая, но все же шли и шли, шли вперед, в родимый Кронштадт. Возле Гогланда острая

льдина все-таки пропорола борт в правой машине, и четверо суток Прохорыч провел по колени в ледяной воде, откачивая на смену с другими воду, все прибывающую в зазорах спешно сооруженного им пластыря. С тех пор и въелся в него тот отчаянный ревматизм, от которого он криком кричал перед непогодой и который не давал с прежней живостью носиться по палубе того корабля, где он был боцманом.

Все это было сделано во имя маленького чужого ему корабля, на котором он даже не плавал, и поэтому вернее было бы говорить не о любви к кораблю, а о любви к флоту. Но Григорий Прохорыч никогда не вдавался в глубокий анализ своих чувств и служил флоту попросту — так, как умел и как чувствовал.

Ревматизм и привел его на «Мощный». Лет десять тому назад, после торжественного подъема флага в день Октябрьской годовщины, командир и комиссар линкора перед фронтом всей команды поздравили его с двадцатипятилетием службы на Балтийском флоте и вручили золотые часы с надписью. Потом комиссар в каюте повел речь о том, что если ему понатужиться и сдать кое-какие экзамены, то его переведут в средний комсостав и сделают на линкоре вторым помощником командира. Перспектива эта не на шутку испугала Григория Прохорыча, да и годы давали себя знать вместе с ревматизмом. Он признался комиссару, что последнее время думает не о повышении, а об уходе на покой (потому что служить по-настоящему ему уже трудновато), но что не одну ночь он проворочался без сна перед страшным призраком безделья на берегу. Набравшись духу, он попросил себе места на маленьком корабле, где полегче, но только не на берегу, где с непривычки ему долго не протянуть.

Так он стал капитаном «Мощного» и с первого же дня завел на нем настоящие флотские порядки: нормальную приборочку с драйкой палубы и чисткой железа и медяшки, форму одежды, воинскую дисциплину, которой не очень охотно подчинялся вольнонаемный экипаж, и даже добился того, что по утрам с подъемом флага весь его «комсостав», то есть «старший механик» и боцман, ходивший у него в чине «старшего помощника», рапортовал ему о том, что на вспомогательном корабле «Мощный» особых происшествий не случилось.

В порту подсмеивались над чудачествами старика, не сумев разобраться в их истинной высокой природе, но вскоре с удивлением заметили, что на «Мощном» и старенькие машины реже ломаются, и на палубу приятно ступить, и все поручения выполняются точно и быстро и что в любое время суток «Мощного» можно выслать куда угодно, потому что капитан всегда на корабле, а команда уволена в город с таким расчетом, чтобы с остальными можно было немедленно развести пары и выйти из гавани. Правда, на «Мощном» не раз сменялся весь личный состав, набираемый из кронштадтской вольницы, пока не подобрались на нем люди, в той или иной степени разделяющие взгляды Григория Прохорыча на флотскую службу, под каким бы флагом она ни протекала — под синим портовым или под военным.

И хотя он все же нашел для самолюбия лазейку, разъяснив Дроздову, что подводные лодки тоже называются номерами «С-1», «Щ-315» и поэтому, в конце концов, в наименовании «КП-16» особой обиды нет, но буквы и цифры эти он употреблял только в документах, а на палубе и в порту упорно продолжал называть «КП-16» «Мощным».

Через полтора месяца после этого события «Мощный» возвращался в Кронштадт, сдав далекой батарее провизию, газеты, снаряды, новый патефон и приняв пустую тару. Осенний день выдался тихий и солнечный, и Прохорыч позволил себе спуститься в каюту — погонять чаек. Но на шестом стакане в светлый люк просунулась с верхней палубы голова Дроздова:

— Эй, капитан, живыми ногами наверх! Полюбуйся-ка!

В голосе его было такое ехидство, что Прохорыч встревоженно вылетел на палубу и ахнул.

Контркурсом с «Мощным» расходился невиданный, великолепный корабль. Стремительный, низкий, гудящий сильными вентиляторами, ладный и стройный, он мчал на себе по морю длинные стволы орудий, широкогорлые торпедные аппараты, точные разлапистые дальномеры, хитрые радиоприборы — всю эту военную мощь, экономно и умно расположенную над сильными машинами и котлами. Безупречные обводы его корпуса разрезали сверкающую воду, а за кормой, словно прилипнув, стоял

пенистый бурун, доказывающий ту огромную быстроту, с которой летела по воде эта отлитая в металл воля к победе.

И Григорий Прохорыч, любуясь новым красавцем, вступившим в строй, наставительно подмигнул Дроздову:

— Учись, механик: идет что торпеда, а дым где?

И точно, над низкими трубами миноносца чуть дрожал прозрачный горячий воздух: вся горючесть нефти была поглощена его котлами без остатка. Но Дроздов ядовито кивнул на него:

— Ты не на трубы смотри... Грамотный?

Григорий Прохорыч взглянул и насупился: острым морским взглядом он отчетливо разобрал на корме надпись «Мощный». Васька Жилин, дождавшись этого, откровенно захохотал, но тут же осекся, ибо Григорий Прохорыч повернулся к нему грознее тучи:

— Вахтенный! Почему не салютуешь! Устава не знаешь?..

Васька тотчас прыгнул к мачте и поспешно приспустил флаг, а Прохорыч скомандовал «смирно», приложив ладонь к старой своей боцманской фуражке, и замер так недвижной статуей: невысокий, плотный, седеющий балтийский моряк с обветренным коричневым лицом.

И было в этой его неподвижности что-то такое торжественное, что притих и смешливый Васька, перестал улыбаться и Дроздов, подтянулись и остальные «вольнонаемные», вылезшие на палубу глянуть из-за ящиков и бочек на чудесное видение свежей, юной силы Балтийского флота. В тишине слышался лишь торопливый и трудолюбивый стукоток поршней одного «Мощного» и ровный могучий гул турбин и вентиляторов другого. На гафеле миноносца дрогнул распластанный ходом новенький флаг — белый с синей полосой, с красной звездой и советским гербом. Он приспустился на миг, отвечая поклону старенького синего портового флага, и вновь взлетел на гафель. Миноносец промчал мимо, и тогда пологая бесшумная волна, рожденная бешеным вращением его винтов, добежала до буксира и легко, без усилия, повалила его на борт. По палубе загремели ящики, Васька кинулся к покатившейся к фальшборту бочке, а к ногам Григория Прохорыча, громыхая, подлетело сбитое ящиком пожарное ведро.

Этим внезапным авралом смыло всю торжественность, и Григорий Прохорыч, поймав ведро, дал волю своему языку, забыв сам свои требования соблюдать военно-морской устав. И только когда бочки и ящики были словлены и надежно принайтовлены к палубе, он заметил в руках ведро, которым, оказывается, размахивал. Он повесил ведро на место, взглянул на надпись на нем и пошел вниз, коротко кивнув Ваське:

— Перекрасить!

Так бывший «Мощный» окончательно стал скромным «КП-16». Но теперь, распекая за опоздание с берега или за неполадки на корабле, Григорий Прохорыч неизменно заканчивал свой громовый фитиль словами:

— Нет в тебе гордости настоящей за корабль... Какой из тебя балтиец выйдет? Ты припомни, облом, кому мы свое имя передали?..

И медяшка на «КП-16» сияла не хуже, чем на самом «Мощном», на палубе и в машине держалась совершенно военная чистота, и даже Дроздов ухитрялся сводить пышный султан дыма, обычно колыхавшийся над трубой, до тоненькой серой струйки.

II

В холодный ноябрьский вечер «КП-16» входил в Кронштадтскую гавань. Она была погружена во мрак, как и весь город, и темные силуэты насторожившихся кораблей едва угадывались у стенки. Пронзительный штормовой ветер свистел в древних деревьях Петровского парка, и порой сеть голых их ветвей отчетливо проступала на бледном голубом фоне: это прожектор с далекого форта просматривал небо и море. Все эти дни корабль не знал отдыха, время было тревожное, и Григорий Прохорыч даже не нажимал на чистоту — команда и так недосыпала и забыла о береге.

Едва подошли к стенке, из темноты долетел голос нарядчика:

— Григорий Прохорыч, вас командир порта экстренно требует!

И Прохорыч, как был в рабочей робе, спрыгнул на стенку. Он вернулся часа через два, торжественный и серьезный, собрал команду в кубрике и сообщил, что

«КП-16» получает боевое задание и что он сам и «старший механик», как младшие командиры запаса, остаются на корабле, прочей же вольнонаемной команде надлежит утром получить в управлении порта расчет, поскольку их заменят краснофлотцами.

Тогда встал взволнованный Васька Жилин и объявил, что он с корабля никак не уйдет, пусть уводят силой, и что Григорий Прохорыч, видно, за это время совсем замотался, потому что не догадался сказать командиру порта, что они никакие не «вольнонаемные», а советские люди и балтийские моряки и что довольно стыдно в первый день войны сдавать боевой корабль дяде, а самим припухать в Кронштадте, развозя капусту, которую, слава богу, достаточно повозили. За ним то же говорили и другие, даже кочегар Максутов, который прежде ловчился от всякой работы по старой малярии, и Григорий Прохорыч тотчас же пошел опять к командиру порта, забежав на этот раз домой и сменив китель на тот, который он не надевал уже десять лет,— с тремя узенькими золотыми нашивками на рукавах.

Так началась боевая служба «КП-16». Трех человек, в том числе и Максутова, командир порта все-таки списал, и на их место пришли запасники. На баке появился пулемет, в рубке — крохотная радиостанция, и вечером следующего дня «КП-16» был уже в далекой бухте, где сосредоточились корабли десантного отряда, а ночью он стоял в охранении, и Васька Жилин первым встал на вахту к пулемету и ракетам.

Два дня «КП-16» мотался там, перевозя на корабли людей, оружие, продовольствие, воду в анкерках, снаряды, бегая по рейду с поручениями командира отряда, который держал флаг на миноносце «Мощный».

На третий день с утра у Григория Прохорыча заныли ноги, а к полудню, и точно, повалил густой снег. Он падал мокрыми крупными хлопьями на корабли и в черную воду, совершенно уничтожив видимость: «КП-16» застрял у борта «Мощного».

Григорий Прохорыч оставался на мостике, любуясь кораблем, на горячих трубах которого хлопья снега мгновенно превращались в воду, медленно стекавшую струйками по безупречной серо-голубой краске. Тут его окликнул с борта молодой капитан второго ранга. Это был

командир всего отряда, но Григорий Прохорыч узнал в нем веселого курсанта Колю Курковского, которого двенадцать лет назад он посвящал в тайны морской практики и который никак почему-то не мог осилить топового узла, пока Григорий Прохорыч, осердясь, не заставил его вязать этот узел при себе сорок раз подряд и не добился того, что пальцы Курковского сами находили переплетения этого нехитрого, на боцманский взгляд, сооружения. Курковский позвал Григория Прохорыча попить чайку, и тот, стараясь казаться по-прежнему молодцеватым, с трудом перекинул больные ноги через поручни и тотчас же почувствовал ими глухую непрерывную дрожь всего корпуса «Мощного»: вполне готовый к походу и к бою, прогретый корабль, сотрясаемый работой сотен механизмов, дрожал всем телом, как сильная и быстрая гончая, почуявшая след.

В коридоре под полубаком пахло живым теплом чистого корабля — немного паром, чуть краской, свежим духом смоленого мата, разостланного у горловин погребов, и горьким боевым запахом артиллерийского масла, которым поблескивали на диво надраенные медные лотки элеваторов, уходящие в подволок. В кают-компании ярко горел свет, было уютно и мирно, негромко играло радио, как будто отряд и не собирался ночью выходить в операцию, и только карта, лежавшая на боковом столике у дивана, напоминала об этом. Лишь за четвертым стаканом Курковский отвлекся от воспоминаний о курсантстве, о линкоре, о топовом узле, которого ему в жизни не забыть, и, как будто ни к чему, спросил, какая у Григория Прохорыча команда — не сдрейфит ли, если что? Тот ответил, что команда хотя вольнонаемная, но подходящая и положиться на нее вполне можно. Тогда Курковский подвел его к карте, указал на узкий проход, именуемый в просторечье «собачьей дырой», через который придется пройти отряду (так как второй проход к месту высадки лежит между вражескими островами), и сказал, что ввиду такой погоды «КП-16» получает боевое задание. Надо засветло подойти к потушенному по случаю войны бакану у «собачьей дыры», стать на якорь у камней и по радио с «Мощного» включить на баке огонь, направив его в сторону приближающегося отряда. По этому огню пройдут «собачью дыру» все корабли и транспорты с войска-

ми, после чего «КП-16» — не позднее трех ноль-ноль — должен будет следовать за отрядом для перевозки десанта на берег, что произойдет в десять ноль-ноль.

Тут же он приказал одному из лейтенантов взять с собой карту и радиокод и перебраться на «КП-16» в помощь его капитану (он так и сказал «в помощь», что очень польстило Григорию Прохорычу). Курковский еще раз подтвердил, что радио можно пользоваться только для приема и что у транспорта надо быть без запоздания.

Григорий Прохорыч поспешно вышел, чтобы распорядиться, и к сумеркам маленький буксир один-одинешенек подошел к «собачьей дыре» и стал возле бакана на якорь. К ночи снег повалил невозможно: сплошная белая стена заволокла все вокруг. Григорий Прохорыч выразил опасение, что условного огня с кораблей не увидят, но помочь было нечем. Ждали радио. Скоро из рубки принесли листок, лейтенант поколдовал над ним с кодом, бормоча: «Петя... Ваня... Леша...», и потом сообщил, что отряд все-таки снялся с якоря. Томительно проходило ожидание второго радио — о включении огня.

Снег все плотнее валил сверху, мостик дважды пришлось пролопатить — так хлюпала на нем вода. К полночи Григорий Прохорыч решил, что операция отложена из-за невозможности пробиться через этот снег и что отряд вернулся. На это лейтенант удивленно повернул к нему голову, вытирая мокрый снег, надоедно набивавшийся за воротник, и спросил его, неужели он серьезно думает, что приказ может быть не выполнен. Он спросил это таким тоном, что Прохорыч почувствовал уважение к этому мальчику и тотчас пошел сам проверить, хорошо ли включается огонь.

Но радио все же не было, и лейтенант начал нервничать. Ему стало казаться, что радист этого маленького буксира проморгал, что вернее было взять с собой краснофлотца, потому что отряд наверняка уже идет мимо где-нибудь в этой мокрой неразберихе снега, так как «собачью дыру» он должен был пройти не позднее двух часов. Операция никак не могла быть отложена — это было не в характере Курковского, и не этому учил своих командиров капитан второго ранга; следовательно, оставалось только думать, что радио проморгали. Он нагнулся с мостика и крикнул Григорию Прохорычу, чтобы огонь на

всякий случай включили. Яркий луч света ударил в темноту и осветил медленное и непрерывное падение кружащихся хлопьев. Вероятно, уже с пятидесяти метров этот луч можно было только угадать по слабому сиянию белесого снега; и, значит, отряд проходил где-то в снегу, мимо камней, без всякой помощи ориентира.

Все эти тревоги и сомнения лейтенант переваривал в себе, а Григорий Прохорыч спокойно выжидал. Впрочем, тон, которым лейтенант сообщил ему свое мнение о приказе, вселил в него непоколебимую уверенность, что операция не отложена и что отряд нашел какой-то непонятный способ пробраться через «собачью дыру» и без условного огня. Поэтому, прождав до трех часов, когда по приказу «КП-16» должен был сняться с якоря и идти к месту высадки, Григорий Прохорыч скомандовал: «Пошел брашпиль!» — и тягучий перезвон якорной цепи завел на баке песню похода.

Лейтенант сказал было, что следовало бы остаться до получения распоряжения, но Григорий Прохорыч мягко, но настойчиво напомнил ему, что его прислали на корабль «в помощь» и что решение он выносит сам как командир корабля: отмены приказа не было, новых распоряжений не поступало, назначенный срок истек — следовательно, надо действовать по плану, ничего не дожидаясь, потому что командир отряда запретил пользоваться радио и вряд ли будет сам загружать эфир подтверждением уже данного приказа. Корабли, конечно, уже каким-то чудом прошли «собачью дыру», и опаздывать к месту высадки не годится. Если же от операции вообще отказались из-за погоды (какой мысли он лично не может допустить), то, не увидев на плесе кораблей, он вернется на рейд.

События показали, что уверенность в том, что отряд, несмотря на эту совершенно непроходимую погоду, все-таки выполнил приказ,— уверенность, которую лейтенант сам же вселил в Григория Прохорыча и в которой под давлением обстоятельств поколебался,— оказалась правильной. Когда впереди под низкими, набухшими снегом облаками выросли из серой воды могучие горбы острова, справа в неясной мгле декабрьского утра Григорий Прохорыч увидел корабли и транспорты. Они шли из того прохода, который лежал мимо вражеских островов: ви-

димо, Курковский решил воспользоваться плотной снеговой завесой и провел весь отряд там, избежав необходимости рисковать узким и опасным путем мимо «собачьей дыры», и привел отряд к месту в точно назначенный срок.

— Учись, штурман,— сказал Григорий Прохорыч Жилину, которого он уже год приспосабливал к штурманскому делу.— Учись, как военные корабли ходят. Молиться на них надо!.. Клади курс на отряд!

Миноносцы рванулись вперед. Зеленые вспышки залпов блеснули в утренней дымке. Транспорты остановились, и целый рой маленьких катеров, буксиров, баркасов облепил их высокие важные борта, а вокруг них закружили сторожевые суда, высматривая, нет ли где подлодки. «КП-16» с полного хода подошел к назначенному ему транспорту, и тотчас же на палубу, как горох, посыпались оттуда краснофлотцы с винтовками, гранатами и пулеметами. Лейтенант с «Мощного» выскочил на транспорт, отыскивая свою группу десантников, а на мостик «КП-16» взбежал другой лейтенант, еще моложе, и, поправляя на поясе гранату, сказал счастливым и задорным тоном:

— Отваливайте, товарищ командир отделения, курс к пристани!

Григорий Прохорыч удивленно оглянулся, ища, кому он так говорит, но, вспомнив про свои нашивки, улыбнулся:

— Есть, товарищ лейтенант!

«КП-16» полным ходом пошел к берегу. Мимо, накренившись на повороте, промчался «Мощный», и за кормой его, рыча, встал из воды черный могучий столб взрыва, потом другой и третий. Очевидно, заметили подлодку. Взрывы глубинных бомб сотрясали воду так, что вздрагивал весь корпус «КП-16», острые тараны миноносцев и сторожевиков, носившихся вокруг транспорта широкими кругами, утюжили воду, целая стая катеров шла с десантом к берегу, и сотни глаз смотрели, не появится ли из воды тычок перископа. Но больше его не видели.

Берег приближался. «КП-16» обгонял катера, баркасы, буксиры, переполненные десантниками. Лейтенант всматривался в берег, поднимая бинокль, и, когда он опускал его и оглядывался на обгоняемые суда, такое нетер-

пение горело в его глазах, что Григорий Прохорыч нагнулся к переговорной трубе и крикнул в машину:

— Дроздов, самый полный! Не капусту везешь!

«КП-16» еще прибавил ход и с такой легкостью стал нажимать ушедшие вперед «КП-12» и «КП-14», что Григорий Прохорыч изумился: оба были ходоками неплохими, в особенности «двенадцатый», бывший «Сильный». Но, нагнав его, он понял, что тот шел малым ходом. С мостика отчаянно махал фуражкой капитан и что-то кричал. Уменьшив ход и вслушавшись, Прохорыч понял, что у пристани накиданы мины и что идти к ней опасно.

— Взорвался кто, что ли? Никого ж там еще нет! — крикнул Григорий Прохорыч.

— Пущай вперед катера идут, обождем тут, Григорий Прохорыч, о́пасно!..

К задержавшимся буксирам подошел еще один и тоже уменьшил ход. Григорий Прохорыч неодобрительно покосился на него и повернулся к лейтенанту:

— Как, товарищ лейтенант, ночевать тут будем или на риск пойдем?

В голосе его была откровенная насмешка, но лейтенант огорченно подтвердил, что в приказе, и точно, говорилось о возможных минах, наваленных у пристани, и что именно поэтому в первый бросок назначены мелкосидящие катера, а буксиры должны подойти к ней во вторую очередь. Однако рассудительность, с какой он это говорил, никак не вязалась с тем нетерпеливым взглядом, которым он впился в далекую пристань, и Григорий Прохорыч отлично понял его состояние.

Он внимательно его выслушал, вежливо кивая головой и одновременно зорко оглядывая бухту, потом наклонился к переговорной трубе и скомандовал:

— Самый полный вперед!

Лейтенант изумленно взглянул на него, но Григорий Прохорыч, хитро подмигнув ему, указал вправо от пристани. Там, в глубине бухты, серел песчаный пляж, и вряд ли на острове было такое количество мин, чтобы засыпать ими всю бухту.

— Как, товарищ лейтенант,— так же хитро спросил Григорий Прохорыч,— годится такое местечко? В приказе ничего о нем не упомянуто, а к пристани мы и не сунемся... Только придется морякам малость покупаться.

Лейтенант одобрительно кивнул головой и перегнулся через поручни:

— Приготовиться в воду! Гранаты и винтовки беречь!

Описав крутую дугу и поливая берег пулеметами, «КП-16» влетел в бухту и направился к пляжу. Ровной мирной гладью стояла там вода, и под тускло-серебряной ее поверхностью ничего нельзя было угадать. Лейтенант подумал было о том, что надо бы убрать с бака людей,— если буксир стукнется о мину, так, конечно, носом,— но, поняв, что и на корме не будет легче, приготовился к прыжку, высоко подняв гранату и пистолет. Григорий Прохорыч отстранил от штурвала рулевого и стал к рулю сам, зорко и спокойно всматриваясь в бухточку, как будто подходил к угольной стенке в Средней гавани. И только сжатые челюсти да ставшие серьезными глаза указывали на некоторую необычность этого подхода к берегу.

Мягкий толчок шатнул всех на палубе. Зашуршал под носом песок, забурлил винт на заднем ходу — и всплеск за всплеском подняли брызги на палубу: краснофлотцы вслед за лейтенантом прыгали в холодную воду и по грудь в ней бежали на берег.

Григорий Прохорыч легко снял с мели освобожденный от людей буксир, развернулся и пошел за новым отрядом. Навстречу ему к пляжу летел осмелевший «Сильный», за ним еще два буксира, и краснофлотцы на них уже поднимали над головами винтовки, готовясь последовать примеру первого броска.

— Эх ты, балтиец! — крикнул капитану «Сильного» Григорий Прохорыч, а Васька Жилин у штурманского столика немедленно прибавил обидное, но хлесткое словечко. Прохорыч неодобрительно повернулся к нему.— Товарищ Жилин, в бою ведите себя спокойно,— сказал он, в первый раз, пожалуй, называя Ваську на «вы».

III

Остров стал своим. «КП-16» приходил теперь сюда в прежней своей роли — с бочками, с ящиками, с патефонами и снарядами, как будто и не было того декабрьского утра, когда он показал здесь дорогу десанту. Так как на острове появлялся только он, то бойцы гарнизона, ра-

достно встречавшие его у пристани, на третьем же рейсе от избытка чувств переделали «КП-16» в ласковое словечко «Капеша», иногда распространяя его в «Капитошу» или в почтительного «Капитона Ивановича». Как это ни странно, новое имя, в котором сказалась вся привязанность вооруженных островитян к верному им кораблю, опять вызвало протест Григория Прохорыча. Услышав это фамильярное наименование от Жилина, он строго его оборвал, впрочем обращаясь на «вы», так как, почувствовав себя на военной службе, он четко разделял теперь отношения служебные и внеслужебные:

— Бросьте вы это слово, товарищ штурман (Жилин уже плотно ходил в штурманах). У корабля есть свое имя, установленное приказом, и нечего его перековеркивать, тем более что оно уже вошло в историю.

Под историей Григорий Прохорыч подразумевал вырезку из газеты «Красный Балтийский флот», где в корреспонденции с десантного отряда был описан первый бросок и отмечена боевая инициатива командира «КП-16». Жилин тоже хранил эту вырезку, впрочем, с другими, более практическими целями: в короткие часы пребывания в Кронштадте, забегая к некоей Зиночке, он гордо вытаскивал эту вырезку и снова начинал рассказывать свой первый и единственный пока боевой эпизод, добавляя с таинственным видом, что она вновь кой-чего услышит о «Капеше» через газету, и тогда уж обязательно будет упомянуто и его имя.

Но рейсы на остров шли обычным порядком, случая показать свои боевые качества «Капеше» больше не представлялось, и Жилин беспрерывно вздыхал, нагнувшись над картой в своем штурманском столе:

— Эх и жизнь наша капешная!.. Люди воюют, а нам все капуста... Нет тебе счастья, Василий Жилин! С такими темпами до Героя Советского Союза, пожалуй, не дойдешь!..

Григория Прохорыча речи эти сильно возмущали. Облокотившись о поручни и пошевеливая в валенках пальцами (ибо с каждым рейсом на остров дело все ближе подходило к настоящей зиме), Григорий Прохорыч длительно поучал Жилина, доказывая ему, что на флоте, как и на корабле, каждому предмету определено свое место и что пресловутая капуста есть тоже вид боевого снаря-

жения и доставлять ее на далекий остров — занятие совершенно боевое и самое подходящее для «КП-16». И тут же с гордостью и не без ехидства добавлял, что небось «КП» четырнадцатого или двенадцатого на остров не шлют, потому что доверить боевую капусту кораблям, которые шарахаются в сторону от каждой льдины, никто себе не позволит.

А льдины действительно встречались им в заливе все чаще и крупнее. По берегам уже образовался легкий припай, и каждый шторм откусывал от его ровной зеленовато-белой пелены порядочные куски и пускал их в залив на разводку, а у берега мороз и спокойная вода безостановочно пополняли убыль. Одинокие же льдины, попав в залив, не растворялись в его воде, а, наоборот, неся достаточный запас холода, сами при случае примораживали к себе обливающую их воду и тоже безостановочно росли, превращаясь в ровные поля. Иногда шторм, не разобравшись в задании природы, разламывал и эти плавучие поля, но мороз методически исправлял его ошибку — и новое поле, смерзшееся из льдин, снова медлительно плыло по заливу, отыскивая, к чему бы приткнуться и слиться в еще большее.

«КП-16» действительно не шарахался от льдин: оценив опытным взглядом возраст и толщину льда, Григорий Прохорыч в большинстве случаев шел прямо на поле. Корабль вздрагивал от удара, вползал на лед своим подрезанным ледокольным тараном, с каждым сантиметром втаскивая все большую тяжесть корпуса,— и лед, не выдержав, подламывался, разбивался в медленно переворачивающиеся куски, показывая в их изломе ослепительное сверкание кристаллов, и, увлекаемый работой винта, тянулся к корме. Порой по льдине от первого же удара тарана пробегала извилистой судорогой трещина, и тогда поле распадалось на две части, между которыми, раздвигая их бортами, свободно и без шума проходил «КП-16». Впрочем, иногда — а с каждым походом все чаще и чаще — Григорий Прохорыч, всмотревшись в лед, молча показывал рулевому направление и уступал льдине дорогу, предпочитая разумный обход противника ненужной лобовой атаке.

Но вскоре этот маневр стал просто правилом плавания: лед явно закреплял позиции. Уже заняты были им

Невская дельта, Маркизова лужа, почти все кронштадтское горло залива, и с флангов его передовые части тянулись по южному и северному берегам, занимая бухты и заливчики, чтобы оттуда со штормом высылать ледяные поля в самый залив, на широкие его плесы. Только в Кронштадтской гавани и на входном фарватере по створу маяков воде кое-как удавалось сохранять полужидкое состояние: там стояла холодная каша перековерканных, бесформенных обломков, смерзнуться которым в сплошной покров никак не давали беспрестанно проходившие здесь корабли и ледоколы. Под их ударами лед звенел, рычал и терся о борта, но дробился и мстил только тем, что, когда его оставляли в покое, смерзался самым подлым способом: хаотическими комками, напоминающими вспаханное поле, ломать которые было порой труднее, чем ровный покров. Но его все-таки ломали, потому что война продолжалась, и корабли прорывались по фарватеру до кромки льда, чтобы выскочить на незамерзшие еще плесы. И вслед за ними, пользуясь свежим проходом, проскакивал до кромки и «КП-16», чтобы, обходя встречные поля или врезаясь в них, упрямо пробираться к своему острову.

Так же пошел однажды «КП-16» и в начале января вслед за эскадрой, выходившей в операцию. Он пробился на рейд, выждал там, когда линкор, пошевелившись своим огромным телом, легко разломал смерзшийся лед фарватера, и тогда пристроился у него за кормой, свободно пробираясь по его широкому следу.

Синяя прозрачность позднего январского рассвета отступала на запад, как бы теснимая туда линкором, а за кормой все выше и шире вставало просторное розовое зарево зимней зари, непрестанно усиливаясь, и огни створных маяков с какой-то особой, праздничной яркостью вспыхивали в морозном воздухе беззвучно и остро. Григорий Прохорыч стоял на мостике, забыв о холоде, и неотрывно смотрел на медленно расширяющееся по небу полымя, на давно знакомый контур города — водокачку, краны, трубу Морского завода, могучий купол собора, на тонкие иглы мачт в гавани,— и удивительное чувство легкости, бодрости и в то же время неизъяснимой грусти все сильнее овладевало им.

Он любил этот тихий предутренний час, к которому

привык, долгие годы вставая до побудки,— час, когда корабль еще спит и в открытые люки видны еще синие ночные лампы; когда на светлеющем небе все резче проступают тонкие черты такелажа и мачт и краска надстроек приобретает свой суровый военный цвет; когда не хочется громко говорить, потому что даже шлюпки на выстрела́х, беспокойно бившиеся всю ночь, присмирели и чуть тянут иногда шкентеля, как бы проверяя, всё ли они еще на привязи. Но зимние рассветы были для него зрелищем непривычным — они заставали его в суете флотского дня, начавшегося в темноте, и тишины не получалось.

Теперь он смотрел на алое морозное небо как будто впервые и вдруг подумал, что прожил все-таки очень много лет и что видеть эти плавные, но неудержимые начала дня ему остается недолго. Мысль эта со всей ясностью встала в его голове, и он даже хотел рассердиться на нее — с чего это? Но непонятная свежая грусть все еще владела им, и он продолжал смотреть на уходящий в алый горизонт черный контур Кронштадта, пока удар о лед не заставил его обернуться. Оказалось, линкор уже далеко ушел вперед, и ледяная каша опять упрямо набилась в проход. Он взглянул на Кронштадт, как бы прощаясь с ним, и повернулся по курсу — к западу.

Но и там уже небо посветлело, полегчало и поднялось — и скоро стало прозрачно-голубым. День, по всем признакам, обещал быть морозным, но тихим, хотя знакомая ноющая боль в ногах говорила другое: будет шторм.

И точно: у кромки лед уже д ы ш а л.

Это было поразительное зрелище: ровное ледяное поле медленно и беззвучно выгибалось, силясь в точности повторить очертания пришедшей с моря волны, приподымающей снизу его упругий покров. Лед не ломался и не давал трещин — здесь он был еще мягок и гибок, как кости маленького ребенка. Он только прогибался, и странная пологая волна колыхала его, затухая по мере приближения к более плотному льду.

И снова Григорий Прохорыч, вместо того чтобы озабоченно думать, какая ждет его за кромкой волна, смотрел на это мерное дыхание льда, и та же неизъяснимая и легкая грусть опять заставила его притихнуть. Так дышащий лед он видел за всю свою жизнь три-четыре раза — и

неизвестно, увидит ли еще. И, опять поймав себя на этой мысли, он уже и в самом деле рассердился, обозвал себя старым дураком и пошел присмотреть за тем, что делается на корабле.

Он спустился с мостика, сам проверил, как закреплен груз, особо тщательно осмотрел крепления ящиков со снарядами, предупредил в машине, что в море шторм, и приказал загодя прикрыть люки — и потом поднялся на мостик.

Там в его отсутствие Жилин, пользуясь правами «штурмана», со вкусом покрикивал рулевому: «Точнее на румбе!», «Вправо не ходить!» — и прочие команды, безопасные для дела, но показывающие командирскую власть. Взглянув на это сияющее лицо, Григорий Прохорыч наконец понял, с чего это нынче лезут в голову всякие загробные рыдания.

Причиной всему был проклятый ревматизм. Вернувшись из последнего похода, когда «КП-16» обливало со всех сторон и на мостике не было сухого места даже в рубке, где волна, бесцеремонно распахивая двери, прокатывалась выше колен, Григорий Прохорыч слег. Впервые за всю службу по вызову командира порта он пошел не сам, а послал Жилина как помощника. Тот был этим больше перепуган, чем польщен, и, вернувшись, трижды вспотел, прежде чем убедился, что передал все приказания в точности. Но Григорию Прохорычу вдруг померещилось, что там, в знакомом кабинете, где важно тикают какие-то немыслимые часы времен парусного флота, с десятком стрелок, показывающих что угодно — от числа месяца до цены на пеньку и смолу,— неминуемо шел разговор о нем, о его болезни, о том, что старику пора бы на покой, раз уж не может приходить сам, а посылает помощника. Григорий Прохорыч, проклиная ноги, встал через силу и все-таки явился к командиру порта (как бы за дополнительными приказаниями), и хотя тот ни слова не сказал о том, чего боялся Прохорыч, но тревожный осадок все-таки остался, и отсюда и пошли эти мысли о старости.

Кромка льда, вздымаясь все выше и колышась все чаще, постепенно перешла в битый лед. Здесь гуляла уже настоящая волна, только одетая гибкой ледяной кольчугой, не дающей гребню вставать пеной и брызгами. А впе-

реди темное утреннее море уже белело барашками и скоро первая волна подняла «КП-16» на дыбы, обдала его холодными брызгами — и веселое плавание началось.

Мокрый до клотика мачты, «КП-16» упорно лез на волну. Сперва она била по курсу, с веста, потом к вечеру шторм зашел на юг, и маленький буксир стало валять бортовой качкой нестерпимо. Но шторм мало беспокоил Григория Прохорыча: корабль держался отлично и был к тому привычен, команда тоже не первый раз видела такое — шторм был как шторм. Он думал о другом, с тревогой посматривая на юг, то и дело протирая стекла бинокля: оттуда как будто двигалось большое ледяное поле наперерез курсу. Вероятно, шторм оборвал его связи с берегом и теперь гнал на север. Это, несомненно, был серьезный береговой лед, вступить в борьбу с которым Григорий Прохорыч не имел никакой охоты: застрять в такой шторм в ледяном поле — означало носиться с ним по воле ветра, а ветер как раз дул на север, к вражеским берегам.

Пораздумав, он приказал Жилину взять бинокль, лезть на мачту и, пока светло, посмотреть оттуда, где виднеется южный край этого поля. Жилин охотно скинул полушубок и в одном ватнике цепко полез на мачту, раскачиваясь вместе с нею. Вися под клотиком и лихо держась одной рукой, он поднял другой к глазам бинокль, всмотрелся и потом биноклем же указал направление. Григорий Прохорыч сверился с картой. Догадка его оказалась правильной: пока «КП-16» дойдет до поля, оно, вероятно, отойдет от отмели, мешающей обойти его с юга. Он изменил курс, вошел в битый лед, тащившийся за льдиной, как растрепанный хвост, и подмигнул Жилину, который к тому времени, распаренный, вылез из кочегарки, куда опрометью кинулся прямо с мачты, ибо там его препорядочно стегануло ветром и брызгами.

— Маневр, штурман! Обштопаем льдину как миленькую, а то неизвестно, куда она затащит... Ишь прет на норд — к ночи, пожалуй, в гости к шюцкорам придет! Факт!

Жилин весело отозвался — в битом льду корабль меньше качало, поле обманули, на мачте он показал класс, и было о чем порассказать на берегу. Григорий Прохорыч оставил его на мостике за себя, приказав идти

только в битом льду и никак не приближаться к коварному полю, и спустился вниз обогреться чаем. Однако не успел Васька всласть накомандоваться рулем — ибо теперь командовать приходилось уже всерьез,— как Григорий Прохорыч появился на мостике взволнованный и тревожный, и первый его вопрос был совершенно неожиданный:

— Что, Мальков — коммунист?

Мальков был тот самый рулевой, что стоял сейчас на вахте. Григорий Прохорыч не очень интересовался партийной принадлежностью своей команды и то, что Жилин — комсомолец, знал главным образом потому, что тот иногда отпрашивался на комсомольское собрание. Жилин недоумевающе посмотрел на командира:

— Коммунист.

Он решил, что Мальков сделал какую-то оплошность, потому что одним из самых сильных доводов Григория Прохорыча при внушении был упрек: «И еще в партии состоишь!..» Но Григорий Прохорыч озабоченно сказал, обращаясь к нему по-прежнему на «ты»:

— Пройди, сынок, по кораблю, подсмени беспартийными, а всех коммунистов и комсомольцев зови сюда. И живо давай!

Когда весь партийно-комсомольский состав маленького корабля в лице трех кочегаров, радиста Клепикова, двух машинистов, Дроздова, Жилина и Малькова собрался в рубке, Григорий Прохорыч, оторвавшись от карты, коротко объявил, что он принял боевое решение и просит коммунистов и комсомольцев показать образцы самоотверженной работы и увлечь этим команду, потому что дело нешуточное.

Оглянув всех, он прочел радиограмму, принятую Клепиковым по флоту в числе прочих. В ней сообщалось по коду, что эсминец «Мощный» сорван с якорей льдом, выбраться не может и просит помощи ледокола. К этому Григорий Прохорыч добавил, что, судя по координатам, «Мощный» как раз в том ледяном поле, которое они обходят по южной кромке, и что поле это с порядочной скоростью несет к северному берегу, под обстрел батарей, и что время не терпит.

Решение же его такое: войти в лед, пробиться к «Мощному» и вывести его изо льда. Дело рисковое, потому что

можно застрять и самим, но ждать ледокола тоже нечего, так как неизвестно, где очутится «Мощный» к его приходу, а «КП-16» довольно близко от него, корабль сам по себе крепкий и со льдом управиться может, если поработать на совесть и не дрейфить. Затем он сделал ряд распоряжений и закончил приказом немедленно перегрузить все снаряды на бак с целью утяжелить нос, чтобы лучше ломать лед и чтобы в случае затора иметь возможность перенести их на корму и этим поднять нос.

Уже темнело, когда «КП-16», разбежавшись в битом льду, с силой сделал первый удар в ледяное поле. Оно уступило неожиданно охотно, и добрый час корабль пробивался почти легко. Но потом началось мучение с переноской балласта. Тяжелые ящики со снарядами переносили на корму, нос облегчался, и «КП-16» сползал с упрямой льдины задним ходом. Ящики снова перетаскивали на бак. Люди садились на них, устало опустив руки, буксир разбегался, ударялся в льдину и либо отламывал ее, либо люди вставали с ящиков и снова тащили их на корму.

Это была очень тяжелая, утомительная, но благодарная работа: «КП-16» все глубже вгрызался в ледяное поле. Клепиков уже передал на «Мощный» с грехом пополам набранную по коду радиограмму: «Идем на помощь с зюйд-оста, включите огонь», и Григорий Прохорыч, остававшийся на мостике один на штурвале (так как и Жилин и Мальков помогали таскать «балласт»), вглядывался на север, но ночь все была темна, и ветер выл в снастях, и ему было одиноко, тревожно и тоскливо.

Огня он так и не увидал: его увидал с ящиков Жилин и диким голосом заорал:

— Вижу!

Он взбежал на мостик, задыхающийся, измученный, но ликующий, и показал на слабый синий огонек. Григорий Прохорыч медленно и глубоко вздохнул, нагнулся в темноте к переговорной трубе и сказал в нее хриплым и дрожащим голосом:

— В машине... Видим... Голубчики, навались...

То ли навалились в машине, то ли лед стал слабее, но синий огонек быстро приближался, и перетащить ящики пришлось только еще один раз. Через час Григорий Прохорыч, моргая от яркого света, стоял в знакомой кают-

компании, и Курковский крепко обнимал его. Быстро посоветовались.

Капитан второго ранга предложил Григорию Прохорычу обколоть «Мощного» с бортов, чтобы тот мог развернуться длинным своим телом по направлению к каналу, после чего «КП-16» поведет миноносец за собой на юг. Григорий Прохорыч, смотря на карту, покачал головой.

— Не годится это,— сказал он в раздумье.— Я вас только задерживать буду. Сами хорошо пойдете, канал сжимать не должно, он по ветру вышел. Коли б я поперек шел, тогда точно, обязательно бы зажало. А тут — войдете в канал и верных двенадцать узлов дадите, только следите, чтоб в целину не врезаться. Уходить вам надо, эвон куда занесло...

И он показал на кружочек, отмеченный на карте последним определением. Берег с батареями был действительно угрожающе близко.

— Да вы о нас не беспокойтесь,— добавил он, видя, что Курковский колеблется.— Выкарабкаемся. Да и вряд ли они на нас будут снаряды тратить.

Он помялся и потом негромко сказал:

— Человечка у нас одного возьмите... Ногу повредил ящиком... Так, в случае чего...

Он не договорил, и капитан второго ранга внимательно посмотрел ему в глаза. Военным своим сердцем он угадал недосказанное и, молча наклонившись, крепко поцеловал Григория Прохорыча в седые колючие усы.

— Так,— сказал он строгим тоном, вдруг застыдившись своего порыва.— Значит, в случае чего, добирайтесь сюда. — Он показал на карте выступающий мыс там, где кронштадтское горло расширялось к северному берегу.— Тут наше расположение, понятно?

— Понятно,— так же строго сказал Григорий Прохорыч.

— Буду вас все время слушать на вашей волне. В случае чего, дадите... ну, какое-нибудь условное слово, чтоб легче запомнить...

— Топовый узел,— сказал Григорий Прохорыч, улыбаясь.— Помните, вы всё его вязать не могли?.. Ну, счастливо...

Они еще раз обнялись, и Григорий Прохорыч вышел.

В тёплой кают-компании он забыл о том, что делается на палубе, и ледяной плотный порыв ветра, едва не сбивший с ног, очень его удивил. Но тотчас же он перелез к себе на мостик, и «КП-16» двинулся вдоль борта эсминца. Курковский, дождавшись, когда, обколов лед вокруг эсминца, «КП-16» поравнялся с мостиком уже с другого борта, дал ход. «Мощный» зашевелился во льду и пошел вслед за «КП-16». Тот описывал медленную широкую дугу, но и в нее «Мощный» с трудом вмещал свое длинное узкое тело. Наконец он попал в сделанный ранее канал. «КП-16» сбавил ход, пропустил мимо себя «Мощного», и тот, легко раздвигая острым своим форштевнем разбитые буксиром льдины, быстро пошел к югу. Григорий Прохорыч оказался прав: только в трех-четырех местах ледяное поле сжало края рваной раны, прорезанной крепким корпусом «КП-16», но и здесь «Мощный», как игла, протискивался своим узким телом между краями цельного льда.

Через четыре часа он вышел на чистую воду. Но Курковский без всяких признаков радости смотрел на нее: ледокол, в ответ на его радиограмму с просьбой немедленно идти на помощь к «КП-16», ответил, что занят выводом двух эсминцев, также дрейфующих в ледяном поле, и что из Кронштадта давно вышел второй ледокол, но и его послали к другим миноносцам... Очевидно, в море творилось что-то небывалое и ледоколам было работы по горло.

Действительно, шторм достиг предельной силы. Огромные ледяные поля, целые равнины, казалось бы намертво прикованные к берегу, теперь быстро шли поперек залива на север, натыкаясь друг на друга, налезая краями и нагромождая ими торосы, прижимая другие поля в узкостях с чудовищной силой, срывая их и увлекая за собой или перед собой. И вся эта огромная масса льда, ринувшаяся с юга, давила на то поле, где пробивался «КП-16», далеко отставший от более сильного машинами миноносца.

Но и тому приходилось очень трудно. Встречный шторм окатывал палубу и мостик, обмерз весь такелаж, мачты, орудия, надстройки, то и дело краснофлотцы в ледяной воде обкалывали корабль. Тяжело зарываясь носом, «Мощный» шел на юг, но внезапно резко менял курс

и, опасно ложась на стремительной бортовой качке, обходил надвигающееся ледяное поле, грозившее снова зажать его холодным крепким объятием. В этой борьбе с взбесившимся заливом Курковский не замечал, как проходило время. Было около семнадцати часов, когда на мостик принесли радиограмму с позывными командира дивизиона.

С трудом шевеля закоченевшими пальцами, Курковский взял ее и пошел в рубку. Там он положил ее на стол, неловко расправив, прочел, и командир «Мощного» с изумлением увидел, как он внезапно опустился на диван. Он заглянул в бланк.

Там стоял короткий открытый текст:

«Шестнадцать пятнадцать топовый узел курс Стирсудден «КП-16».

IV

Когда к рассвету «КП-16» уже подходил к краю ледяного поля и ему удалось определиться, оказалось, что, несмотря на беспрерывное продвижение вперед, он был сейчас даже севернее того места, где вызволял «Мощного»: поле несло на север с большей скоростью, чем он пробирался по нему на юг. Теперь «КП-16» был в глубине большой бухты, глубоко вдававшейся в северный берег.

Но все же с огромными усилиями корабль выскочил изо льда, и Жилин, закоченевший, черный и мокрый, опять закричал тем же диким голосом, которым он оповестил о «Мощном»:

— Вода!!

«КП-16» весело завертел винтом, но уже через час ему пришлось изменить курс: с юга ползло новое поле. Он повернул на восток, изо всех сил торопясь проскочить это поле, пока оно еще не сомкнулось с береговым припаем, входившим в бухту от ее восточного берега. Десятки глаз смотрели с палубы крохотного корабля на полосу черной воды, неуклонно уменьшавшуюся в размерах. Скоро стало ясно, что в этом страшном состязании верх возьмет лед: его несло штормом к северу скорее, чем продвигался к востоку корабль.

Поняв это, Григорий Прохорыч резко скомандовал «лево на борт» и ринулся на запад, рассчитывая, что не

может же поле быть такой ширины, чтобы закрыть собой весь выход из бухты, и что между западным береговым припаем и надвигающимся полем обязательно окажется проход — пусть в секторе обстрела батарей. Дроздов, оценив положение, спустился в машину, и никогда еще «КП-16» не развивал такого хода.

Но черная полоса воды между западным берегом и полем все уменьшалась. И вновь стало ясно, что и здесь обе ледяные равнины сомкнулись. Но было ясно еще и то, что, закрыв собой выход из бухты, это поле, обламывая края себе или береговому льду и выпирая на него торосами, продолжало вдвигаться в бухту, как ящик письменного стола. А это означало, что его вдавливает в бухту чудовищная сила подвижки всего наличного в заливе льда.

Тогда Григорий Прохорыч, еще раз определив место и поняв, что до предела дальности батарей осталось не больше трех миль, повернул на юг и врезался в поле.

Первая же попытка доказала, что пробиться через него было совершенно невозможно: судя по толщине и крепости, это был самый ранний лед, вынесенный, может быть, из самых глубин Копорской губы. Это был лед родной страны, лед, по которому недавно еще ходили советские буера, бегали на коньках колхозные мальчишки, шуршали лыжами пограничники в ночном дозоре... Здесь, оторванный от родных берегов, он был враждебен. Вжимаясь в бухту, он оттеснял «КП-16» на север, и новый пеленг на мыс показал, что до снарядов осталось меньше двух миль.

Григорий Прохорыч поднял голову от карты, и Жилин испугался: лицо старика осунулось и похудело, оно было багрово-красным от мороза и ветра, седые усы спутаны, глаза ввалились и блестели беспокойным огнем. Он оглядывался кругом, как затравленный зверь, но слева, впереди и справа был лед, а за кормой — батарея. Он наклонился к переговорной трубе и хрипло скомандовал:

— Самый полный вперед!

«КП-16» разбежался в чистой воде, ударил в лед, всполз на него носом и долго стоял так, бешено работая винтом, пока Григорий Прохорыч не сказал неожиданно спокойным голосом:

— Стоп всё. Дроздов, на мостик!

Он снял свою старенькую меховую шапку, вытер лоб и сел на диванчик в рубке, как будто окончил трудную работу и собрался как следует отдохнуть. Так его и застал Дроздов.

Приказания его были точны и кратки.

Жилину: изготовить пулемет на случай, если шюцкоры полезут по льду. Дроздову: приготовиться открыть кингстоны, не забыв в горячке стравить пар, чтоб котел не взорвался, потому что после войны Эпрон все равно корабль поднимет. Обоим: разъяснить команде, что, в случае чего, сойдем на лед и будем пробиваться к Стирсуддену. Пока есть время, всем просушить в кочегарке одежду и валенки, собрать продукты и все ручное оружие. Разбить на две партии, одну поведет Жилин, вторую — Дроздов. Не забыть компасы, их как раз два. Пулемет тащите с собой, сочинить салазки — может, придется отбиваться. Передать эту телеграмму радисту, время пусть проставит сам в последний момент. Всё.

И пока на корабле молча и без суеты готовили все это, Григорий Прохорыч сидел в рубке, растирая колени. Коснуться их было очень больно, а ходить — еще больнее. Хотелось лечь и закрыть их потеплее. Но надо было вставать, ковылять к компасу, брать пеленг на мыс и потом поторапливать со сборами: поле неуклонно несло к батареям. Дроздов принес чьи-то высушенные уже валенки и полушубок, заставил Григория Прохорыча снять свои и унес их сушиться. На момент ногам стало легче, но, когда он встал и прошел к компасу, боль стала невыносимой. Новый пеленг показал, что «КП-16» уже снесло до предела огня батарей.

Он записал в вахтенный журнал пеленг, посмотрел на северный берег, низко и хищно притаившийся в синей дымке леса, и негромко сказал:

— Ну, чего чикаетесь? Наверняк хотите бить?

И как будто в ответ на это далеко на берегу сверкнул желтый огонь, небо раскололось с противным треском, и метрах в двухстах от «КП-16» по воде запрыгали белые невысокие фонтанчики.

— Шрапнель,— сказал сам себе Григорий Прохорыч и крикнул вниз: — Команде покинуть корабль, рассыпаться по льду до конца обстрела!

Второй воющий треск заглушил его слова, и снова

шрапнель легла в том же месте. Третьего залпа долго не было — очевидно, на батарее сообразили, что незачем тратить снаряды, когда цель приближается. Григорий Прохорыч снял компас, взял его под мышку, постоял в рубке, обводя глазами ее и мостик, и после, тяжело ступая, пошел к трапу и, с трудом двигая ногами, ступил с корабля на лед.

— Ну, товарищ Дроздов, действуй,— сказал он и отвернулся.

Небо за кораблем пламенело огромным заревом штормового заката, но в тревожном и ярком его полыме он не отыскал той легкой, спокойной прозрачности, которая вчера утром наполнила его сердце удивительной тишиной. Он повернулся совсем спиной к кораблю и стал смотреть в сторону Кронштадта. Там небо синело глубоко и спокойно.

Один за другим поднялись из снега моряки «КП-16» лицом к своему командиру и своему кораблю. Штормовой ветер распластывал на гафеле синий портовый флаг, на фоне заката он казался почти черным. На дымовой трубе хлопнул клапан, и с сильным, почти гудящим звуком пар белым султаном поднялся в небо. Все молчали. Пар, постепенно слабея, снижал свой пышный султан и потом прекратился с каким-то жалобным стоном, и по трубе крупными горячими слезами потекли его оседающие струйки.

В тишине, сквозь свист ветра, донесся металлический стук открываемого люка. Из машины поспешно вышел Дроздов, зачем-то аккуратно задраил за собой люк, опять лязгнув металлом, постоял возле него, потом, отчаянно махнув рукой, молча перепрыгнул через фальшборт и отошел к безмолвной группе людей.

Они долго ждали. Но «КП-16» продолжал выситься надо льдом, только корма села ниже обычного. Похоже было, что он отказывается тонуть.

Мальков не выдержал.

— Что же он? — сказал он негромко, как у постели умирающего.— Дроздов, ты все кингстоны открыл?

— Видишь, лед держит,— так же негромко ответил Дроздов.

Снова молчали. Потом раздался резкий треск льда, и льдина под бортами «КП-16» откололась, давая ему до-

рогу. Он быстро и прямо пошел под воду, держась на ровном киле. Люди не то ахнули, не то вздохнули, и Григорий Прохорыч резко обернулся. Он сорвал с себя шапку и сделал два шага к кораблю. Дроздов придержал его за локоть.

— Ну, ну... Прохорыч...— сказал он ласково.

Жилин всхлипнул и, тоже сорвав шапку, крикнул высоким неестественным голосом:

— Боевому кораблю Краснознаменного Балтийского КП шестнадцать — ура, товарищи!

Крик его как бы вывел всех из оцепенения. Громкое «ура» раскатилось по льду и замолкло только тогда, когда холодная тревожная вода, отливающая багровым отблеском заката, сомкнулась над стареньким синим портовым флагом.

— Шрапнель, ложись! — крикнул вдруг Григорий Прохорыч, заметив на берегу знакомую желтую вспышку. Все упали. Опять треснуло над головой небо и завизжало вокруг. И Григорий Прохорыч тоже повалился боком в снег.

Батарея дала четыре залпа. Ранило троих. Надо было немедленно уходить. Жилин впрягся в салазки, на которые успели поставить пулемет, и повез их к Григорию Прохорычу.

— Мальков, помогай,— сказал он по пути.— Старик наш вовсе обезножел, не дойдет... Повезем все по очереди.

Они подтащили пулемет к Григорию Прохорычу, но тот не отозвался. Его повернули: он был убит шрапнельной пулей в лоб, пережив свой корабль на две с половиной минуты.

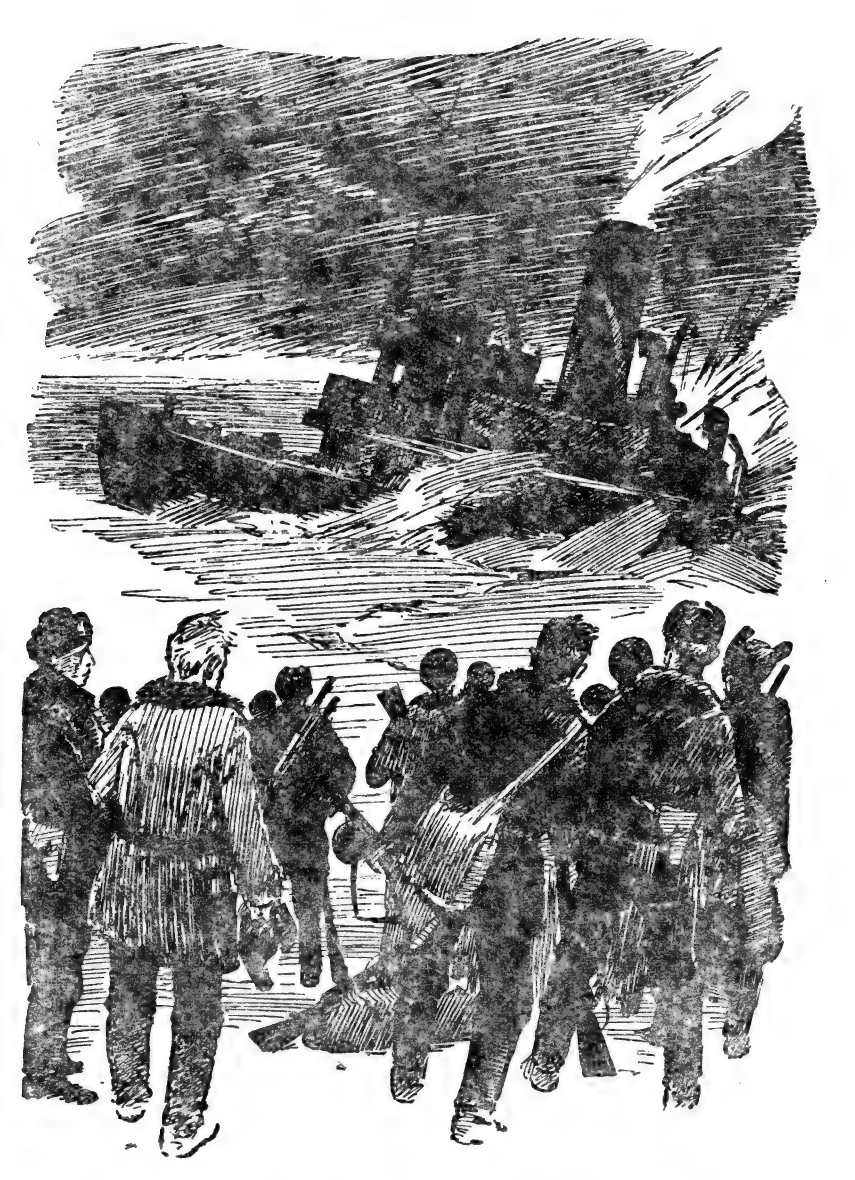
1941

«ЧЕРНАЯ ТУЧА»

(Из фронтовых записей)

Бой ушел вперед.

Он гремел теперь далеко в степи, и сюда доносилось лишь приглушенное ворчание разрывающихся мин и снарядов. Над опустевшими окопами, вырытыми в агротехнической посадке вдоль ровной аллеи, легкий ветерок чуть шевелил деревья, вернее, огрызки деревьев.



...Раздался резкий треск льда, и льдина под бортами «КП-16» откололась, давая ему дорогу.

Тонкие их стволы были срезаны, расщеплены или белели ранами сорванной коры, ветви — надломлены, обгрызены, посечены. Листья, пробитые и надорванные, преждевременно пожелтели. Изуродованная зелень молчаливо свидетельствовала о том, что́ вытерпели люди, укрывшиеся под ней в неглубоких своих окопах. Две недели свистел в этой рощице металлический вихрь, две недели рвались здесь мины, снаряды, авиабомбы, густыми роями летели пули — и когда-то высокие и пышные акации превратились в низкий общипанный кустарник.

Две недели бились здесь черноморские моряки, сошедшие с кораблей для смертного боя с фашизмом.

Это были два батальона Первого морского полка. В начале осады Одессы его сформировал и повел в бой командир Одесского военного порта полковник Осипов, старый моряк, матрос с «Рюрика» и «Гангута», который в гражданской войне бился в Первом кронштадтском экспедиционном отряде и командовал матросским отрядом на Волге. Новый полк в первом же бою отбросил румын от ближних подступов к городу и захватил эту посадку у колхоза Ильичевка. Она была очень важна: во-первых, она закрывала врагу подход к высоте, выгодной для обстрела Одессы, во-вторых, отсюда в свое время, с прибытием подкреплений, командование рассчитывало начать новый удар.

Это отлично понимали и осаждающие. На два батальона моряков, державших посадку, румыны бросили целую дивизию — два пехотных и один артиллерийский полк. Посадка оказалась в фактическом окружении: спереди, сзади, слева и справа были румыны, и только высокая кукуруза, протянувшаяся к железнодорожному полотну, где оборонялась остальная часть полка, была единственной дорогой, по которой ночами подтаскивали морякам цинки с патронами, мины, пищу и воду. И по этой же кукурузе не раз пробирался к своим бойцам полковник Осипов, чтобы осмотреть позицию, распорядиться насчет отражения очередной атаки и, кстати, побеседовать по душам.

— Окружением маленьких пугают,— говорил он своим глуховатым негромким голосом, пережидая разрывы мин и снарядов.— Поглядите, как вы тут ладно устрои-

лись: посадочка-то ваша углом идет. Полезут румыны с тыла, внутрь угла попадут: будете их с двух сторон бить. Справа навалятся — левая посадка фланговым огнем их положит. Слева сунутся — правая так же будет во фланг косить. Ну, а если черт их понесет на самый уголок, тут у вас полная мощь огня, понятно?.. За такую посадку денежки платить можно. Ваше дело — не зевать, высматривать, откуда полезли. Крепче держитесь, товарищи, по-флотски держитесь!.. Скоро эту посадочку оставим, вперед пойдем. Не на мертвый же якорь тут стали!

И моряки держались. Ежедневными атаками враг пытался сломить их сопротивление. Две недели подряд одна за другой накатывались волны атакующих румын (в иную атаку до восьми волн) — и разбивались о твердость и мужество краснофлотцев, как о скалу.

Грудами трупов, наваленных друг на друга, эти волны так и застыли у окопов неопровержимым доказательством краснофлотского мужества и стойкости. Пули, остановившие их на бегу, были у них во лбу, в сердце, в груди — точные, прицельные пули спокойного морского огня. Убитые лежали без оружия: оно попало в руки моряков, и солдаты, лежавшие сверху недвижной этой груды, были повалены пулями из румынских же автоматов и пулеметов, принесенных сюда накануне теми, кто лежал внизу.

Только полсотни шагов отделяло убитых от посадки. Так учил своих бойцов полковник Осипов:

— Не нервничай, ближе подпускай. Они в атаке орут, поливают из автоматов, на психику берут, вон как вчера шагали — в восемь рядов, с музыкой и иконами: нам, мол, все нипочем!.. А вы их тоже на психику берите: топай, мол, топай, а я обожду, когда у тебя гайки начнут отдаваться... Молчите и поджидайте. Пусть на предыдущих ораторов полюбуются: тоже на мораль действует, экое кладбище навалено!.. Вот когда так подойдут, что их карточки рассмотришь, когда глаза их увидишь, а в них страх,— тогда и бей в лоб. Веселее будет: одного повалишь, десять сами назад побегут...

И сидели моряки под срезанными начисто ветками, часами выдерживая бешеный минометный и артиллерийский огонь, предвестник атаки, сидели и под диким лив-

нем автоматического огня наступающих румын. Сидели, «не нервничая», молча давая атакующим дойти до груды трупов и понять, что тут — смертный рубеж, которого не перейти, что так же, как сегодня, шли на эту посадку вчера, и позавчера, и неделю назад другие роты и батальоны. И небритые лица румын, уже перекошенные страхом подневольной атаки, впрямь искажались ужасом перед грозным молчанием морских окопов, таящим смерть, перед выдержкой и мужеством «черных комиссаров».

«Черные комиссары», «черная туча», «черные дьяволы» — так прозвали румыны краснофлотцев морских полков. Моряки пошли с кораблей в бой в чем были — в черных брюках и бушлатах, в черных бескозырках. Такими они и запомнились румынам при первых встречах, когда, подпустив их вплотную к окопам, моряки встретили их яростным и точным огнем, когда, словно вой шторма, пронеслись по полю и свист, и крик, и издевательское улюлюканье, когда черные высокие фигуры замелькали в зелени посадки в бешеной контратаке и нельзя было ни автоматами, ни пулеметами остановить их неудержимый бег, когда внезапной угрозой вставали над желтой кукурузой черные бескозырки и могучие руки в черных рукавах бушлата заносили над грудью острый и быстрый штык...

С первых этих встреч многое изменилось во внешнем виде морской пехоты: краснофлотцев переодели в защитную форму. Но часто, взлетая на бруствер окопа, словно на трап по тревоге, быстрым морским прыжком, моряки вытаскивали откуда-то из-за пазухи флотскую бескозырку, и черные фуражки опять мелькали в кукурузе наводящим ужас видением «черной тучи» — нетерпеливой, грозной силы, устремленной лишь к одному: разбить и уничтожить врага.

Такими запомнили моряков румыны. Нам же, кто видел и помнит прежние бои за революцию, знакомо и это мелькание бескозырок в зелени кустов, знакомы и ленточки, развевающиеся в атаке. Как будто вставали из боевых своих братских могил матросы, дравшиеся и в степи, и в лесу, и на конях, и на бронепоездах — везде, куда посылали их революционный народ и партия; как будто воскресло орлиное племя матросов революции: тот

же дух, то же боевое упорство, натиск и смелость, то же презрение к смерти, веселость в бою и ненависть к врагам. Пусть эти, новые, моложе, пусть за плечами у них нет долгих лет царской службы, школы ярости и гнева, но это — одно племя, одна кровь, одна мужественная семья моряков, какие бы имена кораблей ни сверкали на их ленточках и с какого бы моря ни сошли они на сушу бить врага — с Черного ли, с Балтийского ли, с Тихого или с Ледовитого океанов.

На берегу они сохраняют в своих бригадах и полках ту же сплоченность и боевую дружбу, которая рождается только кораблем. Корабль, где люди живут, учатся, спят, бьются в бою и гибнут рядом — локоть к локтю, сердце с сердцем,— необыкновенно сближает людей, связывает их прочной личной привязанностью и создает из них монолитный коллектив.

И это свойство моряков — быть в коллективе, гордиться именем своего батальона, как именем корабля,— сказывается и в окопе, и в атаке, и в разведке. Разные люди с разных кораблей сошлись в батальоне, но, глядишь, через недельку этот окоп или блиндаж напоминает кубрик. Уже появились ласково-грубоватые прозвища, уже летают свои, понятные только здесь шутки. Уже всем известно, что Васильев с «Червонной Украины» — спец по ночной разведке, а Петров с «Беспощадного» — отличный снайпер, что старшина роты, комендор с «Ворошилова», человек очень горячий и что в атаке за ним надо присматривать и, в случае чего, выручать: того и гляди, полезет один против десяти и погибнет зря из-за своего характера. Уже все знают, что нет в полку лучшего минометчика, чем Иванов с тральщика — не тот Иванов из авиабригады, который пристрелил мотоциклиста и рванул дальше на его машине, и не тот Иванов с канлодки, что пошел ночью в кукурузу оправиться, а вернулся с двумя румынами: напоролся на разведчиков, одного стукнул по голове, другой же сам лапки кверху,— а тот Иванов, у которого усы и который играет на баяне...

И каждый из моряков с восхищением и почтительной завистью к отваге будет целый час рассказывать вам о своем полковнике, о его шутках, о его личных подвигах, о его легендарной машине, пробитой осколками и прошитой пулеметными очередями, на которой он подлетает к

окопам, словно на катере к парадному трапу. С любовью, как о близком друге, расскажут вам моряки о военкоме полка Владимире Митракове, о том, как видели его всегда рядом с собой в самых опасных местах, как обучал он моряков стрельбе из трофейных автоматов, как пробирался он к окруженным подразделениям, неся с собой волю к победе, веселую шутку и дружеское, теплое слово, и как провожали его, раненного, в тыл, как ждут его обратно — всем полком — и какую встречу ему готовят.

Посидите с моряками вечерок в окопе — и вся жизнь нового коллектива, этого корабля на суше, встанет перед вами во всей ее суровой и веселой простоте, в шутках и подначках, в уважительных отзывах о храбрейших, в мужественной скорби по погибшим товарищам, и во всяком взводе увидите вы неразлучных друзей, из которых каждый отдаст жизнь за нового своего друга, «корешка» или «годка»...

И если в такой коллектив попадает молодой человек, не видевший ранее ни корабля, ни моря, он впитывает в себя этот мужественный дух, традиции и боевые навыки, эту присущую морякам гордость за свой корабль (или батальон) и желание сделать его лучшим, красивейшим, храбрейшим. Молодого человека смущает, что не может он, подобно товарищам, надеть в бой драгоценную ленточку с именем своего корабля, что в беседах между атаками никак не назвать ему тех, с кем он плавал, кто командовал его кораблем, кто был на нем комиссаром. Но тем более хочется ему доказать этим особенным людям, понимающим друг друга с полуслова, полужеста, что и он достоин войти в их тесную и смелую семью. И он идет в бой впереди других, уходит в опасную разведку, кидается один на десяток врагов. Он хочет завоевать право не опускать глаз перед этими мужественными, простыми и веселыми друзьями-моряками.

Так получилось и с молодым севастопольским пареньком Юрием Меем. В Третий морской полк, формировавшийся в Севастополе, он пришел добровольцем, не служив еще на флоте. В конце сентября крейсер с десантом подошел ночью к Одессе; моряки в темноте погрузились на баркасы и погребли к берегу, в тыл румынам. Вместе с остальными Мей спрыгнул по грудь в холодную воду и так же, как остальные, не почувствовал холода (моряки

потом говорили: «Холодная вода, понятно... Но очень тогда азартно было, не замечали...»). В темноте взвод его ворвался в прибрежную деревню, напоролся там на тяжелые орудия, перестрелял и переколол немецких артиллеристов. Так провел Мей ночь, день и еще ночь в яростном бою — в первом своем бою.

Удар десантного полка во фланг румынам в сочетании с лобовой атакой батальонов Первого морского полка (покинувших наконец для этого свою знаменитую посадку у Ильичевки) отбросил врагов на несколько километров. Моряки заняли новые позиции, расположившись в недавних румынских окопах, повернув их фронт к врагу. Напор моряков освободил Одессу и порт от обстрела тяжелой немецкой батареей. Орудия были отправлены в город, и каждую пушку провезли по улицам с выразительной надписью, выведенной белой краской на черном длинном стволе: «Она стреляла по Одессе, больше не будет».

Немецко-румынские фашисты решили вернуть потерянные ими выгодные позиции. Удар за ударом, атака за атакой, тысячи мин и снарядов посыпались на Третий полк. Враги пытались подавить его сопротивление количеством: утром 29 сентября на окопы, где был один третий батальон этого молодого полка, двинулось до полутора тысяч румын.

Автоматчики их еще в темноте подкрались к окопам на семьдесят метров и с началом атаки открыли огонь, держа моряков в земле и не давая поднять головы. Моряки, как обычно, подпустили атакующих поближе и скосили первую волну. Трое краснофлотцев — Димитриенко, Вчерашний и Лисьев — выскочили из окопов, закололи автоматчиков в кукурузе и их же оружием стали бить во фланг следующей цепи румын, пошедшей в атаку.

В окопе сперва не заметили, что вслед за этими тремя выскочил и Мей. Он залег с винтовкой в кукурузе, стреляя вдоль румынской цепи. На него, прячась за копнами, пошло до шестидесяти румын со станковым пулеметом. Мей поднялся во весь рост, швырнул две гранаты, отбил пулемет. Он быстро повернул его и погнал им все шесть десятков солдат назад. Увлекшись этим, Мей перетаскивал пулемет все дальше и дальше вперед, кося им откатывающихся румын... И хорошо, что командир роты заме-

тил это и выслал к Мею еще семерых моряков, иначе он был бы отрезан от своих.

Так доброволец Юрий Мей вошел в боевую семью Третьего морского полка, и никто уже больше не спрашивал его с дружеской насмешкой, с какого он корабля и какой специальности, и представили мне его так: «который с чужим пулеметом в отдельном плаванье был»...

В этом же бою произошло то, что командир батальона старший лейтенант Торбан, смеясь, назвал «стихийной контратакой».

Батальон отражал одну атаку за другой. Сильный автоматный огонь сменялся минометным, потом снова надвигались цепи румын. Поднять людей в контратаку под этим огнем, прижимавшим к земле, Торбану казалось делом трудным, и он медлил, выжидая хоть какой-нибудь передышки. Но далеко от командного пункта, в девятой роте, командир отделения Вялов, пригибая голову под роем свистящих пуль, повернулся к командиру роты Степанову:

— А что, товарищ лейтенант, если самим на них кинуться?.. Прямо же терпения никакого нет, до чего хлещет... Может, ударить — драпанут?

И в огонь, которого, казалось бы, не могут выдержать человеческие нервы, выскочили из окопа во весь рост сразу трое: Вялов, Степанов и услышавший этот разговор пулеметчик с канлодки Соболев. За ними, как один человек, тотчас кинулась вперед вся девятая рота. Увидев это, поднялась и соседняя — седьмая. За ней — первая. Боевой порыв шквалом поднял моряков и в соседнем, втором батальоне. «Черная туча» ринулась на атакующих румын и, спотыкаясь о вражеские трупы, наваленные перед окопами, покатилась неудержимой страшной лавиной. Румыны дрогнули и побежали назад...

— Ну и дали они ходу — узлов на тридцать! — рассказывал потом лейтенант Степанов, оживленно взмахивая веревочными вожжами (он взялся самолично доставить меня в соседний Первый морской полк на скрипучей мажаре, запряженной парой отбитых у румын коней).— Попрыгали сперва в свои окопы, а мы сбоку налетели, перекололи порядком, кто не поспел выскочить. Остальных гнали, гнали, восемь километров гнали, пока краснофлотцы не притомились... Тпру, черт!.. Извините, правый

мотор отказал,— перебил он себя и спрыгнул с мажары, чтобы освободить заднюю ногу лошади от вожжи: лейтенант до зачисления в полк командовал торпедным катером.

Этот бой дал огромное количество трофеев: две тяжелые немецкие батареи, державшие порт и город под обстрелом, автоматы, пулеметы, винтовки, минометы, танки, зенитки... В новых окопах у каждого моряка Первого и Третьего полков рядом с родной трехлинейкой лежал теперь заработанный в бою автомат или пулемет, выставив из зелени посадки свой черный ствол и поджидая бывших хозяев. В Первом полку, куда привез меня Степанов, полковник Осипов как раз и уточнял количество трофеев.

— Да это я слышал, сколько вы сдали в трофейную комиссию. Вы мне скажите, сколько себе оставили? — добивался он от майора, командира первого батальона.

Майор конфузливо отводил глаза и убедительно прижимал руку к груди:

— Да самую малость, товарищ полковник, пустяки...

— Ну все-таки? Не отниму же я у вас!

— Как сказать... прошлый раз шестнадцать автоматов во второй батальон взяли?..

— Взял, потому что те только на минометы напоролись. Вам же три их миномета прислал. Ну, начистоту — сколько?

Майор томился. Полковник Осипов оглядел посадку. В зелени стояло штук тридцать трофейных ящиков с минами. Он открыл крышку первого. Но там вместо мин оказалась белая пышная курица, в другом — кролик. Он, моргая, смотрел на полковника, и тот рассмеялся. Рассмеялся и майор, а за ним засмеялись и краснофлотцы— пыльные, перемазанные землей (они подправляли румынские окопы).

— Румынское хозяйство,— пояснил майор.— Двенадцать кроликов, четырнадцать кур и один петух... Тоже прикажете в комиссию сдать, товарищ полковник?

За трофейной яичницей в бывшем офицерском блиндаже, когда разговор пошел неофициальный, майор наконец признался, что в батальоне насыщенность автоматным и пулеметным огнем, по его мнению, теперь достаточная и что штук двадцать можно передать молодому Третьему полку. Полковник Осипов усмехнулся.

— Ну, то-то... Только им не надо: они сами нам тридцать штук предлагают... Смотри, майор: морячки пришли что надо, как бы нашему полку не отстать...

Так показал себя в первом же восьмисуточном бою Третий морской полк, только что сформированный из краснофлотцев, впервые сошедших с кораблей в десант. В непривычной обстановке, не умея еще как надо применяться к местности, окапываться, вести разведку, держать связь, моряки показали образцы боевого напора, смелости и инициативы. Вперед, только вперед — вот лозунг, с которым они ринулись в бой.

И моряки шли вперед «черной тучей», сметающей сопротивление, сеющей ужас и панику, шли, сшибая мотоциклистов и мчась дальше на их же машинах, сшибая кавалеристов и громоздясь на трофейных коней. Дважды, трижды раненные моряки не выходили из боя. Падали товарищи рядом — остальные шли вперед, горя местью, горя давней матросской яростью. К упавшим подползали санитары и под огнем вытаскивали раненых. Оставшиеся на ногах шли вперед, в неизвестные и непонятные рощицы, посадки, в заросли кукурузы, в сожженные и разграбленные деревни, шли, окруженные врагами, в самую гущу которых с фланга ворвалась с моря эта «черная туча»...

Так две ночи и день шел через расположение врага Третий морской полк, пока не вышел на соединение с частями Приморской армии и с Первым морским полком полковника Осипова. Красноармейцы, увидев в кукурузе запыленные и обожженные боем черные фигуры, встретили их радостными криками: «Ура! Моряки!..»

С осиповцами встреча вышла более любопытной.

Трое разведчиков Третьего полка, пробираясь на второй день по кукурузе, заметили в ней шевеление. Они присмотрелись и увидели шесть человек в камуфлированных плащ-палатках. Румынские автоматы торчали из-под вражеского этого одеяния. Разведчики шепотом посоветовались: шестеро, а может, там еще кто притаился?.. Но проверить надо, на то и разведка.

Моряки, наклонив штыки, выскочили из кукурузы и кинулись через прогалину во весь рост.

— Сдавайтесь, руманешти! Моряки идут!.. Матрозен, матрозен!..

Из кукурузы охотно выскочила фигура в румынской плащ-палатке. Она кинула автомат и раскрыла руки, как для объятия. Моряки на бегу переглянулись: сдается, факт!.. И вдруг «румын» закричал на русском языке:

— Славному Третьему морскому полку ура!

И кукуруза подхватила «ура», и из-за шуршащих стеблей выскочили еще люди в румынских плащах, и трудно было понять, кто кого «брал в плен» — так переплелись дружеские объятия. Связь между двумя полками морской пехоты, разделенными врагом, была установлена.

Когда первый восторг встречи улегся, моряки Первого полка спросили:

— Чего же вы, орлы, на нас кинулись? Ох и напугали, вот напугали...

— А черт вас догадал так обрядиться, — недовольно сказали моряки Третьего полка.— Мы же вас вполне пострелять могли. Хорошо, что на штык вас решили взять, а то бы подырявили пулями...

— Да мы вас уже полчаса в кукурузе рассматриваем,— ответили «старички» осиповцы.— Бушлатики, товарищи, поснимать придется. Война здесь другая... А что втроем в атаку кидаетесь — это по-нашему, по-осиповски. Значит — сдружимся.

И через несколько дней краснофлотцы Третьего морского полка научились и окапываться поглубже, и в разведку незаметно ходить, и прикрывать черную матросскую робу защитной гимнастеркой или плащом. Одному не изменили новые бойцы: верности флотским традициям, идущим от «Потемкина», от штурма Зимнего дворца, от давних боев на Урале, Перекопе, Волге и Донбассе,— мужеству, напору, верности родине, готовности быть всегда и всюду первыми.

И грозное слово «черная туча», родившееся в исторической обороне Одессы, где на каждого советского воина приходилось не менее шести врагов, пошло гулять по фронтам Отечественной войны всюду, где навстречу врагу появлялись яростные и гневные полки морской пехоты.

1941

СОЛОВЕЙ

На фронте под Одессой работал отряд разведчиков-моряков. По ночам они пробирались в тыл румынам, проползая на животе между минными полями, переходя по грудь в воде осеннего лимана, забираясь на шлюпке далеко за линию фронта. Они снимали часовых ударом штыка или кинжала, забрасывали гранатами хаты со штабами, сидели под обстрелом своих же батарей, корректируя огонь,— неуловимые, смелые, быстрые, «черные дьяволы», «черные комиссары», как с ужасом звали их румыны.

Среди них был электрик с миноносца «Фрунзе», красивый и статный моряк с гордыми усиками, которого за эти усики и за любовь к кавалерийским штанам прозвали «гусаром». Галифе, армейские гимнастерки и пилотки были вызваны необходимостью: не очень-то ловко ползать по болотам в широких морских штанах и флотских ботинках. Разведчики изменили морской форме, но «морская душа» — полосатая тельняшка — свято сохранялась на теле и синела сквозь ворот неоспоримым доказательством принадлежности к флоту, и на пилотке под звездочкой гордо поблескивал якорек.

В жаркий пыльный день шестеро разведчиков шли через Одессу из бани. Пить хотелось нестерпимо. Но пить в городе хотелось всем, и у ларьков толпились очереди. Моряки со вздохом прошли три ларька, поглядывая на часы. Стать в очередь у них не хватало времени. Внезапно им повезло: с неба раздался характерный жужжащий вой мины. Это было на краю города, куда мины порой залетали, и звук их — противный, ноющий, длинный — был хорошо знаком одесситам. Очередь распалась, люди побежали от ларька под защиту каменных стен домов.

Но мина не взорвалась. Она проныла свою скверную песню и бесследно пропала. Зато у освободившегося ларька, откуда привычный ко всему продавец так и не ушел, уже стоял «гусар» и с наслаждением тянул содовую воду, приглашая остальных моряков.

Оказалось, что «гусар» был одарен необыкновенной способностью к звукоподражанию. Из его розовых полных губ вылетали самые неожиданные звуки: свист снаряда, клохтанье курицы, визг пилы, вой мины, щелканье



Он свистел чисто и сильно, и верный, прозрачный его свист звучал далекой мечтой о мирной, спокойной жизни...

соловья, шипение гранаты, лай щенка, отдаленный гул самолета. И способности эти, едва они обнаружились, были немедленно обращены на пользу дела.

«Гусара» объявили «флагманским сигнальщиком», разработали целый код и понесли его на утверждение командиру. Клохтанье курицы означало, что у хаты замечен часовой, кряк утки — что часовых двое. Пулеметчик, замаскированный в кустах, вызывал жалобный посвист иволги. Место сбора ночью после налета на румын определялось долгим пением соловья, который с упоением артиста, самозабвенно щелкал в кустах или у шлюпки.

Вечерами, когда разведчики отдыхали после опасного рейда, «гусар» устраивал в хате концерт. Моряки лежали на охапках сена, и он, закинув руки за голову, свистел.

В темной хате, где свежо и тонко пахло сеном, он свистел чисто и сильно, и верный, прозрачный его свист, которому аккомпанировали глухие, непрерывные гулы своих и чужих орудий и взрывов (постоянная симфония осажденной Одессы), звучал далекой мечтой о мирной, спокойной жизни, о ярком свете на улицах и в залах, о белых нарядных платьях и чистых руках, о забытом, утерянном спокойствии, уюте и доме. Моряки слушали молча, и, когда замирал последний, утончающийся и переходящий в хорошую, умную тишину звук, гигант-комендор тем глухим урчанием, которое иногда слышишь в могучей дымовой трубе линейного корабля, негромко басил:

— Ще давай... Гарно свистишь.

И моряки лежали на сене и думали о войне, судьбе и победе и о том, что будет еще — непременно будет! — жизнь с такой же тишиной и с мечтательной песней. И орудия за стенами хаты извергали металл и крошили тех, кто ворвался в нашу мирную жизнь.

В очередном походе в румынский тыл «гусар» остался в шлюпке в камышах — охранять это единственное средство возвращения к своим и, как обычно, быть «флагманским сигнальщиком». Ночью моряки натворили дел в тылу, сняли два пулемета, взорвали хату с румынским штабом и к шести утра возвращались к шлюпке. Крадучись, они подходили к камышам. Одного несли на руках — его ранило разрывной пулей в бедро, двоих товарищей недосчитывались. В камышах все прилегли отдохнуть и стали слушать ночь, чтобы определить, где находится шлюпка.

В ночи пел соловей. Он щелкал и свистел, но трели его были затруднены и пение прерывисто. Порой он замолкал. Потом пение возобновлялось, но такая тоска и тревога были в нем, что моряки оставили тяжелое тело раненого под охраной и кинулись на свист соловья.

«Гусар» лежал в шлюпке навзничь. В темноте не было видно его лица, но грудь его была в липкой крови. Автомат валялся на дне, все диски были пусты. В камышах моряки наткнулись на трупы румын. Очевидно, они обнаружили днем шлюпку и здесь был неравный бой.

«Гусар» не узнавал родных голосов. Он лежал на спине и хрипел тяжко и трудно. Потом он набирался сил, и тонкий свист вылетал из-под его усиков сквозь непослушные, холодеющие губы. Не видя, не сознавая, что те, кому он должен был дать спасительный сигнал, уже вернулись к шлюпке, он продолжал свистеть. Он свистел даже тогда, когда все сели в шлюпку и, осторожно опустив весла, пошли по тихому темному морю.

И соловей — птица кустов и деревьев — пел и щелкал над морем. В шлюпке молчали, и только иногда шумно и долго вздыхал огромный комендор, лежавший рядом с «гусаром».

«Гусар» все свистел, замирая, отдыхая, трудно втягивая воздух. Он все свистел, и небо над морем стало розоветь, и щелканье соловья перешло в мелодию.

Оборванная, изуродованная, как и его тело, она металась над светлеющим морем, и моряки, прислушиваясь к ней, гребли яростно и быстро.

1941

ПАРИКМАХЕР ЛЕОНАРД

Это был волшебный мастер бритья и перманента, юный одесский Фигаро. Впервые я увидел его на одной из морских береговых батарей, куда он приезжал на трамвае (так в Одессе ездили на фронт). Он приезжал сюда три раза в неделю по наряду горсовета — живой подарок краснофлотцам, веселый праздник гигиены.

В кустах возле орудия номер два поставили зеркало и столик, батарейцы сгрудились вокруг, нетерпеливо до-

жидаясь очереди и заранее гладя подбородки. Пощелкивая ножницами, как кастаньетами, он пел, мурлыкал, острил, гибкие его пальцы играли блестящими инструментами, и порой, когда обе руки были заняты пульверизатором, он швырял гребенку на верхнюю губу и зажимал ее носом. Бритва так и летала в его ловких пальцах, угрожая носу или уху быстрыми взмахами, и очередной клиент с опаской водил глазами по зеркалу, следя за ее сверкающим полетом. Но остроты и песни никак не мешали работе, и бритва скользила по щекам, обходя все возвышенности, и Леонард сдергивал салфетку с видом фокусника.

— Гарантия на две недели, брюнетам на полторы! Кто следующий?

Сев на стул, я невольно залюбовался в зеркале его пальцами. Тонкие и гибкие, они нежно прощупывали пряди волос, безошибочно отбирая то, что нужно снять. Каждый палец его, бледный и изящный, жил, казалось, своей осмысленной, умной жизнью, подхватывая кольцо ножниц, зажимая гребенку или выбивая трель на машинке, в неустанном движении, в веселой шаловливости, в постоянном следовании за песенкой, сопровождавшей работу.

Не удержавшись, я сказал:

— С такими пальцами и слухом вам бы на скрипке играть.

Он посмотрел на меня в зеркало и хитро подмигнул.

— Хорошая прическа — тоже небольшая соната. Скажете — нет?

Мы разговорились. Большие черные его глаза стали мечтательными. Он рассказывал о своем профессоре, который называет его «моложавым дарованием», о скрипке, о том, что, когда кончится война, он пойдет в техникум и бросит перманент, из-за которого его зовут Леонардом, хотя он просто Лев. Он говорил о музыке, о любимых своих вещах. Пальцы его, как бы вслушиваясь, перестали балаганить. Выразительные и беглые, они держали теперь гребенку цепко и властно, как гриф скрипки.

Приведя в порядок всех желающих, он достал скрипку, которую неизменно привозил с собой на батарею, и краснофлотцы вновь обступили его. Видимо, эти концерты после бритья стали на батарее традицией.

Южное осеннее солнце сияло на тугих молодых щеках, выбритых до блеска, просторное море манило к себе сквозь зелень кустов, и огромное тело орудия номер два, вытянув длинный хобот, молчаливо вслушивалось в певучие украинские песни, в жемчужную россыпь Сарасате, в мягкие вздохи мендельсоновского концерта. Леонард играл, смотря перед собой через орудие и кусты на море, вторя невидимому оркестру и изредка напоминая о нем звучным, верным голосом. И казалось, что он видит себя на большой эстраде, среди волнующегося леса смычков и воинственной меди труб.

Очередной румынский снаряд, рвануврийся за кустами, оборвал концерт. Леонард со вздохом опустил скрипку.

— Опять пьяный литаврист уронил палку. Им нужен строгий дирижер. Скажете — нет?

Вторично я встретил Леонардо в госпитале. Он лежал, закрытый до подбородка одеялом, и черные влажные его глаза были грустны. Я узнал его и поздоровался. Он кивнул мне и попытался пошутить. Шутка не вышла. В коридоре я спросил врача, что с ним.

Была тревога. Все из парикмахерской кинулись в убежище. Оно было под пятью этажами большого дома. Бомба упала на крышу, и дом, сложенный из одесского хрупкого известняка, рухнул. Убежище было завалено.

В нем была темнота и душный, набитый пылью воздух. Никого не убило, но люди кинулись искать выхода. Закричали женщины, заплакали дети. И тогда раздался звучный голос Леонарда:

«Тихо, ша! В чем дело? Ну, маленькая тревога «у-бе» — «уже бомбили»!.. Больше же ничего не будет... Тихо, я говорю! Я у отдушины, не мешайте мне держать связь с внешним миром!»

В убежище притихли и успокоились. Леонард заговорил в отдушину, и все слышали, как он подозвал кого-то — видимо, из тех, кто кинулся к развалинам, назвал адрес дома («Бывший адрес»,— сказал он), вызвал помощь и пожарных. Один у своей отдушины, не уступая никому этого командного пункта, он распоряжался, советовал, как лучше подобраться к нему. Он спрашивал, как идут раскопки, и передавал это в темноту.

Люди лежали спокойно и ждали. Хотелось пить —

Леонард сказал, что уже ведут к отдушине шланг. Стало душно — он обещал воздух, ибо со своего места уже слышал удары мотыг и лопат. Он передавал в темноту время, узнавал его через отдушину, и всем казалось, что часы текут страшно медленно.

По его информации прошло около шести часов. На самом деле раскопки заняли больше суток, и помощь пришла совсем не со стороны отдушины, в которую он говорил. Отдушины не было, как не было долгие часы ни пожарных, которые раскидывали камни где-то высоко на груде развалин, ни мотыг, ни лопат. Все это выдумал веселый парикмахер Леонард, чтобы остановить панику, успокоить гибнущих людей и вселить в них надежду.

Когда добрались до него, он лежал в глухом углу, и руки его были прижаты тяжелым камнем. Пальцы были размозжены.

Кисти обеих рук пришлось отнять до запястья.

Первую неделю после ампутации он просил выключать радио, когда начиналась музыка. Потом он стал слушать ее спокойно, только закрывая глаза.

1941

ГОЛУБОЙ ШАРФ

Истребители пошли на посадку. Над кабиной одного из них длинным вымпелом развевался голубой шарф. И мне вспомнились читанные в юности рыцарские романы. Так мчался в бой закованный в броню витязь, и тонкий, легкий шарф, повязанный на руке, вскинувшей меч, нес навстречу смерти или победе заветные цвета дамы сердца. Я усмехнулся этому романтическому видению. Шарф был как шарф: все летчики прикрывают шею скользящим шелком, чтобы не натереть ее до крови о воротник кителя или реглана. Очевидно, этому летчику пришлось порядком повертеть в бою головой.

Так оно и оказалось. Возвращаясь со штурмовки, звено было атаковано «мессершмиттами». Они были со всех сторон — и шарф на шее майора, командира эскадрильи, размотался. Майору удалось одного подбить, но в результате он уверен не был — пришлось кинуться на вы-

ручку к Азарианцу. Гоняясь за вторым, майор обнаружил новый вражеский аэродром и теперь предложил командиру полка завтра же в рассветной мгле разгромить на нем немцев.

Самолеты поставили в надежные укрытия (здесь, под Одессой, аэродром был совсем рядом с фронтом), и мы пошли к блиндажу. Смеясь, я сказал майору о витязе и прекрасной даме. Он поднял на меня глаза, еще воспаленные ветром высот и боем, и улыбнулся. Теперь, без шлема, лицо его, окруженное голубой пеной шарфа, показалось мне старше. Майору было, вероятно, за сорок.

За ужином говорили о последнем бое, и летчики подтвердили, что «мессер», подбитый майором, честно закопался в землю. Потом вспомнили размотавшийся шарф, и посыпались шутки.

— Он тебя когда-нибудь из кабины вытянет, как парашют,— сказал полковник.— И куда тебе целый отрез?

— Удобно,— ответил майор.— В нем голова, как в подшипнике, вращается.

— А Миронов у тебя с каким-то чулком летает. Разорви ты свой шарф пополам.

— Клятву не порвешь, товарищ полковник,— сказал майор полушутя-полусерьезно.— Я уж как-нибудь булавками подкалывать буду.

— Это ж амулет, товарищ полковник,— рассмеялся Миронов.— Майор с ним и спит, и воюет, и в баню ходит, надо ж понимать: старый летчик...

Вылет был назначен на пять утра, и летчики стали укладываться спать. Я лег рядом с майором. Устраиваясь, он и в самом деле бережно свернул шарф и подложил его под щеку.

На столе горела лампа, и порой пламя ее высоко вскидывалось из стекла, а за фанерной обшивкой землянки, шурша, осыпался песок: по аэродрому били из тяжелых орудий. Летчики, привыкнув к этой колыбельной, мирно спали, и кто-то могуче храпел, заглушая порой разрывы снарядов.

Шарф щекотал мне лицо. Казалось, от него исходил нежный, чуть уловимый аромат — и воображение мое заработало. От шарфа тянуло юностью, тонкими девическими плечами, и показалось несомненным, что амулет этот дан летчику девушкой, полюбившей мужество и отвагу,

врезанные в спокойных чертах его лица, как в мраморе.

Я приподнялся на локте. Майор дремал. Спокойное, усталое его лицо никак не лезло в придуманный мной сюжет. Это было нехитрое лицо воина, честного труженика авиации, вернувшегося из запаса в строй, и вряд ли оно могло внушить самой романтической девушке такое чувство. Вернее было другое. Я вспомнил, как за ужином он мельком сказал, что при переводе в этот полк ему удалось заехать домой, где он никого не застал: город был под угрозой, и все уехали.

Я представил себе, как он вошел в брошенную квартиру, где все знакомо, все напоминает о близких сердцу людях, где все стыло и пусто, все кинуто в горьком беспорядке торопливых сборов и где призраками стоят лишь воспоминания о мирной жизни, о надеждах, о родной ласке и тепле, которых не найдешь или найдешь не скоро... Я увидел, как стоит он посредине комнаты, оглядывая ее, как сжимаются его губы, как, быть может, слезы ярости и тоски набегают на глаза и как молча он берет в руки первую попавшуюся вещь: голубой шарф, воздушно-легкий призрак былого.

Может быть, у меня родилось бы еще несколько вариантов, но майор пошевелился и открыл глаза.

— Вот ведь, черт, храпит,— сказал он, увидев, что я не сплю.— Хуже стрельбы, ей-богу... Силен...

Храпел Азарианц, утомленный боем. Порой, рявкнув с особой силой, он замолкал, как бы с удивлением прислушиваясь к самому себе. Но рвался рядом снаряд, Азарианц во сне отвечал ему рычанием потревоженного огромного зверя — и вся музыка начиналась сначала.

— Нет, не заснуть,— со вздохом сказал майор.— Покурим?

Мы закурили, и скоро потекла та негромкая беседа — голова к голове,— когда ни залпы, ни разрывы, ни храп соседа не мешают разобрать взволнованных слов.

В боях и в вечной к ним готовности военным людям некогда разговаривать друг с другом о своих чувствах. И чувства их, как жемчуг, оседают в душе сгустком плотным и драгоценным. Но сердце живет, и тоскует, и жаждет открыть не высказанные никому свои тайны. И вот в тихой беседе с гостем, случайным человеком, готовым слушать всю ночь,— в такой ли землянке под грохот сна-

рядов, в окопе ли в ночь перед наступлением, в каюте ли идущего в бой корабля — военные сердца раскрываются доверчиво и желанно. И такое увидишь порой в прекрасной их глубине, что и сам воин, и подвиги его освещаются новым светом. И завеса над тайной рождения отваги приподымается, и в меру познания своего ты понимаешь, что такое ненависть к врагу.

Мои романтические догадки оказались беднее, чем правда жизни и войны. Все было проще, страшнее и значительнее.

В начале войны майор дрался на Балтике. Придя из запаса, он был сразу назначен на охрану небольшого эстонского города. Город этот жил еще старыми представлениями о немцах, и никто в нем не верил всерьез, что они бомбят мирные города. Поэтому на чудесном его пляже с утра до вечера копошились голые тела, и сверху казалось, что море выплеснуло на песок розовато-желтую пену. Майор, барражируя над городом, охранял его отдых и его детей, ища в небе врага. Небо было синим и глубоким, море — теплым и ласковым, песок — горячим и золотым.

Это случилось в воскресенье 29 июня. Он увидел «юнкерс» слева над морем и ринулся к нему. Майору не повезло: фашистский стрелок пробил ему бак, и пришлось идти вниз. «Юнкерс» ускользнул, и майор увидел, как в городе встали черные грибы разрывов. Маленькие аккуратные домики тотчас задымились.

«Юнкерс» повернул к морю, спикировал на пляж — и розово-желтая пена человеческих тел хлынула в море. Из всех своих пулеметов он бил по голым детям, женщинам и подросткам. Они спасались в море, как будто вода могла прикрыть их от пуль. Они ныряли в нее, стараясь стать невидимыми. Но «юнкерс» сделал второй заход — и человеческая волна выплеснулась из моря и хлынула под защиту цветистых зонтов, палаток, навесов, оседая на песке крупными недвижными каплями.

Не помня себя от бешенства, майор бесполезно стрелял по черной удаляющейся точке. Мотор его наконец стал. Он опомнился.

Сесть теперь можно было только на пляж. Майор повел туда подбитую машину, но весь пляж был в трупах детей и женщин. Недвижимые, страшные в предельной

беззащитности обнаженного человеческого тела, они лежали на песке. Наконец он нашел на краю пляжа место, свободное от них.

Он выскочил из кабины, шатаясь. Кровавый туман плыл в его глазах. Ничего не видя, ничего не понимая, он шел как потерянный, не зная куда, пока не споткнулся. Взглянув под ноги, он отпрянул.

Перед ним лежала обнаженная девушка, склонив на плечо голову. Солнце золотило ее нежную кожу и легкой тенью отмечало неразвившуюся грудь. Ниже груди кровавый тонкий поясок опускался к левому бедру — след быстрых, острых пуль, пронизавших насквозь живот. В откинутой руке был зажат легкий голубой шарф — единственная ее броня и защита, которой она пыталась прикрыться от пуль на бегу.

Он поднял его, осторожно разжав еще теплые тонкие пальцы. И так, держа этот шарф и смотря на пляж, усеянный детскими, девичьими и женскими телами, он дал себе молчаливую клятву.

Он не сказал мне ее. Но каждый, в ком бьется человеческое сердце, найдет ей слова, запоминающиеся на всю жизнь.

— Я сплю с ним, чтобы и во сне не забыть о ненависти,— сказал майор, приподымаясь.

Он развернул шарф. Пышная его бахрома была как бы отгрызена. Я вгляделся. Это были узлы: кисти бахромы были сплетены в змейки или связаны морскими кнопами — аккуратными плотными шариками. Кнопов было шесть, змеек — восемь. Продолжая говорить, майор начал плести новую змейку.

— Сегодняшний «мессер»,— сказал он без улыбки,— а кнопы — это бомбардировщики. Только вы нашим не рассказывайте, на смех подымут, вот, скажут, нашел майор игрушки...

Он помолчал, деловито сплетая шелковые нити, потом поднял голову. Лицо его меня поразило.

— Какие тут игрушки,— сказал он глухо.— Пока я все эти кисточки не заплету, все у меня перед глазами тот пляж будет... Не прошляпь я тогда с тем «юнкерсом»... Ну ладно, что в Москве нового?..

В пять ноль-ноль полк в полном составе вылетел на штурмовку найденного майором аэродрома. Самолеты

один за другим поднялись в темноту, и было удивительно, как сумели они там выстроиться за ведущим «ястребком», где был майор.

Часа через полтора самолеты так же один за другим садились на поле. Летчики, разгоряченные стремительным налетом, собирались в кучки, обмениваясь рассказами. Все сошло как нельзя лучше: майор точно вывел весь полк бреющим полетом из-за леска прямо на аэродром. Немцы не успели дать и залпа. В рассветной мгле все запылало, стало рваться, рушиться, гибнуть. Подняться не сумел ни один самолет. Вторым и третьим заходами только добивали уцелевшие машины. Всего насчитали девять бомбардировщиков и восемь истребителей.

Майора еще не было. Наконец показался и его самолет. Он шел опять с длинным вымпелом над кабиной и, видимо, без горючего. Майор кое-как дотянул до поля и сел. Мы побежали к нему. Голубой шарф свисал за борт кабины, и на нем алели пятна крови.

— Товарищ полковник,— сказал майор, не шевелясь,— кажется, меня надо вынимать. Пустяки, в плечо... и в ноге что-то.

Пока бежали с носилками, он доложил полковнику, что после первого захода увидел на западе пять «мессеров» и пошел к ним навстречу (поскольку над аэродромом «все шло нормально») и все время отгонял их атаками, чтобы не дать помешать разгрому.

Тут его положили на носилки, и я заметил его встревоженный взгляд. Я поднял с земли шарф. Он протянул к нему здоровую руку.

Мы поцеловались.

— Теперь на всю поправку работы хватит,— сказал я ему негромко.— Еще девять кнопов и восемь змеек.

Он улыбнулся мне, как ребенку, не знающему правил игры.

— Нет, то не мои... Это ребята били. Я одну змейку сплету: одного-то из тех пяти я все ж таки стукнул...

Носилки качнулись, и он вышел на время из боев, витязь-мститель, покрытый голубым шарфом, залитым его кровью, чистой и горячей, как и его ненависть.

1942

РАЗВЕДЧИК ТАТЬЯН

Знакомство наше было необычным. В свежий октябрьский день, когда яркое одесское солнце обманчиво сияет на чистом небе, а ветер с севера гонит сухую пыль, разговаривать на воздухе было неуютно. Поэтому моряки-разведчики пригласили зайти в хату. Мужественные лица окружили меня — загорелые, обветренные и веселые. В самый разгар беседы вошли еще двое разведчиков.

Оба были одеты до мелочей одинаково: оба в новеньких кителях и защитных брюках, заправленных в щегольские сапоги, в кокетливых пилотках, и оба были обвешаны одинаковым числом ручных гранат, пистолетов, фонарей, запасных обойм. Но если на гигантской фигуре одного такой арсенал выглядел связкой мелких брелоков, то второго этот воинственный груз покрывал сплошной позвякивающей кольчугой: один из разведчиков был вдвое выше другого.

Видимо, мой любопытный взгляд смутил маленького разведчика. Нежные его щеки, еще налитые свежестью детства, зарделись, длинные ресницы дрогнули и опустились, прикрывая глаза.

— Воюешь? — сказал я, похлопывая его по щеке.— Не рано ли собрался? Сколько тебе лет-то?

— Восемнадцать, — ответил разведчик тонким голоском.

— Ну?.. Прибавляешь небось, чтоб не выгнали?

— Ей-богу, восемнадцать,— повторил разведчик, подняв на меня глаза. В них не было ни озорства, ни детского любопытства мальчика, мечтающего о приключениях войны. Внимательные и серьезные, они знали что-то свое и смотрели на меня смущенно и выжидающе.

— Ну ладно, пусть восемнадцать,— сказал я, продолжая ласково трепать его по щеке.— Откуда ты появился, как тебя — Ваня, что ли?

— Та це ж дивчина, товарищ письменник! — густым басом сказал гигант.— Татьяна с-под Беляевки.

Я отдернул руку, как от огня: одно дело трепать по щеке мальчишку, другое — взрослую девушку. И тогда за моей спиной грянул громкий взрыв хохота.

Моряки смеялись. Казалось, все звуки смеха собра-

лись в эту хату, сотрясая ее, и откуда-то сверху их заглушал мощный басистый гул, рокочущий, как самолет: это под самым потолком низкой избы хохотал гигант, вошедший с девушкой. Он смеялся истово, медленно, гулко, чрезвычайно довольный недоразумением, посматривая вниз на меня, пока не рассмеялся и я.

— Не вы первый! — сказал гигант, отдышавшись.— Ее все за парня считают. А что, хлопцы, нехай она будет у нас Татьян — морской разведчик.

...Татьяна была дочерью колхозника из Беляевки, захваченной теперь румынами. Отец ее ушел в партизанский отряд; она бежала в город. Ей поручили вести моряков-разведчиков в родную деревню, и в этом первом трехсуточном походе по тылам врага и зародилась дружба. Девушка пришлась морякам по душе. Смелая, выносливая, осторожная и хитрая, она водила моряков по деревням и хуторам, где знала каждый тын, каждый кустик, прятала их по каменоломням, находила тайные колодцы, и, наконец, когда путь, которым они прошли в тыл врага, был отрезан, вывела разведчиков к своим через лиман.

Первое время она ходила в разведку в цветистом платье, платочке и тапочках. Но днем платье демаскировало, а ночи стали холоднее, и моряки одели ее в то странное смешение армейской и флотской формы, в котором щеголяли сами, возрождая видения гражданской войны. Две противоположные силы — необходимость маскировки и страстное желание сохранить флотский вид,— столкнувшись, породили эту необыкновенную форму.

Впрочем, тапочки у девушки остались: флотская ростовка обуви не предусматривала такого размера сапог.

В таком же тяжелом положении скоро оказался и Ефим Дырщ — гигант-комендор с «Парижской коммуны». Его ботинки сорок восьмого размера были вконец разбиты, и огромные его ноги были запрятаны в калоши, хитроумно прикрепленные к икрам армейскими обмотками. Накануне моего появления секретарь обкома партии, услышав об этом двойном бедствии, прислал громадные сапоги специального пошива, в которые, как в футляр, были вложены другие, крохотные,— и заодно два комплекта армейского обмундирования по росту. Ефим и «Татьян» теперь стали похожи, как линейный корабль

и его модель, только очень хотелось уменьшить в нужном масштабе гранаты и пистолеты, подавлявшие маленькую фигурку девушки.

Они не были декорацией. Не раз Татьяна, поднявшись на цыпочки, швыряла в румынского пулеметчика гранату, и не одна пуля ее трофейного парабеллума нашла свою цель. Своим южным певучим говорком она рассказала мне, что́ видела в Беляевке перед побегом, и ясные ее глаза темнели, и голос срывался, и ненависть к врагу, вскипавшая в ней, заставляла забывать, что передо мной девушка, почти ребенок.

Она не любила говорить на эту тему. Чаще, забравшись на сено в буйный круг моряков, она шутила, пела веселые песни и частушки. В первые недели ее бойкий характер ввел кое-кого из разведчиков в заблуждение. Разбитной сигнальщик с «Сообразительного» — бывший киномеханик, районный сердцеед — первым начал атаку. Но в тот же вечер Ефим Дырщ отозвал его в сторону и показал огромный кулак.

— Оце бачив? — спросил он негромко.— Що она тебе — зажигалка или боец? Кого позоришь? Отряд позоришь... Щоб ты мне к такой дивчине подходил свято. Понятно? Повтори!

Но для других такого воздействия не требовалось. Буйная и веселая ватага моряков, каждую ночь играющая со смертью, несла девушку по войне в сильных своих и грубоватых пальцах бережно и нежно, как цветок, оберегая ее от пуль и осколков, от резких, соленых шуток, от обид и приставаний.

В этом, конечно, был элемент общей влюбленности в нее, если не сказать прямо — любви. Перед призраком смерти, которая, может быть, вот-вот его настигнет, человек ищет сердечного тепла. Холодно душе в постоянной близости к смерти, и она жадно тянется к дружбе, к любви и привязанности. Сколько крепких мужских объятий видел я в серьезный и сдержанный миг ухода в боевой полет, в море или в разведку. Я видел и слезы на глазах отважных воинов, слезы прощания — гордую слабость высокой воинской души. Блеснув на ресницах, они не падают на палубу, на траву аэродрома, песок окопа: подавленные волей, они уходят в глаза и тяжелыми, раскаленными каплями падают в душу воина, сушат ее и



Девушка решила помочь друзьям испытанным способом — пуская румыну в глаза ракету за ракетой, чтобы ослепить его.

ожесточают для смертного боя. Любовь переходит в ненависть к врагу, дружба — в ярость, нежность — в силу. Страшны военные слезы, и горе тем, кто их вызвал.

Ночью после беседы разведчики ушли в набег, а утром я увидел такие слезы: Татьяна не вернулась.

На линии фронта разведчики наткнулись на пулеметное гнездо, расположенное на вершине крутой скалы. Пулемет бил в ночь откуда-то сверху, и подобраться к нему сбоку было невозможно. Моряки полезли на скалу, приказав Татьяне дожидаться их внизу.

Видимо, пулеметчик распознал в темноте разведчиков, карабкающихся по скале: пули застучали по камням. Моряки прижались к скале, но пули щелкали все ближе — румын водил пулеметом по склону. Вдруг справа внизу ярко вспыхнул огонь. Ракета прорезала тьму, направляясь на вершину скалы, за ней вторая, третья. Моряки ахнули: ракетница была у Татьяны. Очевидно, девушка решила помочь друзьям испытанным способом — пуская румыну в глаза ракету за ракетой, чтобы ослепить его. Но это годилось только тогда, когда пулемет был близко и когда другие могли успеть подскочить к нему с гранатами. Сейчас Татьяна была обречена.

Словно вихрь поднял моряков на ноги. В рост они кинулись вверх по скале, торопясь придавить румына, пока он не нащупал Татьяну по ярким вспышкам ее ракет. Теперь все пули летели к ней, отыскивая того, кто сам выдавал себя во тьме. Ярость придала морякам силы, и через минуту румын хрипел со штыком в спине. Люди поползли вниз, поражаясь сами, как могли они в горячке сюда забраться. Обыскали в темноте весь склон, но Татьяны нигде не было.

Бешеный огонь пулемета разбудил весь передний край. Поднялась беспорядочная стрельба, потом забухали орудия. Спрятаться на день здесь было негде — со скалы просматривалась вся местность. Где-то под скалой была каменоломня, но вход в нее могла отыскать только сама Татьяна. Начало светать, надо было уходить.

День прошел мучительно. Этой ночью Ефим Дырц был в другой операции. Теперь он сидел, смотря перед собой в одну точку. Огромные руки его с хрустом сжимались, он обводил всех глазами и хрипло говорил:

— Яку дивчину загубили... Эх, моряки...

Потом он вставал и шел к капитану с очередным проектом вылазки и там сталкивался с другими, пришедшими с тем же. Солнце пошло к закату, когда, выйдя из хаты, я увидел Ефима одного в садике.

Он сидел, уткнув голову в колени, и громадное его тело беззвучно сотрясалось. Может быть, следовало оставить его одного: человеку иногда легче с самим собой. Но скорбь этого гиганта была страшна, и я подсел к нему.

Он поднял лицо. Плакал он некрасиво, по-ребячьи размазывая кулаком слезы и утирая нос. Он обрадовался мне как человеку, которому может высказать душу. Мешая украинскую речь с русской, находя нежные, необыкновенные слова, обнажая свою любовь — целомудренную, скромную, терпеливую,— он говорил о Татьяне. Он вспоминал ее шутки, ее быстрый взгляд, ее голос, и передо мной, как раскрывающийся цветок, вставала Татьяна-девушка, так не похожая на «разведчика Татьяна» — нежная, женственная, обаятельная и робкая. И казалось непонятным, что это именно она приняла на себя ночью пулеметный огонь, помогая морякам добраться до вершины скалы.

Он хотел знать, что она жива и будет жить. Все, что он сберег в себе, чтобы не нарушить боевой дружбы, теперь вылилось в страстной исповеди. Он ничего никогда не говорил Татьяне, «щоб не путать дивчине душу, нехай пока воюет», он нес свою любовь до победы, когда «Татьян» снова будет Таней. Но мечта била в нем горячим ключом, и он видел хату на Днепровщине, Татьяну в ней, и счастье, и лунные ночи в саду, и бешеный пляс на свадьбе...

Его позвал голос капитана. Ефим встал и пошел твердой походкой в хату.

В сумерки он с пятью разведчиками ушел к скале. Мы ждали его без сна.

Утром разведчики вернулись, принеся Татьяну. Оказалось, ее ранило в грудь, и она, теряя сознание, доползла до входа в каменоломню и там пролежала весь день. К вечеру она очнулась. У входа в глубоких сумерках копошились тени и слышался чужой говор. Она начала стрелять. Сколько времени она держала ход в штольню, она не знает. Она била по каждой тени, появлявшейся

у входа. Патроны кончались. Она отложила один — для себя. Потом она услышала взрыв у входа и снова потеряла сознание.

Взрыв был первой гранатой Ефима Дырща. Пробираясь к скале, он услышал стрельбу и, обогнав остальных разведчиков, ринулся туда, ломая кусты, как медведь, в смелой и страшной ярости. Сверху по нему стал бить автоматчик. Ефим встал во весь рост, чтобы рассмотреть, что происходит под навесом скалы: там виднелся черный провал, вход в каменоломню, и возле него три-четыре трупа и десяток живых румын, стрелявших в провал. Он метнул гранату, вторую, третью, размахнулся четвертой — и тут пули автоматчика раздробили ему левое бедро, впились в бок и в руку. Он упал и, медленно сползая к краю обрыва, схватился за траву.

Теперь, когда его принесли на носилках, в могучих его пальцах белел цветок, зажатый им в попытке удержаться на склоне.

Он поднял на меня мутнеющий взгляд.

— Колы помру, мовчите... Не треба ей говорить, нехай про то не чует... Живой буду, сам скажу.

Он закрыл глаза, и разведчики с трудом подняли носилки с тяжелым телом комендора с «Парижской коммуны».

1942

В ЛЕСУ

Из глубокого безразличного забытья стало смутно возникать неопределенное чувство тяжести в ногах. Оно беспокоило все сильнее, и наконец мышцы сократились тем бессознательным движением, которым спящий устраивается поудобнее. Но что-то помешало подогнуть ноги, и это дало в мозг тревожный сигнал. Первая, еще неясная мысль подсказала, что на ноги опять навалился Коля Ситин, сосед по нарам. Резким, уже сознательным движением попытался высвободить ноги. Тогда он почувствовал боль и открыл глаза.

Несколько мгновений он смотрел перед собой, щурясь от яркого света и пытаясь понять, почему он лежит на

животе в снегу, придавленный елью, густые ветви которой образовали над ним шатер.

Сквозь остро пахнущую морозом и смолой зеленую хвою, нависшую у самого лица, ослепительно белел снег. Отягощенные им широкие лапы елей были неподвижны. Глубокую тишину зимнего леса нарушало чье-то прерывистое дыхание рядом.

Он прислушался. И, вдруг поняв, что так громко дышит он сам, тотчас широко раскрыл рот. Вместе с этой осторожностью разведчика окончательно проснулось сознание. Сразу вспомнив, где он и что с ним, он покрылся горячим потом. Сердце, сорвавшись, забилось гулко и часто. Ни волевым напряжением, ни ровным дыханием нельзя уже было удержать его бешеный стук, наполнивший, казалось, весь лес. Тошнотная истома поднялась от ног, заливая все тело сонной, проклятой, бездеятельной вялостью. Это был страх, обыкновенный животный страх, отчаянный протест живого человеческого тела, внезапно увидевшего себя в ловушке, из которой выход один — в смерть.

Он попытался понять свое положение. Во враждебном лесу, беспощадно освещенном солнцем, он лежал совершенно один, почти безоружный, только с гранатой у пояса, лежал, прижатый елью. Она укрывала его от точной пули снайпера, но придавила, а может быть, и перебила ноги. Винтовка была вышиблена из рук тем тяжелым и горячим ударом, который выбросил его из густого ельника сюда, к подножию сосны, ударил о снег и погрузил в это забытье.

Ночью их было двое — сам Колобанов и беспокойный его сосед по землянке Коля Ситин. Ползком они подобрались сюда в белых халатах, бесшумные и осторожные, два друга, два удачливых краснофлотца, два лучших разведчика морского отряда. Вон в той заросли ельника они пролежали полчаса, а может быть, час, прежде чем выползти на открытый снег между ельником и колоннадой сосен. Они лежали и слушали лес. Опытное ухо различало далекий звяк оружия и шуршание там, за соснами, но здесь все было тихо.

Тогда Ситин надавил ему кисть руки два раза и, погодя, еще раз, что означало «иду вперед один», и выполз из ельника. Он исчез в трех шагах, ползя по снегу неяс-

ной тенью, медленно и беззвучно, как умел это делать только он. Но все же где-то рядом щелкнул негромкий и сухой снайперский выстрел, будто хрустнул под ногой сук, и опять в ночи встала глубокая лесная тишина. Колобанов подождал пять — десять минут, уверенный, что Коля вернется,— не раз после таких же выстрелов, бесполезных во мраке, они встречались целыми. Но Ситин не возвращался. Тогда он пополз вперед, чтобы помочь ему, если тот ранен, или убедиться, что он погиб. Но на четвертом метре опять, уже с другой стороны, близко щелкнул выстрел, у левого плеча взметнулся снег, и пришлось надолго замереть, выжидая, пока у невидимого снайпера не зарябит в глазах от пристального всматривания в темноту.

Но скоро кто-то дернул его за правый валенок: Ситин, «разведчик-невидимка», как прозвали его в отряде, оказался уже сзади. Колобанов отполз назад в ельник и прилег к другу. Жаркое дыхание того грело ему щеки, и можно было угадать, что он улыбается озорной возбужденной улыбкой охотника, напавшего на дичь. Без шепота, одним горячим дыханием, Ситин сказал: «Полнó кукушек... давай по ельнику... пощупаем, что справа...» И тотчас гибкое его тело скользнуло в чащу. Колобанов пропустил его вперед и пополз, осторожно пригибая и отодвигая торчащие из снега ветки. Тут впереди встал огненный столб, тяжелый воздух опалил лицо. И, успев еще понять, что его несет неудержимой силой взрыва, Колобанов потерял сознание.

Теперь, очнувшись, он понял, что ночью его кинуло миной к этой сосне, в какую-то яму, и завалило елью, вырванной с корнем. Не шевелясь, он разглядывал сквозь ее хвою ельник, снег и деревья, отыскивая Колю. Потом он увидел на розовом снегу нечто страшное и закрыл глаза. Он был один. Теперь это было несомненно. И это был конец.

День едва начался. Разящий, беспощадный солнечный свет заливал лес, и на деревьях сидели снайперы, те, что охотились за ним ночью. Оставить яму было невозможно. Ждать ночи — на это не хватило бы тепла. Его и так мало оставалось в теле, намерзшемся за долгие часы забытья.

Солнце переползало по пышным елям, двигалось во-

круг желтых смолистых стволов сосен. Все это было очень медленно. Лес молчал.

Он думал обо всем, кроме леса, тишины и света. Он представлял себе темную украинскую ночь, запах вишен, журчание у запруды. Он вызывал в памяти всякую темноту, которую когда-либо знавал. Он думал только о темноте — любовной, боевой, усталой и сонно-ночной. Он ждал только темноты, когда можно будет выползти из-под ели. Изредка он открывал глаза и смотрел на освещенные колонны сосен.

Время потеряло смысл. Оно не двигалось, и темнота, казалось, никогда не могла наступить.

Отчаяние охватило его. Он нащупал гранату. Это было бы проще всего. Стоило сорвать кольцо, и он будет лежать спокойно, как Коля Ситин...

И не нужно будет считать удары сердца, искать, как переместилась тень от сосны. Не нужно будет ждать, ждать и ждать, когда ждать было немыслимо.

Он посмотрел на розовый снег возле неподвижного тела и вдруг почувствовал у щеки жаркое дыхание друга, его беззвучный шепот, озорную улыбку и тут же подумал, что так, наверное, шептал Коля слова в чье-то девичье ухо, отодвигая дыханием завитки волос. И снова страстная жажда жизни охватила его. Надо было жить, чтобы отомстить тем, кто навсегда остановил это жаркое дыхание. Мысль эта показалась ему важнее всего, и он напрягал мышцы, разогревая тело для схватки, мозг для выдумки, душу для ненависти.

Тишина леса внезапно разорвалась. Сухо и раскатисто треснул воздух, ветви елей зашевелились, снег пышными клоками упал вниз с нескольких ветвей. Снова и снова рвалось где-то вверху небо, и Колобанов понял, что это начался обстрел леса: наши орудия били шрапнелью над деревьями, спугивая снайперов. Лес ожил. Падали ветви, надсеченные горячим металлом. Рядом с визгом упал осколок. С шумом вылетели из ельника две черные птицы. Выскочила белка и юркнула в гущу ветвей, осыпав пушистые комья.

И тогда с недалекой сосны неуклюже и медленно, цепляясь за ветви, пополз вниз человек.

Он был в чужой, но знакомой одежде, закутанный, обвязанный, готовый к долгому морозу. Он спускался

безоружный, оставив в ветвях автомат, из которого бил ночью по разведчикам. Жаркая волна пробежала по телу Колобанова и едва не подняла его из-под ели. Потом он передумал и осторожно потянулся за гранатой, не опасаясь раскрыть себя: теперь снайперу было не до шевеления ели — осколки свистели по лесу, и он сам торопился в укрытие. Колобанов вытянул ноги из-под ели, сжался в комок, готовый к прыжку, к броску гранаты и к быстрому бегу в ельник, но тут что-то тяжелое и теплое обрушилось на него.

Не понимая еще, что это, он ударил локтем назад, услышал стон и мгновенно перевернулся под навалившейся на него тяжестью.

Это был второй снайпер, тот, который, сидел на сосне над Колобановым и теперь спустился в вырытую заранее яму у корней, спасаясь от шрапнели.

Схватка была короткой и страшной. Враг тянулся за кинжалом к поясу. Колобанов, придавливая ему руку, искал оружия. Граната снова попалась ему под руку. Взмахнув ею, он ударил врага по голове, как молотком, несколько раз, пока тело того не ослабло.

Дрожа от гадливости, он вытащил у него из-за пояса кинжал и сделал то, чего требовала эта внезапная встреча в яме. Потом он поднял ветви ели, высунул голову и осмотрелся не таясь. Шрапнель продолжала визжать между ветвей, воздух рвался с треском, обстрел шел плотно и беспощадно. Он посмотрел на убитого врага, взглянул на сосну, примерился и полез наверх.

Между ветвями он нашел логово «кукушки». Здесь висели повешенный на сук автомат, обоймы, мешок с продовольствием, бинокль, фляга — все, что нужно, чтобы просидеть на дереве до смены хотя бы трое суток. Шрапнель визжала и свистела в воздухе, и Колобанов в первый раз за все время раскрыл рот.

— Толково наши бьют,— сказал он громко.— Где ж им под таким огнем усидеть...

И он поудобнее устроился на ветвях, взял автомат и стал ждать, вжимая голову в плечи, когда над лесом с треском рвалась шрапнель.

Первой его добычей стал тот снайпер, которого он видел спускающимся в укрытие. Едва кончился обстрел, тот высунул голову из окопчика, как крыса, нюхающая

воздух. Колобанов подвел мушку к подбородку, но передумал. Он дал ему взобраться по сосне до половины и тогда выстрелил в затылок. Снайпер опустил руки и грянулся в снег, и было похоже, что его подбила шрапнельная пуля.

Вторую добычу пришлось ждать долго. Лес был пуст, видимо, тут только и были эти два снайпера. Колобанов взял бинокль, осторожно повернулся и стал смотреть сквозь ветви назад. Солнце уже клонилось к закату, когда он увидел вдалеке фигуру офицера, вышедшего из-за стволов сосен. Колобанов прицелился и выстрелил в голову. Офицер упал. Тотчас выскочили еще двое и кинулись к нему. Они рухнули рядом.

Подошла темнота, и можно было уходить. Но Колобанов остался на сосне. Он ждал новой смены...

Она пришла, когда было совсем темно. Солдаты — четверо — шли уверенно и не остерегаясь. Возле упавшего снайпера они наклонились, переворачивая его и совещаясь. Один за другим все четверо упали: двое на первый труп, третий у сосны, куда он отскочил, четвертый на снегу, рядом с телом Ситина, смутно черневшим в белесой темноте.

Теперь было ясно, что стрельба привлечет врагов. И скоро Колобанов увидел в темноте огоньки, вспыхивающие там и здесь. На сосну повели правильную осаду. Пули свистели рядом, сдирали кору на стволе, но ни одна пока не задела Колобанова. Переждав, он бесшумно и ловко спустился в яму.

Там он приготовил гранату, положил ее рядом с собой и высунул из ветвей автомат. Стрельба учащалась. Люди подходили ближе. Он искал во тьме, где появится смутный силуэт, но видел только огоньки. Снег падал на него вместе со срезанными ветвями: вершину сосны обстреливали часто и сильно. Он ждал.

Потом стрельба прекратилась — очевидно, враги подумали, что гнездо опустело. Послышались громкие голоса. К сосне пошли.

Колобанов поднял глаза, взглянул на небо. Звезды сияли на нем морозно и ярко. Он пододвинул гранату и положил ствол автомата на труп бывшего хозяина гнезда, как на бруствер окопа.

Но небо вновь раскололось, и вокруг завизжали ос-

колки: наши вновь начали обстрел леса. Колобанов подвесил гранату к поясу, положив обоймы в карман, и, выставив вперед автомат, пополз к ельнику, обходя врагов, прижатых к снегу разрывами шрапнели.

1942

НЕВЕСТА

В те дни, когда в палате дежурила Люба, все мы были в отличном настроении. Ласковая и живая, она влетала в палату утром в мягких своих тапочках — неслышный, но видимый солнечный луч. Мороз еще пылал на ее щеках ярким холодным пламенем, смешливые, почти детские глаза блестели оживленно, и безногий майор с койки неизменно возглашал:

— «Девичьи лица ярче роз...» Любочка, выходит, дальше надо жить?

— Обязательно! — звонко отвечала она, дуя на замерзшие пальцы.

Заложив руки за спину, она прижималась к черной большой печке — белая тоненькая фигурка, деловитая серьезность которой была по-детски уютна и трогательна. Грея руки, она со скоростью тысячи слов в минуту болтала обо всем: об утренней сводке, о происшествиях с сырыми дровами, о том, что варится к обеду на кухне, о вчерашнем кино. И утихали постепенно стоны, и лица, сведенные судорогой боли, прояснялись, и надоевший, скучный больничный воздух палаты свежел, и легчало горе, и улыбались мысли.

Потом она прикладывала тоненькие пальцы к шее, проверяя, согрелись ли они, прямой носик ее озабоченно морщился, она оглядывала палату быстрым взором хозяйки, соображающей, с чего начать день, и подходила к койкам.

Она умела быстро и ласково делать все — вымыть голову, не уронив ни капли воды на подушку, поправить повязку, написать письмо тем, у кого не работали руки или глаза, вовремя уловить ухудшение и вызвать врача, цепко и страстно бороться за жизнь раненого в час опасности, утешить и успокоить того, кто, казалось, поте-

рял покой, и погрузить его в тихий, облегчающий душу сон.

Мы все любили ее, а может быть — все были влюблены. Но ревности вход в нашу палату был запрещен. И если в свободную минуту Люба присаживалась к кому-либо из нас поиграть в подкидного дурака, все знали, что именно у него сегодня тяжело на сердце, тяжелее, чем у других.

В этот день я был по праву первым кандидатом на дурака. Ночь я не спал, нервничая по причинам, не относящимся к рассказу, и утром смог солгать ей лишь улыбкой, а не глазами, отвечая на приветствие. Удивительно, как эта юная женщина, почти девушка, чувствовала в чужой душе неладное. Она лишь мельком взглянула на меня, но, закончив обход, безошибочно подошла к моей койке с колодой в руках.

Однако игра не вышла. Нынче детские ее губы порой опускались в горькой складке, веселые глаза были печальны, и мне вдруг показалось, что ей много-много лет. Карты бесполезно остались лежать, темнея на белом одеяле десяткой пик, символом горя, и мы разговорились негромко и откровенно.

Ее муж, капитан-танкист, воин большой смелости, уже награжденный орденом, пропал без вести. Месяц она не могла отыскать его след. Долгий месяц эта женщина влетала к нам смеющимся солнечным лучом, а между тем душа в ней ныла и сердце сжималось, и по ночам она плакала в общежитии, стараясь не разбудить подруг.

Вчера она нашла давнего друга мужа, большого танкового начальника. Он взял ее руку и сказал:

— Люба, обманывать не буду. Павел остался в окружении. Прорвались все, он не вернулся.— Он не дал ей заплакать и сжал руку.— Спокойно, Люба. Он может вернуться. Понимаешь — надо ждать. Конечно, это большое искусство — ждать. Я обещаю тебе сказать, когда ждать будет больше не нужно.

Я смотрел на нее и искал в себе ту силу, которой была наделена эта женщина. Перед этим горем я забыл о своем, но слов — тех слов утешения и надежды, которые с такой великой щедростью она шептала всем нам,— я не мог найти в корявой, неловкой и себялюбивой мужской своей душе.

Застонал майор на крайней койке.

Люба вскочила и легким видением скользнула к нему. И вновь глаза ее стали прежними, и скорбь — своя скорбь — отступила перед чужой. И никто в палате не заметил, какое горе несут ее тонкие, почти детские плечи.

Вскоре меня перевели на время в другой госпиталь. Через две недели я вернулся в знакомую палату. Многих я уже не застал, появились новые раненые, и рядом с собой я увидел огромную куклу из бинтов.

Это был танкист, которому обожгло грудь и лицо. Все, что на человеческом лице может гореть, у него сгорело: волосы, брови, ресницы, сама кожа. В белой марле жутко и зловеще чернели выпуклые темные стекла огромных очков. Очки не пропускали никакого света, они лишь предохраняли чудом уцелевшие глазные яблоки от прикосновения бинта.

Пониже, хитро и искусно, было оставлено отверстие для рта. Отсюда невидимо исходила человеческая речь — живая речь, единственный проводник мыслей и чувств.

Танкист боролся с медленной своей и долгой болью. Перевязки были мучительны, но он хотел жить. Он очень хотел жить и снова драться в бою. Эта воля к жизни кипела в его неразборчивой речи, в косноязычии сожженных губ.

Он любил говорить. В темном и одиноком своем мире он жаждал общения с другими. Глухо и странно вылетали слова из недвижного клубка марли, и, научившись понимать эти раненые, подбитые слова, я слушал доблесть, ненависть и победу, слушал бой и касание смерти, слушал мечты и надежды, признания и исповедь — все, что может рассказывать другу двадцатидвухлетний человек, бегущий от призрака одиночества. Другу — ибо к ночи мы подружились той внезапной и крепкой дружбой, которая приходит в бою или в болезни.

Под утро я проснулся, когда было еще совсем темно. Тяжело дышала палата, порою стон прорезал это тревожное дыхание сильных мужских тел, поломанных боем. По тому, что на этот стон не двинулась неслышная белая тень, я понял, что дежурит не Люба. Вероятно, дежурила вторая сестра — Феня, некрасивая и немолодая женщина, которая быстро уставала и ночью часто засыпала на стуле у печки. Я встал, чтобы выйти покурить, и, услы-

шав меня, танкист попросил пить (это звучало у него странно — как «шюить»). Боясь, что я сделаю ему больно, я хотел разбудить сестру.

— Не надо,— сказал он,— ничего...

Я осторожно налил между бинтами несколько глотков из поильника и, конечно, облил марлю. Смутившись, я извинился.

— Ничего,— повторил он и засмеялся, обозначая смех тихими перерывами дыхания.— Это только она умеет... Будто сам пьешь, губами...

— Кто она?

— Невеста.

И я услышал необыкновенную повесть любви.

Он говорил о женщине, которой не видел и видеть не мог. Он называл ее старым русским ласкательным словом «моя душенька». Так назвал он ее в первый же день, учуяв в ней особенную ласковость и душевность, и так продолжал звать, потому что сожженные его губы не позволяли ему выговорить ее имя. «Ну конечно, Люба»,— подумал я. Это имя и в самом деле могло у него звучать нелепо: Люа, Люша...

Он говорил о ней с глубокой нежностью, гордостью и — странно сказать — страстью. Мечтая вслух, он угадывал ее лицо, глаза, улыбку, и я поразился этому провидению любви. Понизив голос, он признался, что знает ее волосы, пушистые, легкие волосы, выбившиеся из-под косынки: однажды он тронул эту прядь, пытаясь слепыми пальцами помочь ей найти упавший на столик футляр термометра. Он говорил о ее руках — нежных, сильных, бережных руках, которые он часами держал в своих, рассказывая ей о себе, о своем детстве, о боях, о взрыве танка, о своем одиночестве и о страшной жизни урода, какая его ждет.

Он пересказал мне все ее утешения, все нежные слова надежды, всю веру в то, что он будет видеть, жить и снова драться в бою, и мне показалось, что я слышу голос самой Любы. Совсем шепотом он сказал мне, что завтра — решающий день: профессор обещал ему снять очки, и, возможно, он начнет видеть. Он не говорил об этом «душеньке» — а вдруг он видеть не будет? Пусть она не мучается. Не выйдет — не выйдет, он и так знает ее лицо. Оно прекрасно, нежно, он видит ее глаза и в них — лю-

бовь. И еще: она уговорила его на сложную операцию, которая вернет ему брови, ресницы, свежую розовую кожу. Он знает, какой болью он купит себе это новое лицо, но он пойдет на все ради своей невесты.

Да, невесты. Он повторил это слово с гордостью. Муж ее погиб на фронте совсем недавно, она одинока, как и он, и несчастна более, чем он: он потерял только лицо, а она — любимого человека. За долгие эти ночи они все узнали друг о друге, и любовь пришла в эту палату, где витала смерть, и жизнь, приведенная любовью, помогла ему переломить себя. Ведь он хотел застрелиться — ну, куда жить такому?..

— Она сказала: «Мне все равно, что будет с твоим лицом. Я тебя люблю, а не лицо, понимаешь...»

И он заплакал. Я понял это потому, что грудь его, наполненная счастьем, сотрясалась и дыхание стало прерывистым.

Не мешая ему, я тихо прилег на койку, думая о Любе. Странная ее судьба поразила меня. Была ли это и впрямь любовь—необъяснимая любовь высокой женской души— или нежная жалость, которая порой так похожа на любовь? Или, может быть, разделенное горе, ужас потери, найденный призрак утраченного: танкист, герой, воин... Я дожидался утра, смены сестер, чтобы в одном взгляде Любы прочесть разгадку — в таких глазах все читалось легко. В этих мыслях я задремал.

Проснулся я поздно. По знакомым признакам палатного дня я понял, что сестры уже сменились, но Любы в палате не было. Я подошел к танкисту и спросил, как он себя чувствует.

— Чудесно,— ответил он.— Она пошла узнать о перевязке. Слушай, только ни слова ей о профессоре. Неужели сегодня я ее увижу?

По голосу я понял, что он улыбается.

— Она ведь красавица, ты же ее знаешь?

— Красавица, верно,— ответил я.

Он снова заговорил о том, как сегодня ее увидит. Вдруг он замолчал и притих, слушая шаги — легкие, в тапочках, и было странно, что сквозь бинты, укутавшие голову, он различил их. Или это был слух любви?

— Она,— сказал он с глубокой нежностью.— Душенька моя...

Я обернулся. Но это подошла Феня, очевидно задержавшаяся после дежурства. Я хотел показать ему, что он ошибся.

— Здравствуйте, Фенечка,— сказал я.— Скоро там Люба справится?

— Здравствуйте, опять к нам?—спросила она.—Уехала Люба, мужа отыскала. Раненый...— И она подсела к танкисту.— Родненький мой, Коленька,— сказала она ласково.— Набирайся сил... перевязка сейчас...

Он судорожно протянул руку, и тотчас эта рука воина, видевшего смерть и вздрогнувшего от предчувствия боли, попала в руки Фени: видно, перевязки были нестерпимы. Она покрыла ее другой рукой, и большое, значительное молчание встало над ними. Она тихонько гладила его руку, перебирала пальцы, и в глазах ее, устремленных на черные очки, теплым медленным течением плыла любовь.

Я смотрел на лицо Фени — незапоминающееся лицо, которое мы видели ежедневно и скользили по нему равнодушным взглядом. Удивительная перемена в нем поразила меня. Немолодое, усталое — одухотворенное силой любви, оно было прекрасно, простое лицо русской женщины и матери, исполненное веры и грустной нежности. Потом в глазах ее появились слезы, она тихонько отвела голову, чтобы они не капнули на его руку. Но, почуяв это легкое движение, он встревожился:

— Душенька моя дорогая, что ты?

И — поразительная вещь — Феня заговорила оживленно и весело, ласково ободряя его, а слезы лились по ее лицу безостановочно и быстро, и глубокая скорбь исказила ее рот, из которого вылетали шуточные, веселые слова. Потом глаза ее перешли на дверь, и безнадежная молчаливая мука отразилась в них. Я проследил ее взгляд: в дверь вкатывали коляску, и я понял ее слезы. Это было предчувствие приближающейся боли.

Танкиста положили на коляску, и Феня пошла рядом, держа его руку. Я провожал их. У двери перевязочной она осталась. Силы ей изменили, она прислонилась к косяку и дала волю слезам. Я тронул ее плечо. Она подняла на меня глаза.

— Иван Савельич нынче сказал... Иван Савельич...
Она не могла говорить.

— Я знаю,— ответил я.— Ну что же раньше времени волноваться... Конечно, он будет видеть.

Она замотала головой, как от боли.

— Вот и увидит меня... Куда я ему такая... Что он обо мне выдумал, зачем выдумал?.. «Красавица, красавица...» Пустите меня! — вдруг почти крикнула она и прильнула ухом к двери перевязочной.

Там я услышал веселый голос Ивана Савельевича:

— Хватит, хватит на первый раз, еще недельку в темноте проведете!

Феня побледнела страшной бледностью отчаяния и быстро пошла по коридору. Больше ее в госпитале никто не видел. Потом узнали, что она уехала на родину.

1942

МОРСКАЯ ДУША

(Из фронтовых записей)

Шутливое и ласкательное это прозвище краснофлотской тельняшки, давно бытовавшее на флоте, приобрело в Великой Отечественной войне новый смысл, глубокий и героический.

В пыльных одесских окопах, в сосновом высоком лесу под Ленинградом, в снегах на подступах к Москве, в путаных зарослях севастопольского горного дубняка — везде видел я сквозь распахнутый как бы случайно ворот защитной шинели, ватника, полушубка или гимнастерки родные сине-белые полоски «морской души». Носить ее под любой формой, в которую оденет моряка война, стало неписаным законом, традицией. И, как всякая традиция, рожденная в боях, «морская душа» — полосатая тельняшка — означает многое.

Так уж повелось со времен гражданской войны, от орлиного племени матросов революции: когда на фронте нарастает опасная угроза, Красный флот шлет на сушу всех, кого может, и моряки встречают врага в самых тяжелых местах.

Их узнают на фронте по этим сине-белым полоскам, прикрывающим широкую грудь, где гневом и ненавистью горит гордая за флот душа моряка — веселая и отважная краснофлотская душа, готовая к отчаянному порой по-

ступку, незнакомая с паникой и унынием, честная и верная душа большевика, комсомольца, преданного сына родины.

Морская душа — это решительность, находчивость, упрямая отвага и неколебимая стойкость. Это веселая удаль, презрение к смерти, давняя матросская ярость, лютая ненависть к врагу. Морская душа — это нелицемерная боевая дружба, готовность поддержать в бою товарища, спасти раненого, грудью защитить командира и комиссара.

Морская душа — это высокое самолюбие людей, стремящихся везде быть первыми и лучшими. Это удивительное обаяние веселого, уверенного в себе и удачливого человека, немножко любующегося собой, немножко пристрастного к эффектности, к блеску, к красному словцу. Ничего плохого в этом «немножко» нет. В этой приподнятости, в слегка нарочитом блеске — одна причина, хорошая и простая: гордость за свою ленточку, за имя своего корабля, гордость за слово «краснофлотец», овеянное славой легендарных подвигов матросов гражданской войны.

Морская душа — это огромная любовь к жизни. Трус не любит жизни: он только боится ее потерять. Трус не борется за свою жизнь: он только охраняет ее. Трус всегда пассивен — именно отсутствие действия и губит его жалкую, никому не нужную жизнь. Отважный, наоборот, любит жизнь страстно и действенно. Он борется за нее со всем мужеством, стойкостью и выдумкой человека, который отлично понимает, что лучший способ остаться в бою живым — это быть смелее, хитрее и быстрее врага.

Морская душа — это стремление к победе. Сила моряков неудержима, настойчива, целеустремленна. Поэтому-то враг и зовет моряков на суше «черной тучей», «черными дьяволами».

Если они идут в атаку, то с тем, чтобы опрокинуть врага во что бы то ни стало.

Если они в обороне, они держатся до последнего, изумляя врага немыслимой, непонятной ему стойкостью.

И когда моряки гибнут в бою, они гибнут так, что врагу становится страшно: моряк захватывает с собой в смерть столько врагов, сколько он видит перед собой.

В ней — в отважной, мужественной и гордой морской душе — один из источников победы.

ФЕДЯ С НАГАНОМ

В раскаленные дни штурма Севастополя из города приходили на фронт подкрепления. Краснофлотцы из порта и базы, юные добровольцы и пожилые рабочие, выздоровевшие (или сделавшие вид, что выздоровели) раненые — все, кто мог драться, вскакивали на грузовики и, промчавшись по горной дороге под тяжкими разрывами снарядов, прыгали в окопы.

В тот день в Третьем морском полку потеряли счет фашистским атакам. После пятой или шестой моряки сами кинулись в контратаку на высоту, откуда немцы били по полку фланговым огнем. В одной из траншей, поворачивая против фашистов их же замолкший и оставленный здесь пулемет, краснофлотцы нашли возле него тело советского бойца.

Он был в каске, в защитной гимнастерке. Но когда, в поисках документов, расстегнули ворот — под ним увидели знакомые сине-белые полоски флотской тельняшки. И молча сняли моряки бескозырки, обводя глазами место неравного боя.

Кругом валялись трупы фашистов — весь пулеметный расчет и те, кто, видимо, подбежал сюда на выручку. В груди унтер-офицера торчал немецкий штык. Откинутой рукой погибший моряк сжимал немецкую гранату. Вражеский автомат, все пули которого были выпущены в фашистов, лежал рядом. За пояс был заткнут пустой наган, аккуратно прикрепленный к кобуре ремешком.

И тогда кто-то негромко сказал:

— Это, верно, тот... Федя с наганом...

В Третьем полку он появился перед самой контратакой, и спутники запомнили его именно по этому нагану, вызвавшему в машине множество шуток. Прямо с грузовика он бросился в бой, догоняя моряков Третьего полка. В первые минуты его видели впереди: размахивая своим наганом, он что-то кричал, оборачиваясь, и молодое его лицо горело яростным восторгом атаки. Кто-то заметил потом, что в руках его появилась немецкая винтовка и что, наклонив ее штык вперед, он ринулся один, в рост, к пулеметному гнезду.

Теперь, найдя его здесь, возле отбитого им пулемета, среди десятка убитых фашистов, краснофлотцы поняли,

что́ сделал в бою безвестный черноморский моряк, который так и вошел в историю обороны Севастополя под именем «Феди с наганом».

Фамилии его не узнали: документы были неразличимо залиты кровью, лицо изуродовано выстрелом в упор.

О нем знали одно: он был моряком. Это рассказали сине-белые полоски тельняшки, под которыми кипела смелая и гневная морская душа, пока ярость и отвага не выплеснули ее из крепкого тела.

НЕОТПРАВЛЕННАЯ РАДИОГРАММА

Маленький катер, «морской охотник», попал в беду.

Он был послан для ночной операции к берегу, захваченному врагом. В пути его встретил шторм. Катер пробился сквозь снег, пургу и седые валы, вздыбленные жестоким ветром. Он обледенел и сколол лед. Он набрал внутрь воды и откачал ее. Но задание он выполнил.

Когда же он возвращался, ветер переменился и снова дул навстречу. Шторм заставил израсходовать лишнее горючее, а потом волна залилась в цистерну с бензином. Катер понесло к берегу, занятому врагом.

Дали радио с просьбой помочь — и замолчали, потому что мотор радиостанции работать на смеси бензина с водой отказался.

Катер умирал, как человек. Сперва у него отнялись ноги. Потом он онемел. Но слух его еще продолжал работать. И он слышал в эфире свои позывные, он принимал тревожные радио, где запрашивали его точное место, потому что без точного места найти маленький катер в большом Черном море трудно.

Двое суток моряки слышали эти поиски, но ответить не могли.

На катере между тем шла жизнь. Командир его, старший лейтенант Попов, прежде всего разрешил проблему питания. Ветер мог перемениться—и тогда катеру предстояло дрейфовать на юг неделю, может, две. Попов приказал давать краснофлотцам сколько угодно сельдей и хлеба и не ограничивать потребление пресной воды, которой было много. Расчет его оправдался. Когда к вечеру он спрашивал, не пора ли варить обед, краснофлотцы,

поглаживая налитые водой желудки, отвечали, что аппетита еще нет и консервы можно пока поберечь.

В кубрике, как на вахте, постоянно стояли по двое краснофлотцы, широко расставив ноги и держа в руках ведро. Они старались держать его так, чтобы оно не болталось на качке. Еще один расчет командира оправдался: бензин в ведре, «выключенном из качки», отделялся от воды. Его осторожно сливали, вновь наполняли ведро смесью и вновь держали его на руках, дожидаясь, пока бензин отстоится. Так к концу вторых суток получили наконец порцию горючего для передачи одной короткой радиограммы.

Она была заготовлена Поповым в двух вариантах. Первый был одобрен комсомольским и партийным собранием катера и приготовлен на случай, если радио заработает в видимости вражеского берега:

«...числа... часов... минут вражеский берег виден в... милях тчк С каждой минутой он приближается тчк Выхода нет тчк Будем драться до последнего патрона в последний момент взорвемся тчк Умрем живыми врагу не сдадимся тчк Прощайте товарищи привет родине тчк Командир военком команда катера 044».

Но ветер изменился, и катер стало относить от берега. Поэтому отправили второй вариант: свое точное место и сообщение, что радио работает в последний раз и что катер надеется на помощь.

Она пришла своевременно.

ПОЕДИНОК

Группа моряков-добровольцев была сброшена ночью на парашютах за линию фронта под Одессой, чтобы во время атаки Третьего морского полка уничтожать связь врага, наводить панику и пробиваться на соединение со своими. Среди них был краснофлотец Петр Королев. Ему не повезло: висевший на нем мешок с автоматом, кусачками, гранатами и прочими необходимыми на земле предметами в момент прыжка с размаху ударил его в лицо. Королев потерял сознание.

Очнувшись, он обнаружил себя падающим в темной пустоте. Он успел выдернуть кольцо парашюта и снова

впал в беспамятство до самой встречи с землей. Новый удар привел его в себя. Он понял, что лежит на земле, что лицо его разбито, кровь ручьем хлещет из носу и что вдобавок сильно болит нога, вывихнутая при падении. Он уничтожил как полагается парашют, хозяйственно сунув в карман два клина шелка, чтобы вытирать кровь, неостановимо струящуюся по лицу, распаковал свой мешок, прислушался к стрельбе вокруг и пошел в нужном направлении.

Идти пришлось во весь рост — ползти не давала нога, а каждый наклон головы вызывал сильное кровотечение. Однако он все же сумел подобраться к вражеским окопам, перерезав по пути две-три линии связи, но к рассвету совершенно ослаб. Он присмотрел подходящую канавку, положил возле себя автомат и приготовленные к бою гранаты, но потеря крови снова лишила его сознания.

Очнулся он при ярком свете утра. Над канавкой стояли два фашиста — молодой и постарше, рассматривая его: очевидно, они решили, что перед ними труп. Королев схватил свой автомат, но диск его выпал. Молодой солдат, увидев его движение, закричал: «Матрозен!» — и ринулся бежать, пожилой замахнулся винтовкой, чтобы приколоть некстати ожившего моряка. Королев ухватился за ствол и рывком дернул фашиста. Тот упал в канавку, и моряк подмял его под себя.

Началась страшная, неравная борьба обессилевшего от потери крови моряка со здоровым и сильным врагом. Королев нащупал на поясе нож, но приподняться, чтобы освободить ножны, не хватало сил. Тогда он схватил гранату (запал которой был уже вставлен) и стал бить солдата по голове. Но, видимо, мало было у моряка сил — удары эти никак не могли оглушить фашиста. Так бывает во сне, когда движения вязнут в томительной вялости кошмара. На четвертом ударе пальцы моряка разжались, и граната выпала. Фашист подхватил ее и со всей силой здорового человека ударил Королева по голове.

— У меня шарики в глазах запрыгали,— рассказывал потом Королев.— Только, знаете, как-то так вышло, что я не только с того не окосел, а напротив — даже очнулся... Такая меня злоба взяла—моей же гранатой меня же и по башке?.. Откуда силы взялись — я ка-ак психану на него: заорал что-то, ударил его по руке... Граната у него

и выпала, я ее опять ухватил. А он уже на мне... Я снизу бью его по черепу, и развернуться неловко, и сил нет... А он перепугался, кричит так, что меня дрожь пробрала,— как заяц... Молочу его, а тут граната пришла в негодность: ручку свернул. А кулаком что сделаешь?.. Тут он чем-то меня огрел, я опять ничего не помню...

Придя в себя, Королев увидел, что солдат выскочил из канавки, захватив его пустой автомат и бросив свою винтовку. Подобрав ее, Королев понял, почему тот не стрелял: она тоже оказалась без патронов. Тогда, приподнявшись, он кинул вслед солдату вторую гранату, откатившуюся в борьбе в угол канавки. Опять не хватило сил — граната разорвалась слишком далеко от солдата и слишком близко от Королева. Забыв о ноге, он побежал за солдатом: тот уносил оружие, без которого вернуться к своим было стыдно. Он догнал его и ударил прикладом его же винтовки по затылку. Солдат закричал и обернулся. Королев бросил винтовку и потянул к себе свой автомат, и опять началась неравная борьба сильного и здорового солдата, единственной слабостью которого были страх и неуверенность в победе, с шатающимся, обессилевшим моряком, страшным в своей упрямой настойчивости и желании победить.

Они тянули автомат друг к другу, смотря в глаза и ругаясь каждый на своем языке. Потом Королев заметил в глазах солдата радость и злобу. Повернув на мгновение голову, он увидел, что тот смотрит на скачущего к ним всадника. Солдат снял левую руку с автомата и призывно замахал ею всаднику. Королев тоже снял одну руку с автомата, вспомнив, что на поясе еще висит последняя граната. Он поднял ее над головой, решив дождаться всадника и тогда бросить гранату себе под ноги, чтобы взорвать и себя, и обоих врагов.

— Стоим так и ждем. Я все на фашиста смотрю: думаю, не оглушил бы он меня свободной рукой... Тогда живым заберут, много ли мне было надо: дать раза — и в глазах вовсе потемнеет. А у него выражение лица вдруг изменилось — глаза выкатил, коробочку раскрыл и глядит мне через плечо. Я обернулся — всадник уж рядом... Гляжу — мать честная! — это ж Коровников из первого батальона! Скачет к нам на полном газу, и ленточки вьются. Бросил солдат мой автомат и тикать! Коровников

его с ходу одним выстрелом положил — и ко мне... А у меня и сил никаких нет: кончились...

Оказалось, что к утру один батальон Третьего морского полка уже вышел к этой высотке. В кустах нашли брошенную повозку с лошадьми (очевидно, двое фашистов, кинув повозку и отходя к своим, и наткнулись на Королева). Заняв вражескую позицию, батальон готовился продвигаться дальше.

И тут политрук батальона, осматривая местность в бинокль, увидел на высотке двух борющихся людей.

— Что за черт? — сказал он недоверчиво.— А ну-ка, гляньте в снайперский прицел, он посильнее: никак, там морячок французской борьбой с фашистом занимается.

В прицел рассмотрели, что это был, и точно, моряк. Все подробности этой борьбы снайпер передавал любопытным, выжидая момент, когда можно будет безопасно для Королева выстрелить в солдата. Но политрук уже распорядился: Коровников вскочил на трофейную лошадь и весьма кстати прибыл на помощь Королеву.

СТРАШНОЕ ОРУЖИЕ

Бомбардировщик возвращался с боевого задания. В бою с «мессершмиттами» он израсходовал почти все патроны и оторвался от своей эскадрильи. Теперь он шел над Черным морем совершенно один во всем голубом и неприятно высоком небе.

Именно оттуда, с высоты, и свалился на него «Мессершмитт-109».

Первым его увидел штурман Коваленко. Он пострелял, сколько мог, и замолчал. Стрелок-радист дал врагу подойти ближе и, тщательно целясь, выпустил свои последние патроны, потом доложил об этом летчику.

— Знаю,— ответил Попко.— Будем вертеться.

И самолет начал вертеться. Он уходил от светящейся трассы пуль как раз тогда, когда они готовы были впиться в самолет. Он пикировал и взмывал вверх. Он делал фигуры, невозможные для его типа. Пока что это помогало: он набрал только несколько безобидных пробоин в крыльях.

Фашистский летчик, очевидно, понял, что самолет

безоружен. Но, видимо, он слышал кое-что о советском таране и побаивался бомбардировщика. Вся игра свелась теперь к тому, что «мессершмитт» старался выйти в хвост на дистанцию бесспорно верной стрельбы.

Наконец ему это удалось. Стрелок-радист увидел самолет прямо за хвостом и невольно нажал гашетку. Но стрелять было нечем. Стрелять мог только враг. Это был конец.

Тут что-то замелькало вдоль фюзеляжа бомбардировщика. Белые странные цилиндры стремительно мчались к «мессершмитту». Они пролетали мимо него, они стучали по его крыльям, били в лоб. Они попадали в струю винта и разрывались невиданной, блистающей на солнце, очень крупной и медленной шрапнелью. Один за другим вылетали из кабины штурмана эти фантастические снаряды.

«Мессершмитт» резко спикировал под хвост бомбардировщику, в одно мгновение потеряв выгодную позицию. Теперь уйти от него было легко, и скоро фашист отстал, видимо сберегая горючее для возвращения.

Радист передохнул и вытер со лба пот.

— Отвалил фриц,— доложил он летчику и любопытно спросил: — Чем это вы в него стреляли, товарищ капитан?

— Нечем нам тут стрелять,— ответил в трубке голос Попко.— Я и сам удивляюсь, с чего он отскочил?

Тогда в телефон ворвался голос штурмана Коваленко:

— Это я его отшил. Злость одолела — ишь как подобрался, стервец!.. Черт его знает, думаю, а вдруг он их за какие-нибудь новые снаряды примет?

— Кого это — их? — не понял Попко.

— Листовки. Я же в него листовками швырялся, всю руку отмотал, пачки-то увесистые!..

И весь экипаж — летчик, радист и штурман — захохотал. Смеялся, кажется, и самолет. Во всяком случае, он потряхивал крыльями и шатался в воздухе, как шатается и трясет руками человек в припадке неудержимого хохота.

Потом, когда все отсмеялись, самолет выправился и степенно пошел к базе, совершенно один в чистом и очень приятном голубом высоком небе.

ПРИВЫЧНОЕ ДЕЛО

Передний склон высоты 127,5, расположенный у хутора Мекензи, обозначался загадочной фразой: «Где старшина второй статьи на танке катался».

В начале марта в одном из боев за Севастополь Третий морской полк перешел в контратаку на высоту 127,5. Атака поддерживалась танками и артиллерией Приморской армии. Высота была опоясана тремя ярусами немецких окопов и дзотов. Бой шел у нижнего яруса, артиллерия била по вершине, парализуя огонь фашистов, танки ползали вдоль склона, подавляя огневые точки противника.

Один из танков вышел из боя. На нем был тяжело ранен командир. Танк спустился со склона и остановился у санчасти. Не успели санитары вытащить из люка раненого, как из кустов подошел к танку рослый моряк с повязкой на левой руке, видимо только что наложенной. Оценив обстановку и поняв, что танк без командира вынужден оставаться вне боя, он ловко забрался в танк.

— Давай прямо на высотку, не ночевать же тут,— сказал он водителю и, заметив его колебание, авторитетно добавил:—Давай, давай! Я — старшина второй статьи, сам катера водил, дело привычное... Полный вперед!..

Танк помчался на склон. Он переполз и первый и второй ярусы немецких окопов, взобрался на вершину и добрых двадцать минут танцевал там, крутясь, поливая из пулемета и пушки, давя фашистов гусеницами в их норах. Рядом вставали разрывы наших снарядов — артиллерия никак не предполагала появления нашего танка на вершине. Потом танк скатился с высоты так же стремительно, как взобрался туда, и покатил прямо к кустам, где сидели корректировщики артиллерии.

И тут старшина второй статьи изложил лейтенанту свою претензию.

— Товарищ лейтенант, нельзя ли батареям перенести огонь? Я бы там всех фашистов передавил, как клопов, а вы кроете, спасу нет. Сорвали мне операцию...

Но, узнав с огорчением, что его прогулка на вершину мешает заградительному огню, моряк смущенно выскочил из танка и сожалеюще похлопал ладонью по его броне.

— Жалко, товарищ лейтенант, хороша машина... Ну, извините, что поднапутал...

И, подкинув здоровой рукой немецкий автомат (с которым он так и путешествовал в танке), он исчез в кустах. Только о нем и узнали, что он «старшина второй статьи», да запомнили сине-белые полоски «морской души» — тельняшки, мелькнувшей в вырезе ватника, закопченного дымом и замазанного кровью.

Вечером мы пытались найти его среди бойцов, чтобы узнать, кто был этот решительный и отважный моряк, но военком полка, смеясь, покачал головой:

— Бесполезное занятие. Он небось теперь мучается, что не по тактике воевал, и ни за что не признается. А делов на вершинке наделал: танкисты рассказали, что одно пулеметное гнездо он с землей смешал — приказал на нем крутиться, а сам из люка высунулся и здоровой рукой из автомата кругом поливает... Морская душа, точно...

И МИНОМЕТ БИЛ...

В разведке под Севастополем трое краснофлотцев вышли на минометную фашистскую батарею. Они бросили в окоп несколько гранат и перестреляли разбегающихся фашистов. Батарея замолкла.

Казалось, можно было бы возвращаться — не каждый день бывает такая удача. Но миномет был цел, и рядом лежало несколько ящиков мин.

— А что, хлопцы,—раздумчиво сказал Абращук,—мабуть, трошки покидаемся по немцу?

Он взялся наводить, Колесник — подносить ящики с минами, а третий разведчик, армянин Хастян, встал к миномету заряжающим.

Немецкие мины полетели в немецкие траншеи, и все пошло хорошо. Наконец фашисты догадались, что по ним бьет их же собственный миномет. На троих моряков посыпались снаряды и мины.

Казалось бы, пора было подорвать миномет и оставить окоп. Но моряки заметили, что их батальон, воспользовавшись неожиданной поддержкой миномета, поднялся в атаку. Тогда они решили бить по немецким траншеям, пока хватит немецких мин.



...А сам из люка высунулся и здоровой рукой из автомата кругом поливает...

И миномет бил по фашистам. Все ближе и все чаще рвались рядом с моряками немецкие снаряды. Разрывы стали обсыпать краснофлотцев землей, осколки — визжать над ухом. Колесник упал: его ранило в ноги. Перевязавшись, он ползком продолжал подтаскивать к Хастяну ящики с минами.

И миномет бил по фашистам, бил яростно и непрерывно. Снова в самом окопе грохнул снаряд. Хастяну оторвало кисть руки. Моряки перетянули ему руку бинтом, остановили кровь. Он встал, шатаясь, протянул здоровую руку за очередной миной, которую подал ему с земли подползший Колесник, и опустил ее в ствол.

И миномет бил по фашистам.

Он бил до тех пор, пока до окопа не добежали краснофлотцы, ринувшиеся в атаку.

Даже видавшие виды севастопольские бойцы ахнули при виде трех окровавленных моряков, методически и настойчиво посылавших неприятелю мину за миной: один — безногий, другой — безрукий, третий — неразличимо перемазанный кровью и землей.

Раненых тотчас понесли в тыл, а Абращук сказал:

— Эх, расстроили нашу компанию... Ну, становись к миномету желающие... Тут еще полный ящик, бей по левой траншее, а я вперед пойду!

Он подобрал немецкий автомат и бросился вслед за атакующими моряками.

«ПУШКА БЕЗ МУШКИ»

Как известно, на каждом корабле имеется своя достопримечательность, которой на нем гордятся и которой обязательно прихвастнут перед гостями. Это или особые грузовые стрелы неповторимых очертаний, напоминающие неуклюжий летательный аппарат и называющиеся поэтому крыльями холопа, или необыкновенный штормовой коридор от носа до кормы, каким угощают вас на лидере «N», ручаясь, что по нему вы пройдете в любую погоду, не замочив подошв. Иной раз это скромный краснофлотец по первому году службы, оказывающийся чемпионом мира по плаванию, иногда, наоборот, замше-

лый, поросший седой травой корабельный плотник, служащий на флоте с нахимовских времен.

Морская часть на берегу во всем похожа на корабль. Поэтому в той бригаде морской пехоты, которой командовал под Севастополем полковник Жидилов, оказалась своя достопримечательность.

Это была «пушка без мушки».

О ней накопилось столько легенд, что нельзя уже было понять, где тут правда, где неистребимая флотская подначка, где уважительное восхищение и где просто зависть соседних морских частей, что не они выдумали это необыкновенное и примечательное оружие.

Кто-то уверял меня, что полковник взял эту пушку в Музее севастопольской обороны. Кто-то пошел дальше и утверждал, что «пушка без мушки» палила еще по Мамаю на Куликовом поле. Но, видимо вспомнив, что тогда еще не было огнестрельного оружия, спохватился и сказал, что исторически это не доказано, но то, что пушка эта завезена в Крым Потемкиным,— уж конечно, неоспоримый факт.

О ней говорили еще, что она срастается по ночам сама, вроде сказочного дракона, который, будучи разрублен на куски, терпеливо приклеивает к телу отделенные части организма, поругиваясь, что никак не может отыскать в темноте нужной детали — глаза или правой лапы. Впрочем, рассказы этого сорта родились из показаний пленных немцев: примерно так они говорили о какой-то «бессмертной пушке» под Итальянским кладбищем, которую они никак не могут уничтожить ни снарядами, ни минами.

Все это так меня заинтересовало, что специально для этого я выехал в бригаду, чтобы посмотреть «пушку без мушки» и собрать о ней точные сведения. Вот вполне проверенный материал об этой диковине, за правдивость которого я ручаюсь своей репутацией.

Где-то в Евпатории не то в порту, не то на складе металлолома полковник Жидилов еще осенью наткнулся на четыре орудия. Это были вполне приличные орудия — каждое на двух добротных колесах, каждое со стволом и даже с замком. Самым ценным их качеством, привлекшим внимание полковника, было то, что к ним прекрасно подошли 76-миллиметровые снаряды зениток, которых в

бригаде было хоть пруд пруди. Недостатком же их была некоторая устарелость конструкции (образец 1900 года) и отсутствие прицелов.

Первая причина полковника не смутила. Как он утверждал, в войне годится всякое оружие, вопрос лишь в способе его применения. Раз к данным орудиям подходили снаряды и орудия могли стрелять — им и полагалось стрелять по врагу, а не ржаветь бесполезно на складе.

Вторая причина — отсутствие прицелов и решительная невозможность приспособить к этой древней постройке современные — также была им отведена. Полковник, выслушивая жалобы на капризы техники, обычно отвечал мудрой штурманской поговоркой: «Нет плохих инструментов, есть только плохие штурмана». И он тут же блестяще доказал, что для предполагаемого им применения этих орудий прицелы вовсе не нужны.

Одну из пушек выкатили на пустырь. Удивляясь перемене судьбы и покряхтывая лафетом, старушка развернулась и уставилась подслеповатым своим жерлом на подбитый бомбой грузовик метрах в двухстах от нее. Наводчик, обученный полковником, присел на корточки и, заглядывая в дуло, как в телескоп, начал командовать морякам, взявшимся за хобот лафета:

— Правей... Еще чуть правей... Теперь чуточку левей... Стоп!

Потом замок щелкнул, проглотив патрон, и старая пушка ахнула, сама поразившись своей прыти: грузовик подскочил и повалился набок.

Именно так все четыре «пушки без мушки» били впоследствии немецкие машины на шоссе возле Темишева. Их установили в укрытии для защиты отхода бригады, и они исправно повалили девять немецких грузовиков с пехотой, добавив разбегающимся фашистам хорошую порцию шрапнели прямой наводкой. Именно так они били по танкам, и так же работала под Итальянским кладбищем последняя «пушка без мушки». Три остальные погибли в боях, их пришлось оставить при переходе через горы, где тракторы были нужны для более современных орудий. Но четвертую полковник все же довез до Севастополя. Здесь ей дали новую задачу: работать как кочующее орудие. Ее установили в двухстах — трехстах метрах от немецких окопов и, выбрав время, когда артил-

лерия начинала бить по неприятелю, добавляли под общий шум и свои снаряды. Маленькие, но злые, они точно ложились в траншеи, пока разъяренные фашисты не распознавали места «пушки без мушки». Тогда на нее сыпался ураган снарядов.

Ночью моряки откапывали свою «пушку без мушки» из завалившей ее земли, впрягались в нее и без лишнего шума перетаскивали на новое место, поближе к противнику, отрыв рядом надежное укрытие для себя. Немцы снова с изумлением получали на голову точные снаряды бессмертной пушки — и все начиналось сначала.

С гордостью представляя мне свою любимицу, бригадный комиссар Ехлаков подчеркнул:

— Золото, а не пушка! В нее немцы полторы сотни снарядов зараз кладут, а сделать ничего не могут. Расчет в блиндаже покуривает, а ей, голубушке, эта стрельба безопасна. Ты сам посуди: прицела нет, панорамы нет, ломких деталей нет, штурвальчиков разных нет. Есть ствол да колеса. А их только прямым попаданием разобьешь. Когда-то еще прямое будет, а на осколки она чихает с присвистом... Понятно?

В самом деле, все было понятно.

ПОДАРОК ВОЕНКОМА

Мы сидели в подвале разрушенной чайханы под Итальянским кладбищем, где было что-то вроде клуба для моряков третьего батальона, и снайпер Васильев показывал мне свою записную книжку. В ней стояли только цифры. Так, запись «14 — 9/1 — 2» означала, что четырнадцатого числа Васильев убил девять солдат и одного офицера и ранил двоих (кого именно — офицеров или солдат,— Васильев из самолюбия не помечал: промах, не очень чистая работа!). Он рассказывал мне, как сговаривается с минометчиками (они дают залп по траншее, а он бьет выбегающих оттуда фашистов), как выслеживает он тропинки, как выползает на свою позицию на откосе скалы, и, говоря это, он все время с завистью косил взглядом в угол «клуба».

Там в полутьме играл баян и военком бригады плясал. Это был его отдых.

Военком был удивительным человеком, сгустком энергии, пружиной, все время жаждущей развернуться и увлечь за собой других. Везде, куда бы он нынче меня ни приводил, я замечал оживление, неподдельную радость и в то же время некоторую опасливость — а не скажет ли, мол, сейчас военком знакомой и обидной фразы: «Заснули, орлы? Чего гитлеровцев не тревожите? Может, война кончилась, я нынче газету не читал?..»

И везде, где я его сегодня видел, он «тревожил немцев». Так, он нашел цель для минометчиков, дождался, пока они ее не накрыли, перетащил знаменитую «пушку без мушки» на новую позицию и не успокоился, пока она не вызвала на себя яростный, но бесполезный огонь («Пускай враг боезапас тратит!»), снарядил разведчиков за «языком», отправил в тыл раненых и теперь, томясь безработицей, плясал.

— Сколько же у вас на счету? — спросил я Васильева.

— Я месяц раненый пролежал,— ответил он, как бы извиняясь.— Тридцать семь... То есть, собственно, тридцать пять: двоих мне бригадный комиссар от себя подарил.

И он рассказал, что вначале он стрелял из обыкновенной трехлинейки. Когда же он уложил десятого фашиста, военком, следивший за каждым снайпером, сам приполз к нему на скалу, чтобы торжественно вручить ему снайперскую винтовку с телескопическим прицелом. Он полежал с ним рядом в его укрытии, рассматривая передний край гитлеровцев и отыскивая, где бы их вечером «потревожить». Но тут на тропинку вылезли два солдата, и военком не выдержал. Он молча взял у Васильева новую винтовку и пристрелил обоих подряд.

— Я, конечно, в свой счет их бы не поставил,— закончил Васильев.— Но военком приказал: «Бери, говорит, их себе. Во-первых, я просто не стерпел, во-вторых, винтовка не моя, а в-третьих, мне счет вести ни к чему, я им и счет потерял...»

И я вспомнил, какой счет имел бригадный комиссар Ехлаков.

В декабрьский штурм Севастополя командный пункт бригады вместе с военкомом оказался отрезанным. Командира бригады не было (раненный, он был увезен накануне), но военком спас и штаб, и всю бригаду. Он

выслал ползком через фашистские цепи восемь отважнейших моряков-автоматчиков. Пункт уже забрасывали гранатами, когда эти восемь начали бить в спину наступающим, а военком с оставшимися у него моряками встретил врагов в лицо огнем и гранатами. «Кругом компункта все темно было от мундиров» — так рассказали мне моряки исход этого боя.

Баян замолк, и военком подошел к нам.

— Ну, наговорился, что ли? Время-то идет,— сказал он и стремительно пошел к выходу.

Ватник его был расстегнут, и сине-белые полосы тельняшки, с которой он не расставался с времен давней краснофлотской службы, извилистой линией волн вздымались над его широко дышащей грудью.

«МАТРОССКИЙ МАЙОР»

В тяжелых осенних боях под Перекопом небольшой красноармейской части пришлось влиться в соседний отряд морской пехоты. Командиром этого сводного отряда был немолодой уже майор, артиллерист береговой обороны. Красноармейцы любовно прозвали его «матросским майором». Он сразу расположил их к себе отвагой, спокойствием, веселым своим нравом и упрямой волей к победе.

«Матросский майор» перед атакой обычно поворачивал морскую свою фуражку золотой эмблемой к затылку. Пояснял он это так:

— Две задачи. Первая: фашистские снайперы эмблемы не увидят, стало быть, не будут специально в меня целить. Вторая: войско мое, надо понимать, у меня сзади, я же впереди всех в атаку хожу. Вот оно и спокойно — эмблема сияет и показывает: тут, мол, командир, впереди... стало быть, все в порядке... — И он деловито добавлял: — Вот при отходе, ежели что случится, командир должен фуражку нормально носить. Бойцы назад обернутся, тут эмблема им и доложит: все, мол, в порядке, командир последним отходит.

Но однажды «матросский майор» был вынужден сам изменить этому своему правилу.

Сводный отряд попал в окружение. Кольцо врагов

сжималось, оттесняя его к берегу. К ночи моряки и красноармейцы заняли последнюю позицию у самого моря, установили оборону и решили держаться здесь до конца.

К какому именно месту берега вышел отряд в многодневных боях на отходе, сказать было трудно. На карте путалось кружево заливчиков, лиманов, озер, бухт, на местности были одинаковые камыши, кусты да вода. Было ясно одно: впереди и с боков надвигался враг, сзади лежало море. Отступать было некуда.

Конца ожидали утром, когда гитлеровцы подтянут силы для уничтожения «черных дьяволов», попавшихся наконец в мешок. Пока все было тихо, стрельба прекратилась. В ночи шумел ветер, светила луна. Черное море поблескивало сквозь камыши и кусты широкой и вольной дорогой к Севастополю, бесполезной для отряда.

Просторная даль тянула к себе взоры, и бойцы отряда молча посматривали на море. Но если красноармейцы с горечью и досадой отворачивались от него, негодуя на препятствие, кладущее конец боям и жизни, то моряки, прощаясь с морем, вглядывались в него с тоской и надеждой, все еще веря, что оно не выдаст и выручит.

Но в лунном серебряном море не было ни корабля, ни шлюпки.

«Матросский майор», обойдя охранение, прилег рядом с военкомом в камышах на плащ-палатке и тоже стал смотреть на Черное море. Вся его военная жизнь — с тех самых дней, когда в гражданской войне он вступил добровольцем-юношей в матросский отряд и ворвался с ним в Крым по этому же узкому перешейку,— была связана с морем. Каждый день в течение двадцати лет он видел его в прицеле орудия, в дальномер, потом в командирский бинокль или в окно сквозь цветы, когда семье удавалось жить с ним вместе на очередной береговой батарее. И теперь мысль, что он видит море в последний раз, казалась ему дикой.

Военком, видимо, разгадал его чувство, или, может быть, у него защемило сердце от лунного этого простора, неоглядно распахнувшегося над широким морем. Он шумно вздохнул и сказал:

— Да, брат... Хороша вода...

— Хороша,— сказал майор, и они опять надолго замолчали.

Обоим многое хотелось сказать друг другу в эту ночь, которая, как оба отлично понимали, была последней в жизни. Слова сами возникали в душе, необыкновенные и яркие, похожие на стихи. Но произнести их было нельзя.

В них было только прошлое и не было будущего. В них были далекие, дорогие сердцу люди и не было места для тех, кто лежал рядом в камышах и верил, что эти два человека совещаются о том, как спасти отряд. Море, прекрасное и родное, вольной своей ширью звало к жизни, и нужно было найти путь к этой жизни. Но выхода не было, и такая нестерпимая жалость к себе подымалась в душе, что, если произнести блуждающие в ней слова вслух, голос мог дрогнуть и глаза заблестеть.

Поэтому оба говорили другое.

— Ветер нынче какой,— сказал военком.— В море шторм, верно.

— Наверное, шторм,— ответил майор.

И они опять замолчали. Потом майор приподнял голову и посмотрел на море с таким неожиданным и живым любопытством, что военком невольно приподнялся за ним и шепнул, не веря надежде:

— Корабль, что ли?

Майор повернул к нему лицо, и военком заметил в его глазах, освещенных луной, знакомую веселую хитрость

— Военком,— сказал майор с неистребимой подначкой,— ты и вправду думаешь, что это море?

— А что ж, степь, что ли? — обиделся военком.— Конечно, море.

— Эх ты, морская душа! — покачал головой майор.— Моря от лужи не отличил!.. Кабы мы у моря сидели, тут такая бы волна ходила, будь здоров! Понятно?

— Ничего не понятно,— честно сказал военком.

— Ну, так поймешь. Фонарь у тебя еще живой?

Майор выдернул из-под себя плащ-палатку и накрыл ею с головой себя и военкома.

Когда командир пулеметного взвода подошел с докладом, что огневые точки готовы к бою, он увидел на песке странное четырехногое существо с огромной головой. Оно ворчало двумя голосами и шелестело бумагой. Потом оно засмеялось высоким заразительным смехом майора и басом военкома, подобрало ноги — и майор вскочил, пряча в планшет карту.

— Окопались? — спросил он оживленно.— Вот и хорошо! Вытаскивайте обратно все пулеметы к воде...

Через час отряд осторожно, стараясь не плескаться, пробирался друг за другом по пояс в холодной воде, подняв над головами автоматы и оружие. Пулеметы несли на связанных винтовках, а пять оставались еще в кустах, охраняя отход, и возле них лежал военком.

Море, к которому немцы прижали отряд, оказалось лиманом, мелким и спокойным. Ветер распластывал над водой ленточки бескозырок, но по лиману бежали только короткие безобидные волны. Настоящее Черное море гремело и перекатывалось рядом, за низкой песчаной косой.

И хотя это было отходом, а не атакой, майор на этот раз шел впереди, повернув фуражку эмблемой назад. Эмблема блестела в лунных лучах, указывая путь отряду, и «матросский майор» нащупывал ногой дорогу к Севастополю, то и дело погружаясь в воду по горло — так же, как двадцать лет назад, когда он переходил Сиваш и когда впервые узнал, что не всякая широкая вода — море.

ПОСЛЕДНИЙ ДОКЛАД

С берега, вероятно, казалось, что на середине реки росла какая-то странная передвигающаяся рощица белоствольных деревьев. Светлые и зыбкие, возникающие из воды и медленно опадающие, они прорастали на пути маленького катера, и пышные, сверкающие водяной пылью их кроны осыпались металлическими плодами.

Это был ураганный минометный артиллерийский огонь с обоих берегов по узкости реки. Бронекатер, пробиравшийся в этом лесу всплесков, метался вправо и влево.

Командир его был уже ранен. Он навалился всем телом на крышу рубки и смотрел только перед собой, угадывая по всплескам, где вырастет следующая смертоносная роща. Он командовал рулем, и каждая его команда спасала катер от прямого попадания. Чтобы проскочить узкость и спасти катер, надо было все время кидаться из стороны в сторону, сбивая пристрелку врага. И командир выкрикивал слова команды, и рулевой за его спиной повторял их, и катер рвался вперед, все вперед, беспрерывно меняя курс.



Пулеметы несли на связанных винтовках.

Но порой рощица светлых зыбких деревьев прорастала у самого катера, иногда сразу с обоих бортов. Это было накрытие. Тогда вода обдавала катер обильным душем, и вместе с водой на палубу падали осколки, грохоча и взвизгивая. После одного из таких накрытий рулевой не ответил на команду, и командир, подумав, что тот ранен или убит, хотел обернуться к нему. Но катер выполнил маневр, командир понял, что все по-прежнему в порядке, и продолжал командовать рулем. И хотя рулевой снова не повторял команды, катер послушно выполнял малейшее желание командира и мчался по реке зигзагами, лавируя между всплесками.

Наконец водяные рощи стали редеть. Только отдельные всплески преследовали катер. Потом и они остались за кормой, впереди распахнулся широкий и мирный плес. Катер выскочил из обстрела, и на реке встала тишина, показавшаяся командиру странной.

И в этой тишине он услышал за собой негромкий доклад:

— Товарищ командир... управляться не могу...

Он с трудом обернулся. Рулевой всем телом повис на штурвале. Лицо его было белым, без кровинки, глаза закрыты. Руки еще держали штурвал, и, когда он медленно пополз по нему, падая на палубу мостика, эти руки повернули штурвал. Катер резко метнулся к берегу.

Командир перехватил штурвал и крикнул с мостика, чтобы рулевому помогли.

Когда его подняли, он был мертв. Нога его была разворочена осколками, и вся палуба у штурвала была залита кровью.

Это было на бронекатере «034». Рулевым его был старшина второй статьи Щербаха, черноморский моряк.

НА СТАРЫХ СТЕНАХ

Эту старинную крепость знает всякий, кто бывал в Севастополе.

У самого выхода из бухты стоит на Северной стороне каменный форт, отвесно опуская свои высокие стены в лазоревую воду бухты. Почти сто лет тому назад он видел в прозрачной этой воде черные громады восьмидеся-

тичетырехпушечных кораблей, затопленных поперек входа в бухту героями первой севастопольской обороны, и снятые с этих кораблей морские пушки били тогда по врагам из широких его амбразур.

Во второй севастопольской обороне правнуки нахимовских матросов снова подняли над старым фортом гордое знамя черноморской славы.

Форт был очень нужен врагу. Завладев им, фашисты могли окончательно прекратить всякую возможность прохода кораблей и катеров в море. Форт запирал выход из бухты, и немцы стремились овладеть им как можно скорее.

В последние трагические дни обороны Севастополя семьдесят четыре краснофлотца охраны водного района под командой капитана третьего ранга Евсеева и батальонного комиссара Кулинича дали героическому городу слово — держать форт и выход из бухты. Они поднялись на древние каменные стены с автоматами в руках. В первой же атаке немцев моряки уложили более пятидесяти их автоматчиков, заставив остальных отхлынуть.

Тогда фашисты бросили на форт большие силы. На старую крепость пошли танки. Сотни снарядов стали падать на гранитные стены. Эти стены умели когда-то выдерживать удары круглых бомб первой севастопольской осады, но острых и сильных современных снарядов они выдержать не могли.

Атака за атакой — с фронта и с флангов, танками и пехотой — одна за другой накатывались на форт, накатывались и разбивались, как волны. В промежутках между атаками на старый форт падали новые сотни снарядов.

Они пробивали в его стенах огромные бреши, они разбивали гранит, и высокое облако сухой каменной пыли подымалось столбом к синему крымскому небу. Но каждый раз, когда гитлеровцы с гиканьем и воплями победы устремлялись к стенам, из этого облака пыли стучали очереди автоматов и пулеметов, и атака вновь захлебывалась.

Защитников форта было мало, и каждому приходилось драться за целую роту. На левом фланге стоял одинокий пулемет; возле него был только один моряк — комсомолец Компаниец. Шестьдесят немецких автоматчиков

хлынули в образовавшийся после обстрела провал стены, рассчитывая ворваться с фланга. Компаниец одной длинной очередью повалил почти половину, и остальные откатились.

Обстрел, атаки, натиск танков продолжались три дня. Трое суток семьдесят четыре моряка противостояли огромным силам и технике врага. За широкими спинами моряков был выход из бухты, там должны были проходить корабли, и форт надо было держать. Надо...

И моряки держали форт трое суток, пока из бухты не вышли все корабли и катера, и ни одному фашисту не удалось пройти через развалины форта до прозрачной лазоревой воды.

Стены форта рушились, обвалы засыпали моряков. Они выползали из-под камней, отряхиваясь, и снова втискивались в щели между развалинами, выискивая цель для каждой своей пули. Раненные, они снова ползли на камни, с трудом таща за собой автомат, и снова били врага.

Раненым помогал военфельдшер Кусов. Он лежал с автоматом на разрушенной стене и стрелял по фашистам. Его окликали. Он откладывал автомат, перевязывал раненого и снова карабкался на стенку, чтобы отбивать атаку. Так он перевязывал и стрелял, стрелял и перевязывал, пока снаряд, ударивший рядом, не оборвал его мужественной жизни.

На воде, у стен форта, обращенных к городу, стояли шлюпки. Можно было сесть в них и оставить форт. Можно было уйти из этого ада, держаться в котором, казалось, не было уже возможности. Но это означало — отдать врагу выход из бухты. Это означало — отрезать путь тем, кто мог еще уйти из Севастополя.

И шлюпки стояли у стен форта в тихой прозрачной воде, прислушиваясь к разрывам снарядов, к долгой речи пулеметов. Они стояли и ждали, и мимо них проходили в море корабли и катера.

В конце второго дня боя из развалин вышли два моряка с носилками. На носилках лежал комсомолец Грошов, радист, старшина второй статьи. Его откопали из-под стенки, поваленной очередным снарядом, и решили отправить на тот берег. Он лежал в обрывках одежды, и сквозь них синела на неподвижном теле тельняшка, но

белые полоски на ней нельзя было различить: весь он был в земле, в едкой пыли раздробленного столетнего гранита.

У воды он очнулся, приподнял голову и посмотрел на шлюпки.

— Давай назад,— сказал он хрипло.— Я еще не мертвый, куда тащите? Есть пока силы бить фашистскую погань. Несите назад, ребята...

Моряки молча шли к шлюпкам.

— Назад неси, говорю! — крикнул он в бешенстве, приподымаясь на носилках.

И столько ярости и силы было в этом окрике раненого, что моряки так же молча повернулись у самых шлюпок и понесли его в форт.

Шлюпки продолжали ждать. Ждать им пришлось долго — еще вечер, еще день, еще ночь. Лишь на рассвете четвертого дня из облака каменной пыли, стоявшей над фортом, вышли моряки, неся раненых и оружие: приказ отозвал их на последний корабль.

Они шли к воде молча, неторопливо, изодранные, засыпанные каменной пылью, израненные, шли торжественной процессией героев, грозным и прекрасным видением черноморской славы, правнуки севастопольских матросов, строивших когда-то этот старый форт.

ВОРОБЬЕВСКАЯ БАТАРЕЯ

Зенитная батарея Героя Советского Союза Воробьева была уже хорошо знакома фашистам по декабрьскому штурму. Тогда длинные острые иглы ее орудий, привыкших искать врага только в небе, вытянулись по земле. Они били бронебойными снарядами по танкам, зажигательными — по машинам, шрапнелью — по пехоте. Краснофлотцы точным огнем из автоматов и бросками гранат останавливали фашистов, яростно лезших на батарею, внезапно возникшую на пути к Севастополю.

Теперь, в июне, батарея снова закрыла собой дорогу к городу славы.

На этот раз фашисты бросили на нее огромные силы. Самолеты пикировали на батарею один за другим. Дымные высокие столбы разрывов закрывали собой все рас-

положение батарей. Но когда дым расходился и дождь взлетавших к небу камней опускался на землю — из пламени и пыли вновь протягивались вдоль травы острые, длинные стволы зениток, и снова точные их снаряды разбивали фашистские танки.

Наконец орудия были убиты. Они легли, как отважные воины,— лицом к врагу, вытянув свои стройные изуродованные стволы. Батарея держалась теперь только гранатами и ручным оружием краснофлотцев.

Как дрались там моряки, как ухитрились они держаться еще несколько часов, уничтожая врагов, что происходило на этом клочке советской земли, остававшемся еще в руках советских людей,— не будем догадываться и выдумывать.

Пусть каждый из нас молча, про себя прочтет три радиограммы, принятые с воробьевской батареи в последний ее день:

«12-03. Нас забрасывают гранатами, много танков, прощайте, товарищи, кончайте победу без нас».

«13-07. Ведем борьбу за дзоты, только драться некому, все переранены».

«16-10. Биться некем и нечем, открывайте огонь по компункту, тут много немцев».

И четыре часа подряд била по командному пункту исторической батареи двенадцатидюймовая морская береговая. И если бы орудия могли плакать, кровавые слезы падали бы на землю из их раскаленных жерл, посылающих снаряды на головы друзей, братьев, моряков — людей, в которых жила морская душа, высокая и страстная, презирающая смерть во имя победы.

1942

БАТАЛЬОН ЧЕТВЕРЫХ

Этот бой начался для Михаила Негребы прыжком в темноту. Вернее, дружеским, но очень чувствительным толчком в спину, которым ему помогли вылететь из люка самолета, где он неловко застрял, задерживая других.

Он пролетел порядочный кусок темноты, пока не ре-

шился дернуть за кольцо: это был его первый прыжок, и он опасался повиснуть на хвосте самолета. Парашют послушно раскрылся, и, если бы Негреба смог увидеть рядом своего дружка Королева, он подмигнул бы ему и сказал: «А все-таки вышло по-нашему!»

Две недели назад в Севастополе формировался отряд добровольцев-парашютистов. Ни Королев, ни Негреба не могли, понятно, упустить такого случая, и оба на вопрос, прыгали ли они раньше, гордо ответили: «Как же... в аэроклубе — семь прыжков». Можно было бы для верности сказать — двадцать, но тогда их сделали бы инструкторами, что, несомненно, было бы неосторожностью; достаточно было и того, что при первой подгонке парашютов обоим пришлось долго ворочать эти странные мешки (как бы критикуя укладку на основании своего опыта) и косить глазом на других, пока оба не присмотрелись, как же надо надевать парашют и подгонять лямки.

Однако все это обошлось, и теперь Негреба плыл в ночном небе, удивляясь его тишине. Сюда, в высоту, орудийная стрельба едва доносилась, хотя огненное кольцо залпов поблескивало вокруг всей Одессы, а с моря били корабли, поддерживая высадку десантного морского полка (с которым должны были соединиться парашютисты, пройдя с тыла ему навстречу). В городе кровавым цветком распускался большой, высокий пожар. Там же, где должен был приземлиться Негреба, было совершенно темно.

Впрочем, вскоре и там он различил огоньки. Было похоже, будто смотришь с мачты на бак линкора, где множество людей торопливо докуривают папиросы, вспыхивая частыми затяжками. Это и была линия фронта, и сесть следовало за ней, в тылу у румын. Он потянул лямки, как его учили, и заскользил над боем вкось.

Видимо, он приземлился слишком далеко от боя, потому что добрый час полз в темноте, никого не встречая. Внезапно что-то схватило его за горло, и он с размаху ударил в темноту кинжалом. Но это оказалось проволокой связи. Негреба вынул из мешка кусачки и перекусил ее в нескольких местах, ползя вдоль нее. Тут ему пришло в голову, что проволока может привести к румынской части, где можно устроить порядочный аврал огнем из автомата.

Через час проволока привела в бурьян. Всмотревшись в рассветную мглу, Негреба увидел трех коней и поодаль часового. Кони, почуяв человека, захрапели, и пришлось долго выжидать, пока они привыкнут. За это время Негреба надумал, что можно снять часового, вскочить на коня и помчаться по деревне, постреливая из автомата. Он медленно пополз к часовому, держа в левой руке автомат, в правой — кинжал. Именно эта правая рука провалилась на ползке в непонятную яму и тотчас уперлась во что-то мягкое. Его кинуло в жар, и он замер на месте. Откуда-то из-под земли шли громкие голоса.

Наконец он понял: мягкое и упругое препятствие оказалось одеялом, закрывавшим отдушину погреба. Там слышался чужой говор, звенели шпоры, стучала пишущая машинка. Негреба осторожно прорезал кинжалом дырку и заглянул в погреб. Очевидно, это был штаб батальона, может быть полка. Румынские офицеры сгрудились у стола за картой, по которой им что-то раздраженно показывал черноусый и давно не бритый пожилой офицер. В углу на корточках сидели телефонисты. Они подозвали одного из офицеров, и тот начал кричать в трубку. Негреба под этот шум вынул из сумки гранату. Одной ему показалось мало. Когда в подвале снова начался громкий говор, он достал вторую, потом третью и связал их вместе. Он собрался было кинуть их в отдушину, но тут зацокали копыта, и к погребу подскакали еще двое. Негреба дал им войти и тотчас же похвалил себя за это: все офицеры в подвале вытянулись и встали «смирно» — очевидно, один из вошедших был большим начальником.

Негреба швырнул гранаты в отдушину и кубарем покатился в бурьян. Часовой крикнул, но в подвале грянуло и рвануло, и часовой исчез неизвестно куда.

Уже рассвело, когда Негреба вышел в тыл переднего края румынских окопов. Он залег в копне и стал выжидать. Промчался одинокий всадник. Он скакал во весь дух, оглядываясь и пригибая голову к шее коня. Негреба навел на него автомат, но где-то близко простучала очередь, и всадник свалился. Негреба обрадовался: видно, рядом прятался еще один наш парашютист. Снова застучал автомат, и Негреба понял, что он бьет из кустов рядом.

Он решил переползти по кукурузе к товарищу (все же вдвоем лучше), но тут завыли мины и стали рваться у кустов одна за другой, и автомат замолк. Тогда из ложбинки показалось несколько румын, беспрерывно стреляющих по кустам, где сидел неизвестный Негребе товарищ. Негреба в их трескотню добавил свою очередь. Несколько румын упало, остальные кинулись в кукурузу. Все снова стихло, только издали доносилась стрельба.

Он пополз к кустам и нашел там Леонтьева. Тот лежал ничком, подбитый миной. Негреба повернул его. Леонтьев открыл глаза, но тут же закрыл их и негромко сказал:

— Миша... пристрели... не выбраться...

Негреба взглянул в его белое, восковое лицо и вдруг отчетливо понял, что тут, в этих кустах, он найдет и свой собственный конец: пронести Леонтьева через фронт один он не сможет, оставить его здесь или выполнить его просьбу — тоже. Все в нем похолодело и заныло, и он ругнул себя — нужно ему было лезть сюда... Шел бы сам по себе, целый и сильный, выбрался бы... Но хотя жалость к себе и своей жизни, с которой приходится расставаться из-за другого, и сжимала его сердце, он прилег к Леонтьеву и сказал так весело, как сумел:

— Это, друг, всегда поспеется... Сперва перевяжу... Отсидимся; двое — не один...

На перевязку ушли оба пакета — леонтьевский и свой. Леонтьев почувствовал себя лучше. Негреба устроил его поудобнее, всунул ему в руки автомат и сказал:

— Ты за кинжальную батарею будешь. Лежи и нажимай спуск, только и делов! Отобьемся. Слышь, наши близко.

В самом деле, впереди, за румынскими окопами, шла яростная стрельба. Видимо, десантный полк атаковал румын. Но от этого было не легче: скоро румыны, выбитые из окопов, хлынут назад, и кустик с двумя моряками окажется как раз на пути их отступления. Надо было приготовиться к этому. Негреба выложил перед собой гранаты, запасной диск к автомату и повернулся к Леонтьеву:

— Гранаты у тебя есть?

— Есть,— отвечал тот, примеряясь, сможет ли он хоть немного водить перед собой автоматом.— Три шту-

ки. Гранаты возьми, а диск мой не тронь. Сам стрелять буду... Наложим их, Миша, пока дойдут, а?

— Факт, наложим,— сказал Негреба, и они замолчали.

Бой приближался. Стрельба доносилась все ближе. Солнце уже грело порядочно, и теплый, горький запах трав подымался от земли. Ждать последнего боя — и с ним смерти — было трудно. Сбоку, метрах в трехстах, виднелась глубокая балка, где можно было бы отлично держаться и бить румынских фашистов с фланга. Но перенести туда Леонтьева он не мог.

Он заставил себя смотреть перед собой, на ложбинку, откуда должны были появиться враги. И уже хотелось, чтобы это было скорее: ему показалось, что нервов у него не хватит и что, если это ожидание еще продлится, он оставит Леонтьева в кустах и один поползет к балке, в сторону от пути отходящих батальонов.

— Наши сзади,— сказал вдруг Леонтьев.— Слышишь?

Негреба и сам слышал сзади четкие недолгие очереди, но боялся этому верить. Леонтьев зашевелился и закричал слабым, хриплым голосом:

— Моряки!.. Сюда!..

Он пытался подняться, но снова упал на траву. Негреба высунул голову из куста и в желтой кукурузе увидел неподалеку черную бескозырку, левее — вторую. Он встал во весь рост и замахал рукой:

— Моряки!.. Перепелица, чертяка, право на борт, свои!

Два парашютиста перебежали по кукурузе к кустам.

Это были Перепелица и Котиков. Они прилегли в куст, и Негреба наскоро сообщил им обстановку и свой план: перебежать в балку и бить отходящих румын с фланга.

— Тут нам не позиция, тут нас, как курей, задушат,— сказал он.— Тащите Леонтьева, я прикрывать буду.

Котиков и Перепелица подняли раненого. Тот стиснул зубы и закрыл глаза: каждый толчок на бегу отдавался острой болью. До балки оставалось еще метров восемьдесят, когда из ложбинки затрещали выстрелы и выскочило больше десятка румын. Негреба ответил огнем из автомата, но и остальным двоим пришлось положить Леонтьева и тоже вступить в бой. Отбившись, моряки

наконец скатились в балку и там нашли еще одного парашютиста — Литовченко. Он лежал, хозяйственно обложившись гранатами и выставив из травы черное дуло автомата. Увидев краснофлотцев, он возбужденно сказал:

— А я уж думал — мне труба! Лежу один как перст, а их сейчас попрет — только считай... Ну, теперь нас сила!

Леонтьев был без сознания. Негреба осмотрел повязки: они были в крови. Тогда он снял с себя форменку, разорвал ее и сделал новую перевязку. Перепелица тем временем достал бисквиты и шоколад.

— Позавтракаем пока, что ли,— сказал он.

И остальные тоже вынули свои пайки. Но сухие бисквиты не лезли в горло, а шоколад забивал рот, и проглотить его было трудно. Во рту пересохло от бега, солнце уже пекло, и каждый из них дорого дал бы за глоток воды. Но все, оказывается, опорожнили свои фляги еще ночью. Только у Литовченко случайно оказалось немного воды, и он протянул фляжку Негребе:

— Дай ему. Горит человек.

Негреба осторожно влил воду в рот Леонтьеву. Тот глотнул и открыл глаза.

— Держись, Леонтьич,— сказал Негреба,— гляди, нас теперь сколько... Факт, пробьемся!

Леонтьев не ответил и снова закрыл глаза. Перепелица негромко сказал:

— Поперли руманешти, гляди...

И точно, из ложбинки прямо на те кусты, где недавно еще были моряки, выбежала первая толпа отступающих румын. Впереди всех и быстрее всех бежало шесть немцев-автоматчиков. Они добежали до кустов, залегли и открыли огонь по отступающим румынам.

— Вот это тактика! — удивился Негреба.— Что ж, морячки, поможем немцам?.. Только, чур, не по-ихнему: прицельно бить, не очередями.

Он засучил рукава тельняшки и выстрелил первым в офицера, размахивающего пистолетом. Из балки во фланг отступающим ударили пули моряков.

Можно было и не стрелять. Румыны не заметили бы этой горсточки, спрятанной в балке, и моряки прошли бы к себе в тыл без потерь. Но они стреляли, открывая огнем свое присутствие здесь, стреляли, потому что каж-

дый выстрел уничтожал еще одного врага, стреляли, помогая атаке десантного полка.

Под этим огнем офицерам не удалось ни остановить, ни собрать выбежавшие из окопов роты. Тогда немецкие автоматчики перенесли огонь на моряков, и кто-то из офицеров собрал десятка два солдат и повел их на балку. Это был уже настоящий бой. Моряки отбили две атаки. Наконец волна румын прошла, оставив в кукурузе и у балки неподвижные тела. Перепелица оглянул поле боя.

— Порядком наложили! — сказал он удовлетворенно.— А как у нас с патронами, ребята?

С патронами было плохо. На автоматчиков и на отражение двух атак моряки израсходовали почти весь запас. Это было тем хуже, что теперь должны были побежать румыны соседнего участка, и, по всем расчетам, они неминуемо должны были наскочить на балку. Негреба предложил повторить маневр и перебраться в соседнюю, которая опять окажется с фланга отступающих, но, посмотрев на Леонтьева, сам отказался от этой мысли. Моряки помолчали, обдумывая. Потом Негреба сказал:

— Что ж... Видно, тут надо держаться. Патроны беречь на прорыв. Отбиваться будем только гранатами. По тем, кто вплотную набежит.

Они замолчали, выжидая, когда появятся враги. Потом Перепелица достал из мешка офицерский пистолет и посмотрел обойму.

— Шесть патронов,— сказал он.— А нас пятеро. Хватит. Разыграем, что ли, кому? Понятно?

— Понятно,— сказал Литовченко.

— Ясно,— подтвердил Котиков.

— Точно,— добавил Негреба.

Он сорвал четыре травинки и откусил одну, подровняв концы, зажал в кулак и протянул Литовченко.

— Откуда у тебя ихний пистолет? — спросил тот Перепелицу, вытягивая травинку, и закончил облегченно: — Не мне, длинная.

— Стукнул ночью офицера,— ответил Перепелица.— Вещь не тяжелая, а пригодится... Тащи ты, Котиков.

— Может, лучше свои патроны оставить? — раздумчиво сказал тот, осторожно таща травинку.— Погано их ними-то пулями...

Его травинка тоже оказалась длинной.

— Коли ранят, с автоматом не управишься, а этим и лежа всех достанешь,— сказал Перепелица деловито и потянул травинку сам.— Тоже длинная. Выходит, Миша, тебе... Только ты не торопись. Когда вовсе конец будет, понятно?

— Ясно,— сказал Негреба и положил пистолет под руку.

— Кажись, пошли,— негромко сказал Котиков.— Ну, моряки... Коли ничего не будет, свидимся.

И моряки замолчали. Только изредка стонал Леонтьев. Перепелица перекинул Негребе бушлат:

— Прикройся. Лежишь, что зебра полосатая. За версту видать.

— Все одно видать,— ответил Негреба.— Лучше уж так. Хоть увидят, что моряки.

И они снова замолчали, вглядываясь в лавину румын, покатившуюся к балке.

Румыны выбегали из окопов, падали на землю, отстреливаясь от кого-то, кто наседал на них, снова вскакивали, перебегая метров на пять-шесть. Они двигались плотной цепью, почти рядом друг с другом, и с каждой перебежкой все ближе и ближе были к горсточке моряков. Около сотни их побежало прямо на балку, видимо чуя, что они смогут укрыться от огня преследующих их моряков десантного полка. Они еще раз залегли, отстреливаясь, потом, как по команде, вскочили и ринулись к балке.

Уже видны были их лица, небритые, вспотевшие, искаженные страхом. Они были так близко, что тяжелый запах пота, казалось, ударял в нос. Они бежали к балке молча и дружно.

И тогда на их пути встал Негреба, встал во весь рост — крепкий и ладный, в полосатой тельняшке, с автоматом в левой руке и с поднятой гранатой в правой.

— Эй, антонески, огребай матросский подарок! — крикнул он в исступлении и швырнул гранату.

Вслед за ней из балки вылетели еще три. Ахнули взрывы. Румыны попадали. Другие отшатнулись и, петляя, двинулись по сторонам. Моряки бросили еще четыре гранаты. Проход расширился. Перепелица крикнул:

— Мишка, а ведь прорвемся! Хватай Леонтьева!

Моряки мгновенно поняли его, и каждый свободной рукой подхватил раненого. Они ринулись в образовавшийся проход между румынами, и Леонтьев от боли пришел в себя и снова стиснул зубы, чтобы вытерпеть этот стремительный яростный бег. Они проскочили уже самую гущу, когда он увидел, что румыны кинулись за ними. Он разжал зубы и глянул на Перепелицу.

— Бросьте меня... Пробивайтесь...

Перепелица выругал его на бегу, и он замолчал.

Румыны подскочили уже близко. Моряков было всего пятеро, а их сотни. Враги, видимо, поняли это и решили взять моряков живьем. Рослый солдат прыгнул на Перепелицу, пытаясь ударить его штыком. Котиков выпустил ногу Леонтьева и выстрелил румыну в затылок, но другой кинулся на него. Перепелица подхватил румынскую винтовку и сильным ударом штыка повалил солдата, за ним второго и третьего. Потом он бросил винтовку, сорвал с пояса гранату и далеко кинул ее в подбегавших солдат. Те отшатнулись, но граната взорвалась среди них. Оставшиеся в живых залегли и открыли огонь. Пули засвистели вокруг моряков. Перепелица упал и крикнул:

— Тащите вдвоем, мы с Котиковым задержим!

Моряки тоже упали в траву и стали отстреливаться последними патронами. Негреба и Литовченко тащили ползком Леонтьева, а остальные двое ползли за ними, сдерживая румын редким, но точным огнем. Наконец те отстали, спеша уйти в тыл, а моряки неожиданно для себя провалились в опустевший румынский окоп.

Тут они опомнились и осмотрелись: у Котикова пулей была пробита щека, у Перепелицы две пули сидели в ляжке, Литовченко тоже обнаружил, что он ранен. На перевязки ушли все форменки.

Румыны были уже далеко за кустами, и впереди, очевидно, были только свои. Моряки устроили Леонтьева в окопе поудобнее, принесли ему воды, обмыли и напоили, положили возле него румынский автомат и гранаты, найденные в окопе. Он смотрел на все эти заботы, слабо улыбаясь, и глаза его, полные слез, лучше всяких слов говорили о том, что было в его душе. Взгляд этот, вероятно, смутил Негребу, потому что он встал и сказал с излишней деловитостью:



Моряки поняли его, и каждый свободной рукой подхватил раненого.

— Полежи тут, больше трясти не будем. Сейчас носилки пришлем. Идем своих искать.

И они встали в рост — четыре человека в полосатых тельняшках, в черных бескозырках, окровавленные, перевязанные обрывками форменок, но сильные и готовые снова пробиваться сквозь сотни врагов.

И, видимо, сами они поразились своей живучей силище. И Перепелица сказал:

— Один моряк — моряк, два моряка — взвод, три моряка — рота... Сколько нас? Четверо?.. Батальон, слушай мою команду: шагом... арш!

1942

ВОСПИТАНИЕ ЧУВСТВА

Мытье посуды, как известно, дело грязное и надоедливое. Но в тесном командирском буфете миноносца, о котором идет речь, для этой цели существовал некий сложный агрегат, в корне менявший дело. Агрегат этот занимал собой весь правый угол буфета, где сверкал медью паровой самовар — маленький, но злой, вечно фыркающий и обжигающий. Цинковый его поддон был загроможден проволочными стеллажами для тарелок, гнездами для стаканов, особой подвесной сеткой для ножей и вилок. Сложная система медных трубок соединялась резиновым шлангом с краном самовара. Струи кипятка сильно и равномерно били на стеллажи, смывая с посуды застывший жир, липкие следы компота и консервированного молока (которое почему-то любил комиссар миноносца). Сам же хозяин буфета, командирский вестовой Андрей Кротких, презрительно предоставив воде грязную работу, уходил в крошечную каюту, гордо именовавшуюся «командирским салоном». И пока, в знак окончания обеда командира и комиссара, он менял там белую скатерть на цветную, автомат исправно делал свое дело. Вернувшись, Кротких намыливал узкую щетку и с тем же презрительным выражением лица протирал ею в стеллажах тарелки, потом, смыв шлангом мыльную пену, закрывал воду и пар. В жарком воздухе тесного буфета посуда обсыхала сама собой, и через час сухие диски

тарелок сверкали уже в гнездах, оберегающих их от последствий качки. И только воинственная сталь ножей и вилок требовала полотенца: во избежание ржавчины.

Вся эта сложная автоматика была рождена горечью, жившей в сердце Андрея Кротких, краснофлотца и комсомольца. Грязную посуду он ненавидел как некий символ незадавшейся жизни. В самом деле, его товарищи по призыву готовились стоять у клапанов в машине, стрелять из орудий, вертеть штурвалы. Ему же выпала на долю странная боевая часть: посуда. Причиной тому было то, что Кротких, выросший в далеком колхозе на Алтае, по своим личным соображениям простился с учебниками еще в четвертом классе и поэтому при отборе во флотские школы специалистов остался не у дел.

Правда, по боевой тревоге Андрей Кротких был подносчиком снарядов зенитного автомата номер два. Но вся его боевая работа была ничтожна: он вынимал из ящика острожалые снаряды (которые больше походили на патроны гигантской винтовки) и укладывал их на подстеленный возле орудия мат. В дугу обоймы, торчащую из автомата, их вставлял уже другой краснофлотец — заряжающий Пинохин, и оставалось только с завистью смотреть на него и запоздало проклинать опрометчивый поступок юности. В первом же бою с пикировщиками Кротких с горечью понял, что на таком боевом посту Героем Советского Союза, пожалуй, не станешь и что комсомольской организации колхоза «Заря Алтая» гордиться им после войны, видимо, не придется.

Орудие номер два и подсказало ему буфетную автоматику. Перемывая однажды посуду, Кротких неожиданно для себя подумал, что тарелки тоже ведь можно расставить на ребра, вроде как в обойме. Тогда не придется по очереди подносить каждую под струю воды, обжигая при этом руки, а наоборот — можно будет обдавать крутым кипятком сразу все. Он перепортил массу проволоки, пока не добился того, что смутно мерещилось ему в мыслях и что, как с огорчением узнал он после, было давным-давно выдумано и применялось в больших столовых и ресторанах. Это сообщил ему военком миноносца, батальонный комиссар Филатов в первый же вечер, когда, заглянув в буфет в поисках чая, он увидел «автоматику», построенную Кротких.

Однако огорчение это неожиданно обернулось удачно: военком разговорился с ним, и Кротких вылил ему всю свою душу, смешав в кучу и посуду, и «Зарю Алтая», и мечты о Герое Советского Союза, и неведомую комиссару Олю Чебыкину, которой никак не напишешь письма о войне, где он моет посуду, тем более что и слова-то вылазят на бумагу туго и даже самому невозможно потом прочесть свои же каракули...

Военком слушал его, чуть улыбаясь, всматриваясь в блестящие смекалистые глаза и любопытно разглядывая его лицо — широкое и скуластое лицо сибиряка с чистой и ровной кожей. Улыбался он потому, что вспоминал, как когда-то, придя комсомольцем на флот, он так же страдал душой, попав вместо грезившегося боевого поста на скучную и грязную очистку трюма восстанавливаемого линкора, как мучился он над первым своим письмом к друзьям и как беспощадно врал в нем, описывая дальние походы, штормы и собственные ленточки, развевающиеся на мостике (не иначе как рядом с командиром). Молодость, далекая и невозвратимая, дохнула на него из этих блестящих глаз, и он всей душой понял, что Оле Чебыкиной о посуде, и точно, не напишешь: она, конечно, была такая же насмешливая, верткая и опасная на язык, какой была когда-то Валя с текстильной фабрики родного городка.

И он с таким живым интересом стал расспрашивать Кротких о «Заре Алтая», об Оле, о том, как же так вышло у него со школой, что тому показалось, будто перед ним не пожилой человек, пришедший на корабль из запаса, и не комиссар миноносца, а годок-комсомолец, которому обязательно нужно выложить все, что волнует душу. И глаза комиссара, внимательные и дружеские, подгоняли и подгоняли слова, и, если бы в салоне не появился политрук Козлов, разговор долго бы не закончился. Военком отставил стакан и стал опять таким, каким его привык видеть Кротких: сдержанным и немного суховатым.

— Кстати пришли, товарищ политрук,— сказал он обычным своим тоном, негромко и раздельно.— Значит, так вы порешили: раз война — люди сами расти будут. Ни учить не надо, ни воспитывать... Война, как говорится, рождает героев. Самосильно. Так, что ли?

— Непонятно, товарищ батальонный комиссар,— ответил Козлов, угадывая неприятность.

— Чего же тут непонятного? Спасибо, товарищ Кротких, можете быть свободны...

Кротких быстро прибрал стакан и банку с молоком (чтобы комиссару не пришло в голову угощать им Козлова), но, выйдя, задержался с той стороны двери: речь, видимо, шла о нем. Комиссар поинтересовался, известно ли политруку, что у краснофлотца Андрея Кротких слабовато с общим образованием и что ходу ему дальше нет? Он спросил еще, неужели на миноносце нет комсомольцев-вузовцев, и сам назвал химиста Сакова, студента педагогического института. Козлов ответил, что Саков — активист и что он так перегружен и боевым листком, и комсомольским бюро, и докладами, что времени у него нет. Комиссар рассердился. Это Кротких понял по внезапно наступившему молчанию: когда комиссар сердился, он обычно замолкал и медленно скручивал папиросу, посматривая на собеседника и тотчас отворачиваясь — как бы выжидая, когда уляжется гнев. Молчание затянулось. Потом зажигалка щелкнула, и комиссар негромко сказал:

— Это у вас нет времени подумать, товарищ политрук. Почему все на Сакова навалили? Людей у вас, что ли, нет?.. Не видите вы их, как и этого паренька не увидали. Наладьте ему занятия да зайдите в буфет: поглядите, что́ у него в голове...

С этого вечера перед Андреем Кротких раскрылись перспективы. Война шла своим чередом: были бои, штормы, походы, ночные стрельбы и дневные атаки пикировщиков, зенитный автомат жадно втягивал снаряды в ненасытную свою дугу, Кротких подтаскивал их на мат и мыл посуду, но все это приобрело будущее: перед ним стояла весна, когда он пойдет в Школу оружия. Он наловчился не терять и минуты времени. Регулируя свой буфетный автомат, он держал в другой руке грамматику. Драя медяшку в салоне, умножал в уме тридцать шесть на сорок восемь. Дежуря у снарядов по готовности номер два, решал в блокноте задачи. Блокнот был дан комиссаром. Все было дано комиссаром — блокнот, учеба и будущее.

И в девятнадцатилетнее сердце Андрея Кротких плот-

но и верно вошла любовь к этому пожилому спокойному человеку.

Он радовался, когда видел комиссара веселым, когда тот шутил на палубе или в салоне за обедом. Он мрачнел, видя, что комиссар устал и озабочен. Он ненавидел тех, кто доводил комиссара до молчания и медленной возни с папиросой. Тогда бешенство подымалось в нем горячей волной, и однажды оно вылилось поступком, от которого комиссар замолчал и закрутил папиросу.

Была тревожная походная ночь. Черное море сияло под холодной луной, и, хотя ветер был слабый и миноносец не качало, на палубе была жестокая стужа. Корабль шел недалеко от врага, и каждую секунду пустое обширное небо могло обрушить на него бомбы: на лунной дороге миноносец был отчетливо виден. Весь зенитный расчет проводил ночь у орудий.

Комиссар сошел с мостика и обходил палубу. Видимо, он и сам промерз порядочно: подойдя на корму к автомату номер два, он вдруг раскинул руки и начал делать гимнастику.

— И вам советую,— сказал он.— Кровь разгоняет.

Кротких подошел к нему и попросился вниз: он согреет чаю и принесет командиру и комиссару на мостик. Филатов улыбнулся.

— Спасибо, Андрюша,— сказал он, называя его так, как звал в долгих неофициальных разговорах.— Спасибо, дорогой. Не до чая... И потом всех не согреешь, они тоже промерзли...

Он повернулся к орудию и стал шутить, привычно проверяя взглядом, на месте ли весь расчет. В велосипедных седлах, откинувшись навзничь и всматриваясь в смутное сияние лунного неба, лежали наводчики. Установщики прицелов сидели на корточках спиной к ветру, готовые вскочить и завертеть свои штурвальчики, командир орудия старшина первой статьи Гущев стоял в телефонном шлеме, весь опутанный шлангами, как водолаз. Орудие было готово к мгновенной стрельбе.

Но комиссар вдруг перестал шутить и нахмурился.

— А где заряжающий? В чем дело, старшина?

Гущев доложил, что Пинохин отпущен им оправиться, и вполголоса приказал Кротких найти Пинохина в гальюне и сказать ему, чтоб не рассиживался.

В гальюне Пинохина не оказалось. Кротких нашел его там, где подозревал: в кубрике. Пристроившись на рундуке у самого колокола громкого боя, Пинохин спал, очевидно решив, что в случае тревоги успеет выскочить к орудию.

Кротких смотрел на него, и ярость вскипала в его сердце. Он вспомнил, как грелся физкультурой комиссар, как отказался он от стакана чаю, как стоит он сейчас там, на холоде, молчит и ждет, и вдруг, стиснув зубы, размахнулся и ударил Пинохина...

Разбор всего этого происходил в салоне после выполнения миноносцем задания. Комиссар молчал и крутил папиросу. Крутил из-за него, из-за Кротких,— и это было невыносимо. Жизнь казалась конченой: теперь никогда не скажет ему комиссар ласково «Андрюша», никогда не спросит, где в аккумуляторе плюс и где минус, никогда не улыбнется и не назовет «студентом боевого факультета»... Слезы подступали к глазам, видимо, комиссар понял, что они готовы брызнуть из-под опущенных век. Он отложил папиросу и заговорил.

Слова его были медленны и казались жестокими. Филатов как-то удивительно все повернул. Он начал с того, что, будь на его месте другой комиссар, Кротких не так близко к сердцу принял бы поведение Пинохина. Он сказал, что давно видит, как преданно и верно относится к нему Кротких, но что все это не очень правильно. Оказалось, он заметил однажды ночью, как Кротких вошел к нему на цыпочках, прикрыл иллюминатор, поправил одеяло и долго смотрел, улыбаясь, как он спит (тут Кротких покраснел, ибо так было не однажды), и назвал это мальчишеством, никак не подходящим для краснофлотца. Если бы Кротких ударил Пинохина потому, что тот оставил свой боевой пост, навредил этим всему кораблю и, по существу, изменил родине, то это комиссар мог бы еще как-то понять. Но ведь Кротких полез в драку совсем по другим причинам и причины эти высказал сам, крича, что у него, мол, за комиссара сердце горит, такой, мол, человек на палубе мерзнет, а эта гадюка в тепле припухает...

Филатов говорил резко, и Кротких мучился. Комиссар, наверное, заметил это, потому что закурил наконец папиросу, и Кротких, изучивший его привычки, понял, что

он больше не сердится. Но Филатов выдохнул дым и неожиданно закончил:

— Взыскание — само собой. По комсомолу, надо полагать, тоже вздраят... А вас придется перевести.

У Кротких поплыло в глазах.

— Товарищ батальонный комиссар, мне на другом корабле не жить,— сказал он глухо.

И голос комиссара вдруг потеплел:

— Да я не собираюсь вас с миноносца списывать. Где вы такого Сакова найдете, этак вся учеба у вас пропадет... Перейдете вестовым в кают-компанию. Автоматику свою в тот буфет заберете, пригодится... Так, что ли?

И хотя Кротких внутренне считал, что совсем не так, что комиссар не понял его любви и преданности и что вся жизнь теперь потускнела и уходить в кают-компанию просто тяжело, он все-таки вытянулся и ответил:

— Точно, товарищ батальонный комиссар.

Это было настоящим горем. Кроме того, Кротких не предполагал, что на свете, помимо любви, существует еще и ревность. Он впервые познал это горькое и обидное чувство. Другой заботится теперь о комиссаре, другой, а не он, слышит его шутки за обедом, с другим, а не с ним ведет комиссар душевный вечерний разговор, прихлебывая чай с консервированным молоком. И уж конечно, новый вестовой не догадается припрятывать молоко от гостей, не сумеет накормить комиссара в шторм...

В этом своем горе, ревности и раскаянье Кротких повзрослел. Он стал сдержаннее, серьезнее и, невольно подражая Филатову, выдерживал паузу, если гнев или обида требовали немедленного поступка. Крутить папиросу ему не приходилось — не везде закуришь. Поэтому он приучил себя в этих случаях шевелить по очереди всеми пальцами (чтоб удобно было делать, даже держа руки по швам).

Филатова он видел теперь много реже, чем раньше: на официальных собраниях, иногда в кают-компании или в кубрике, когда комиссар приходил туда для беседы. На палубе он старался пристать к кучке людей, обступивших комиссара, но Филатов говорил с ним, как со всеми, и в глазах его ни разу не мелькнуло то ласковое тепло и живое любопытство, к которым так привык Кротких и которых ему так теперь недоставало. И постепенно Филатов,

родной и близкий человек, заменялся в его представлении Филатовым — комиссаром корабля. Но странное дело: именно теперь Филатов окончательно вошел в его сердце.

Это была не та мальчишеская, смешная и трогательная, но глуповатая любовь, которой он горел прежде. Теперь это была новая, глубокая — военная — любовь.

Черное море показало свой грозный нрав: миноносец нырял в волне, как подводная лодка, и вся палуба была в ледяной воде и в мокром льду, а в кубриках днем и ночью ждал горячий кофе, глоток вина и сухие валенки, и вахту наверху сменяли через час — и Кротких понимал, что это подсказано комиссаром. На маленькой базе, куда зашли ремонтироваться после шторма, к трапу подъехала подвода, где лежали восемь барашков, зелень, две гитары, мандарины и капуста. И люди в косматых шапках ломаным русским языком спросили, как передать этот маленький подарок храбрым морякам, о которых рассказывал вчера в колхозе комиссар. В каждом большом и малом событии корабельной жизни, в разговорах с другими, в бою и в шторме — везде чувствовал Кротких комиссара, его мысль, его волю, его заботу.

В один из тех смутных дней странной южной зимы, когда солнце греет, а ветер холоден, все на миноносце с утра ходили молчаливыми и хмурыми: дошло известие, что немцы взяли Ростов-на-Дону. Мысли, тяжелые и тревожные, уходили на Кавказ, к нефти, к прерванной линии железной дороги. Люди не разговаривали друг с другом, дело валилось из рук. Но потом головы стали подыматься, глаза — блестеть надеждой и ненавистью, руки — работать яростно и быстро: теперь все говорили о Москве, об ударе наших войск, о том, что удар этот вот-вот обрушится на врага и Ростов встал на свое место в сложной схеме войны. И Кротких с гордостью подумал, что разъяснил это комиссар.

Он стал понимать, почему с таким уважением и любовью говорят о комиссаре остальные краснофлотцы, мало знающие его в частной, каютной жизни. Он стал понимать, почему каждый из них готов рискнуть головой, чтобы спасти в бою комиссара — не просто Филатова, хорошего, честного и отзывчивого человека, а военного комиссара Филатова, партийную душу и совесть корабля.

По-прежнему стоял Кротких у своего ящика со сна-

рядами, выкладывая их на мат — не дальше. Но мальчишеская зависть к заряжающему (теперь уже не к Пинохину, который пошел под суд, а к Трофимову) больше не терзала его, как не мучило и сознание, что подвига тут не свершишь. Новое понятие — корабль — значительно и серьезно вошло в него. Он полюбил корабль — его силу и его людей, его сталь и его командиров, его ход и его название. И даже посуда, которую он так ненавидел и презирал недавно, теперь совсем перестала беспокоить его воображение.

Это новое ощущение корабля как живого, сильного и ласкового друга настолько захватило его, что однажды вечером он сел писать свое первое письмо Оле Чебыкиной.

Но из письма ничего не получилось. Буквы были теперь четкими на загляденье, но передать это удивительное ощущение корабля и любви к нему он никак не смог. Он написал целую страницу затертых, невыразительных слов и в ярости разорвал письмо, даже забыв перед этим пошевелить пальцами. Два дня он ходил мрачный, мучаясь, как бы написать о корабле так, чтобы это запало Оле в самое сердце, но корабль сам отвлек его мысли.

На корабле готовился десант. На комсомольском собрании все объявили себя добровольцами. Но с миноносца требовалось только пятнадцать человек, умеющих хорошо владеть ручными автоматами, штыком и минометом. Кротких под эти требования никак не подходил, и на него даже не взглянули. Кротких пошевелил пальцами и промолчал.

Однако когда на рассвете миноносец подходил к месту высадки и когда десантники вышли на палубу с оружием и ящик с минами был поставлен на корме, готовый к погрузке на шлюпку, вся душа в нем заныла. Мины лежали в ящике ровным рядом, пузатые, понятные, как снаряды его автомата, и, конечно, он лучше всех мог бы вытаскивать их из ящика и подносить к миномету. Он вздохнул, но тут миноносец резко повернул, заверещал свисток командира автомата номер два: налетели самолеты, и пришлось отбиваться.

Автомат залаял отрывисто и четко, но что-то простучало по палубе как горох. Трофимов упал, выронив снаряд, и автомат захлебнулся: пикировщик дал очередь из пулемета. Кротких подскочил к орудию и, быстро наги-

баясь к снарядам, им же самим приготовленным на мате, накормил голодную обойму. Автомат вновь заработал. И все внимание ушло на то, чтобы успевать брать из ящика новые снаряды и вставлять их в обойму, и совершенно некогда было подумать, что вот наконец он, Кротких, сам ведет бой. Рядом с бортом встал огромный столб воды и дыма, что-то провизжало мимо орудия. Вслед за бомбой в ту же вздыбленную воду с воем и ревом врезался самолет. Кротких заметил лишь хвост с черным крестом и понял, что они все-таки сбили фашиста, нахально пикнувшего на миноносец, у которого замолчал автомат. Но и этому он не успел ни обрадоваться, ни удивиться, потому что сзади него закричали:

— Мины!..

Он обернулся. Ящик с минами горел, сильно дымя. Мины в нем вот-вот должны были начать рваться. Он видел, как в дыму мелькнула чья-то фигура, как чьи-то руки попытались приподнять ящик и как потом краснофлотец (кто — он так и не разобрал) отскочил. Гущев отчаянно махнул рукой, сорвал с себя телефонный шлем и крикнул:

— Все с кормы!

Каждую секунду могли рвануть два десятка мин, из которых и одной хватило бы на весь орудийный расчет. Кротких вдруг подумал, что вслед за минами начнут рваться в пожаре и его снаряды, а за ними — погреба и весь корабль, и шагнул было к ящику. Но тут за кормовой рубкой грохнуло четвертое орудие, и ему показалось, что уже грянула взрывом пылающая в ящике смерть. Это было так страшно, что он ринулся с кормы вслед за остальными. Шаг в сторону ящика оставил его позади всех, и отчаяние охватило его: если он споткнется, ему никто не поможет. Подлое, паническое малодушие подогнуло его колени. Он сделал усилие, чтобы шагнуть, и вдруг впереди, у носового мостика, увидел комиссара.

Филатов, расталкивая встречных, бежал на корму, и Кротких понял зачем. Догадка эта поразила его. В два прыжка Кротких очутился у ящика и, обжигая ладони, ухватился за дно. Ящик был слишком тяжел для одного человека. Второй — бежал на помощь. Но этот второй человек был комиссар корабля, и подпускать его к ящику было нельзя.

Он присел на корточки и схватил раскаленный стабилизатор крайней мины. Ладонь зашипела, острая боль на миг захолонула сердце, но мина вылетела за борт. Он тотчас схватил другую.

Может быть, он что-то кричал. Так потом рассказывали ему товарищи: говорили, что он прыгал на корточках у ящика, танцуя какой-то страшный танец боли и ругаясь во весь голос бессмысленно и жутко. Но мины летели за борт одна за другой, быстро освобождая горящий ящик. Выпрямляясь с очередной миной в руках, он увидел комиссара: тот был уже у кормового мостика, рядом со смертью. Тогда Кротких, надсаживаясь, поднял на поручни опустошенный наполовину ящик. Пламя лизнуло его лицо. Бушлат загорелся. Он отвернул лицо и сильным толчком сбросил за борт ящик. Потом ударил по бушлату ладонями, уже не чувствующими огня.

Тут кто-то крепко и сильно схватил его за плечи. Он повернул голову. Это подбежал комиссар.

— Ничего, товарищ комиссар, уже тухнет,— сказал он, думая, что комиссар тушит на нем бушлат.

Но, взглянув в глаза комиссара, он понял: это было объятие.

1942

ДЕРЖИСЬ, СТАРШИНА...

I

На этот раз командир лодки поймал себя на том, что смотрит на циферблат глубомера и пытается догадаться, сколько же сейчас времени. Он перевел глаза на часы, висевшие рядом, но все-таки понять ничего не мог. Стрелки на них дрожали и расплывались, и было очень трудно заставить их показать время. Когда наконец это удалось, капитан-лейтенант понял, что до наступления темноты оставалось еще больше трех часов, и подумал, что этих трех часов ему не выдержать.

Мутная, проклятая вялость вновь подгибала его колени. Он снова — в который раз! — терял сознание. В висках у него стучало, в глазах плыли и вертелись радужные круги, он чувствовал, что шатается и что пальцы его



Кротких, надсаживаясь, поднял на поручни опустошенный наполовину ящик.

сжимают что-то холодное и твердое. Огромным усилием воли он заставил себя подумать, где он, за что ухватились его руки и что он, собственно, собирается делать. И тогда он вдруг понял, что стоит уже не у часов, а у клапанов продувания, схватившись за маховичок. Видимо, снова он потерял контроль над своими поступками и теперь вопреки собственной воле был уже готов продуть балласт и всплыть, чтобы впустить в лодку чистый воздух.

Воздух... Благословенный, свежий воздух без этого острого, душного, проклятого запаха, который дурманит голову, клонит ко сну, лишает воли... Воздуха, немного воздуха!..

Его очень много было там, над водой. Несправедливо много. Так много, что его хватало и на врагов. Они могли не только дышать им. Они могли даже сжигать его в цилиндрах моторов, и их самолеты могли летать в нем над бухтой и Севастополем. И поэтому лодка должна была лежать на грунте, дожидаясь темноты, которая даст ей возможность всплыть, вдохнуть в себя широко открытыми люками чистый воздух и проветрить отсеки, насыщенные парами бензина.

Уже тринадцатый час люди в лодке дышали одуряющей смесью этих паров, углекислоты, выдыхаемой их легкими, и скупых порций кислорода, которым командир, расходуя аварийные баллоны, пытался убить бензинный дурман. Кислород, дав временное облегчение людям, сгорал в их организме, а бензинные пары все продолжали невидимо насыщать лодку.

Они струились в отсеки из той балластной систерны, в которой подводники, рискуя жизнью, привезли защитникам Севастополя драгоценное боевое горючее. Систерна ночью была уже опорожнена, бензин увезли к танкам и самолетам. Оставалось только промыть ее (чтобы при погружении водяной балласт не вытеснил из нее паров бензина внутрь лодки) и проветрить отсеки. Но сделать этого не удалось. С рассветом началась одна из тех яростных бомбежек, длившихся целый день, которые испытывал Севастополь в последние дни своей героической обороны.

Лодка была вынуждена лечь в бухте на грунт до наступления темноты.

Первые часы все шло хорошо. Но потом стальной кор-

пус лодки стал подобен гигантской наркотической маске, надетой на головы нескольких десятков людей. Сытный, сладкий и острый запах бензина отравлял человеческий организм — люди в лодке поочередно стали погружаться в бесчувственное состояние. Оно напоминало тот неестественный мертвый сон, в котором лежат на операционном столе под парами эфира или хлороформа.

И так же, как под наркозом каждый человек засыпает по-своему: один — легко и покорно, другой — мучительно борясь против насильно навязываемого ему сна, так и люди в лодке, перед тем как окончательно потерять сознание, вели себя по-разному.

Одни медленно бродили по отсекам, натыкаясь на приборы и на товарищей, и бормотали оборванные, непонятные фразы. Другие, лежавшие терпеливо и спокойно в ожидании всплытия, вдруг принимались плакать пьяным истошным плачем, ругаясь и бредя, пока отравленный воздух не гасил в них остатков сознания и не погружал в молчание. Кто-то внезапно поднялся и начал плясать. Может быть, в затуманенном его мозгу мелькнула догадка, что этим он подымет дух у остальных, и он плясал, подпевая и ухарски вскрикивая, пока не упал без сил рядом с бесчувственными телами, для которых плясал.

Большинство краснофлотцев, стараясь сберечь силы до того времени, когда можно будет всплывать, лежали так, как приказал командир,— молча и недвижно. Но и они в конце концов были побеждены бесчувствием, неодолимо наплывающим на мозг. И только глаза их — неподвижные, не выражающие уже мысли глаза — были упрямо открыты, словно краснофлотцы хотели этим показать своему командиру, что до последнего проблеска сознания они пытались держаться и что они ждут только глотка свежего воздуха, чтобы встать по своим боевым местам.

Но дать им этот глоток командир не мог.

Всплыть, когда над бухтой был день, означало подставить лодку под снаряды тяжелых батарей, под бомбы самолетов, непрерывно сменяющих друг друга в воздухе. Нужно было лежать на грунте и ждать темноты. Нужно было бороться с этим одуряющим запахом, погрузившим в бесчувствие всех людей в лодке. Он должен был

держаться и сохранять сознание, чтобы иметь возможность всплыть и спасти лодку и людей.

Но держаться было трудно. Все чаще и чаще он переходил в бредовое состояние и уже несколько раз ясно видел на часах двадцать один час — время, когда можно будет всплывать. Глоток свежего воздуха, только один глоток, и он продержался бы и эти три часа. Он завидовал тем, кому привез бензин, мины и патроны: они дрались и умирали на воздухе. Даже падая с пулей в груди, они успевали вдохнуть в себя свежий, чистый воздух, и, вероятно, это было блаженством... Стоило только повернуть маховичок продувания балласта, отдраить люк, вдохнуть один раз — один только раз! — и потом снова лечь на грунт хоть на сутки... Пальцы его уже сжимали маховичок, но он нашел в себе силы снять с него руки и отойти от трюмного поста.

Он сделал два шага и упал, всей силой воли сопротивляясь надвигающейся зловещей пустоте. Он не имел права терять сознание. Тогда лодка и все люди в ней погибнут.

Он лежал в центральном посту у клапанов продувания, скрипя зубами, глухо рыча и мотая головой, словно этим можно было выветрить из нее проклятый вялый дурман. Он кусал пальцы, чтобы боль привела его в чувство. Он бился, как тонущий человек, но сонная пустота затягивала в себя, как медленный сильный омут.

Потом он почувствовал, что его приподымают, и сквозь дымные и радужные облака увидел лицо второго во всей лодке человека, кто, кроме него, мог еще думать и действовать. Это был старшина группы трюмных.

— Товарищ капитан-лейтенант, попейте-ка,— сказал тот, прикладывая к его губам кружку.

Он глотнул. Вода была теплая, и его замутило.

— Пейте, пейте, товарищ командир,— настойчиво повторил старшина.— Может, сорвет. Тогда полегчает, вот увидите...

Капитан-лейтенант залпом выпил кружку, другую. Тотчас его замутило больше, и яростный припадок рвоты потряс все тело. Он отлежался. Голове действительно стало легче.

— Крепкий ты, старшина,— сказал он, найдя в себе силы улыбнуться.

— Держусь пока,— сказал тот, но капитан-лейтенант увидел, что лицо его было совершенно зеленым и что глаза блестят неестественным блеском.

Командир попытался встать, но во всем теле была страшная слабость, и старшина помог ему сесть.

— А я думал, вам полегчает,— сказал он сожалеюще.— Конечно, кому как. Мне вот помогает, потравлю — и легче...

Командир с трудом раскрыл глаза.

— Не выдержать мне, старшина. Свалюсь,— сказал он, чувствуя, что сказать это трудно и стыдно, но сказать надо, чтобы тот, кто останется на ногах один, знал, что командира в лодке больше нет.

И старшина как будто угадал его чувство.

— Что ж мудреного, вы же в походе две ночи не спали,— сказал он уважительно.— Я и то на вас удивляюсь.

Он помолчал и добавил:

— Вам бы, товарищ командир, поспать сейчас. Часа три отдохнете, а к темноте я вас разбужу... А то вам и лодки потом не поднять будет...

Командир и так уже почти спал, сидя на разножке. Борясь со сном, он думал и взвешивал. Он отлично понимал, что, если он немедленно же не отдохнет, он погубит и лодку и людей. Он с усилием поднял голову.

— Товарищ старшина первой статьи,— сказал он таким тоном, что старшина невольно выпрямился и стал «смирно»,— вступайте во временное командование лодкой. Я, и точно, не в себе. Лягу. Следите за людьми, может, кто очнется, полезет в люк отдраивать... или продувать примется... Не допускать.

Он помолчал и добавил:

— И меня не допускайте к клапанам до двадцати одного часа. Может, и меня к ним тоже потянет, понятно?

— Понятно, товарищ капитан-лейтенант,— сказал старшина.

Командир снял с руки часы.

— Возьмите. Чтобы все время при вас были, мало ли что... Меня разбудить в двадцать один час, понятно?

— Понятно,— повторил старшина, надевая на руку часы.

Он помог командиру встать на ноги и дойти до каюты. Очевидно, тот уже терял сознание, потому что повис на его руке и говорил как в бреду:

— Держись, старшина... Выдержи... Лодку тебе отдаю... людей отдаю... На часы смотри, выдержи, старшина...

Старшина уложил его в койку и пошел по отсекам.

II

Он шел медленно и осторожно, стараясь не делать лишних движений, потому что и у него от них кружилась голова. Он шел между бесчувственных тел, поправляя руки и ноги, свесившиеся с коек, с торпедных аппаратов, с дизелей. Порой он останавливался возле спящего или потерявшего сознание краснофлотца, оценивая его: может, если его привести в чувство, пригодится командиру при всплытии? Он попробовал расшевелить тех, кто казался ему крепче и выносливее других. Из этого ничего не получилось. Только трое на минуту пришли в себя, но снова впали в бесчувственность. Однако он их приметил: это были нужные при всплытии люди — электрик, моторист и еще один трюмный.

Трижды за первые два часа ему пришлось прибегать к своему способу облегчения. Но в желудке ничего не осталось, и рвота стала мучительной. По третьему разу он почувствовал, что его валит непобедимое стремление заснуть. Чтобы отвлечься, он опять пошел по отсекам, пошатываясь. Когда он проходил мимо командира, он подумал, не разбудить ли его, потому что сам он мог неожиданно для себя заснуть. Он остановился перед командиром. Тот по-прежнему продолжал бредить:

— Двадцать один час... Боевая задача... Держись, старшина...

— Спите, товарищ командир, все нормально идет,— ответил он.

Но, видимо, командир его не слышал, потому что повторял однотонно и негромко:

— Держись, старшина... Держись, старшина...

Старшина смотрел на него, взволнованный этим бредом, в котором командир и без сознания продолжал верить тому, кому он поручил свой отдых, нужный для

спасения лодки. Ему стало стыдно за свою слабость. Он пересилил себя и пошел в центральный пост.

Но там, оставшись опять один, он снова почувствовал, что должен забыться хоть на минутку. Голова сама падала на грудь, и он боялся, что заснет незаметно для самого себя. Тогда он пошел на хитрость: прислонился к двери, взялся левой рукой за верхнюю задрайку и привалился головой к запястью с тем расчетом, что если случайно он заснет, то пальцы разожмутся и голова неминуемо стукнется о задрайку, что, несомненно, заставит его опомниться.

Какое-то время он сидел в забытьи, слушая громкий стук в висках. Потом этот стук перешел в ровное, убаюкивающее постукивание, равномерное и не очень торопливое. Это тикали у самого уха командирские часы на руке. Они тикали и как будто повторяли два слова: «Дер-жись, стар-шина, дер-жись, стар-шина...» Он понял, что засыпает, и тут же хитро подумал, что пальцы обязательно разожмутся, как только он уснет, и что пока можно сидеть спокойно, отдаваясь этому блаженному забытью. Но часы тикали надоедливо, и надоедливо звучали слова: «Держись, старшина»,— и вдруг он вспомнил, что они значат...

Он резко поднял голову и хотел снять руку с задрайки. Но пальцы так вцепились в задрайку непроизвольной, цепкой судорогой, что он испугался. Их пришлось разжать другой рукой.

Ему стало ясно, что нельзя идти ни на какие сделки с самим собой: несмотря на свой хитрый план, он мог сейчас заснуть, как и все другие, и погубить лодку. Чтобы встряхнуться, он запел громко и нескладно. Он никогда не пел раньше, стесняясь своего голоса, но сейчас его никто не слышал. Он пел дико и фальшиво, перевирая слова, но песня эта его несколько рассеяла. Вдруг он замолчал: он подумал, что наверху, может быть, подслушивают вражеские гидрофоны. Потом с трудом вспомнил, что никаких гидрофонов нет — лодка лежит в своей бухте.

Время от времени в лодку доносились глухие взрывы. Наверное, фашисты бомбили наши корабли. Он вспомнил, как перед погружением, когда, сдав груз и бензин, лодка отходила от пристани, в небе загудело неисчисли-

мое количество самолетов и светлые столбы встали на нежном небе рассвета, и один из них, опав, обнаружил за собой миноносец. И снова с потрясающей ясностью он увидел, как корма миноносца поднялась над водой и как одно орудие на ней продолжало бить по самолетам, пока вода не заплеснула в его раскаленный ствол.

— Держись, старшина,— сказал он себе вслух,— держись, старшина... Люди же держались...

Его охватила жалость к этим морякам, погибшим на его глазах, и внезапная ярость ожгла сердце. Он поднял к подволоку кулак и погрозил.

— Еще и лодки ждете, чертовы дети?.. Прождетесь...— сказал он тихо и отчетливо.

Ярость эта как будто освежила его и придала ему сил. Он пошел по отсекам, чтобы найти тех, кого он наметил, и перетащить их в центральный пост, чтобы при всплытии привести их в чувство. Он наклонился над электриком, когда услышал в конце отсека шаги. Перегнувшись и посмотрев вдоль лодки сквозь путаную сеть труб, штоков и приборов, он увидел, что кто-то, шатаясь, подошел к люку и взялся за задрайку. Старшина быстро прошел к нему:

— С ума сошел? Кто приказал?

Но тот, очевидно, его не понимал. Старшина попробовал его оттащить, но тот вцепился в задрайку с неожиданной силой, покачивая опущенной головой, и бормотал:

— Обожди... на минутку только... обожди...

Он боролся со старшиной отчаянно и упорно, потом вдруг весь ослаб и упал возле люка.

Борьба эта утомила старшину, и он вынужден был отсидеться. Едва он отдохнул, как упавший снова встал и потянулся к задрайкам. На этот раз схватка была яростней, и, может быть, тот одолел бы старшину и впустил бы в лодку воду, если б не пустяк: старшина почувствовал, что рука с командирскими часами прижата к переборке, и ему почему-то померещилось, что если часы будут раздавлены в этой свалке, то он не сможет разбудить командира вовремя. Он рывком дернулся из зажавших его цепких объятий, и бредивший снова потерял силы. Для верности старшина связал ему руки чьим-то полотенцем и долго сидел возле, задыхаясь и выти-

рая пот. Когда он смог подняться на ноги, было уже десять минут десятого. Он прошел к командиру и тронул его за плечо:

— Товарищ капитан-лейтенант, время вышло, вставайте!

— Старшина? — тотчас же ответил тот, не открывая глаз.— Хорошо, старшина... Держись... Не забудь разбудить...

— Пора всплывать, товарищ командир, двадцать один час,— повторил старшина и поднял голову к подволоку, где за толстым слоем воды была спасительная тьма и воздух, чистый воздух, который сейчас хлынет в лодку. Нетерпение охватило его.— Вставайте, товарищ командир, можно всплывать,— повторил он, но командир очнуться не мог.

Он подымал голову, ронял ее обратно на койку и повторял:

— Держись, старшина... боевой приказ... двадцать один час...

Разбудить его было невозможно.

Когда старшина это понял, он просидел минут пять, соображая. Потом прошел к инженеру и попытался поднять его. Но тот был совершенно без сознания.

В отчаянии старшина попробовал заставить очнуться кого-либо из тех, кого он наметил ранее. Но и они подымали голову, как пьяные, отвечали вздор, и толку от них не было.

Тогда он решился.

Он перенес командира в центральный пост и пристроил его под самым люком, чтобы воздух сразу хлынул на него. Потом подошел к клапанам и открыл продувание средней.

Все было в порядке. Знакомый удар сжатого воздуха хлопнул в трубах, вода в систерне зажурчала, и глубомер пополз вверх. Лодка всплыла на ровном киле, и глубомер показал, что рубка уже вышла из воды. Теперь оставалось лишь отдраить верхний люк и впустить в лодку воздух. Тогда под свежей его струей командир очнется и все пойдет нормально.

Во всей этой возне старшина очень устал. И, как бывает всегда в последних секундах ожидания, ему показалось, что больше он выдержать не может. Свежий воздух

стал нужен ему безотлагательно, сейчас же, иначе он мог упасть рядом с командиром, и тогда все кончится и для лодки и для людей. Сердце его билось бешеным стуком, голова кружилась. Он полз по скоб-трапу вверх к люку медленно, как во сне, когда руки и ноги вязнут и когда никак нельзя дотянуться до того, что тебя спасет. Руки его и в самом деле ослабли, и, взявшись за штурвал люка, он едва смог его повернуть. Еще одно огромное усилие понадобилось, чтобы заставить крышку люка отделиться от прилипшей резиновой прослойки.

Свежий, прохладный воздух ударил ему в лицо. Он пил его всей грудью, вытянув шею, смеясь и почти плача, но вдруг с ужасом почувствовал, что голова кружится все сильней. Он сумел еще понять, что люк надо успеть задраить, иначе лодку начнет заливать, если разведет волну, и не будет уже ни одного человека, кто это сможет заметить. Теряя сознание, он повис всем телом на штурвале люка, крышка захлопнулась под тяжестью его тела, руки разжались, и он рухнул вниз.

III

Очнулся он оттого, что захлебнулся. Рывком он поднял голову, пытаясь понять, где он и что случилось.

В лодке по-прежнему было светло и тихо. Он лежал рядом с командиром, лицом вниз, в небольшой луже, заливавшей палубу центрального поста. Командирские часы на руке показывали 21 час 50 минут. Значит, он только что упал, и откуда появилась вода — было непонятно.

Он встал и с удивлением почувствовал, что силы его прибавились,— видимо, так помог воздух, которым ему только что удалось подышать. Но открывать вновь люк было опасно: раз в лодке была вода, значит, рубка не вышла целиком над поверхностью бухты. Он в раздумье обвел глазами центральный пост, соображая, что же могло произойти. Тут на глаза ему попались часы на переборке у глубомера. Они показывали 0 часов 8 минут.

Это значило, что командирские часы разбились и что он пролежал без сознания больше двух часов. Все это время лодка дрейфовала в бухте, и с ней могло произой-

ти что угодно, раз вода выступила из трюма на настил палубы.

Он пошел осматривать отсек и понял, откуда появилась вода.

Тот, кого он связал полотенцем, сумел освободиться от него и все-таки отдраить носовой люк. Но, по счастью, он только ослабил задрайки: у него или не хватило сил открыть люк, или вода, полившаяся в щель, привела его на момент в чувство, и он понял, что делает что-то не то. Однако и этой щели оказалось достаточно, чтобы вода, покрывавшая над люком верхнюю палубу лодки, всплывшей только рубкой, уже залила трюмы.

Поняв, что очнулся как раз вовремя, старшина тотчас довернул задрайки носового люка, вернулся в центральный пост, пустил водоотливные помпы и только после этого решился открыть рубочный люк. Воздух снова ударил его по голове, как молотом, но на этот раз он сразу же перевесился через комингс люка и удержался на трапе. Скоро он пришел в себя и поднялся на мостик.

Торжественно и величаво стояло над бухтой звездное, чистое небо. Вспыхивающее на горизонте кольцо орудийных залпов осеняло мужественный, израненный город огненным венцом славы. Шумели волны, разбиваясь о близкий берег. Свежий морской ветер бил в лицо, выдувая из легких ядовитые пары бензина.

Старшина стоял, наслаждаясь ветром, воздухом и возвращенной жизнью. Он стоял, он смотрел в звездное небо и слушал глухой рокот волн и залпов.

Но лодка снова напомнила ему о том, что по-прежнему он остался единственным человеком, от которого зависит ее судьба и судьба заключенных в ней беспомощных, одурманенных людей: она приподнялась на волне и ударила носом о грунт. Тогда он перегнулся через обвес рубки, вгляделся во тьму и понял, что за эти два часа лодку поднесло к берегу и, очевидно, посадило носом на камни.

Опять следовало действовать, и действовать немедленно. Нужно было сняться с камней и уйти в море, пока еще темно и пока не появились над бухтой фашистские самолеты.

Он быстро спустился вниз, включил вентиляцию и с трудом вытащил командира на мостик. На воздухе тот

очнулся. Но так же, как недавно старшина, он сидел на мостике, вдыхая свежий воздух и еще не понимая, где он и что надо делать. Старшина оставил его приходить в себя и вынес наверх еще одного человека, без которого лодка не могла дать ход,— электрика, одного из троих, намеченных им для всплытия.

Наконец они смогли действовать. Командир приказал продуть главный балласт, чтобы лодка, окончательно всплыв, снялась с камней. Электрик, еще пошатываясь, прошел в корму, к своей станции, старшина — к своему трюмному посту. Он открыл клапаны, и глубомер пополз вверх. Когда он показал ноль, старшина доложил наверх, что балласт продут, и командир дал телеграфом «полный назад», чтобы отвести лодку от камней. Моторы зажужжали, но лодка почему-то пошла вперед и вновь села на камни. Командир дал «стоп» и крикнул вниз старшине, чтобы тот узнал, почему неверно дан ход.

Электрик стоял у рубильников с напряженным и сосредоточенным вниманием и смотрел на телеграф, ожидая приказаний.

— Тебе какой ход был приказан? — спросил его старшина.

— Передний,— ответил он.— Полной мощностью оба вала.

— Ты что, не очнулся? Задний был дан,— сердито сказал старшина.

— Да я видел, что телеграф врет,— сказал электрик спокойно.— Как же командир мог задний давать? Сзади же у нас фашисты. Мы только вперед можем идти. В море.

Он сказал это с полным убеждением, и старшина понял, что тот все еще во власти бензинного бреда. Заменить электрика у станции было некем, а ждать, когда к нему вернется сознание полностью, было нельзя. Тогда старшина прошел на мостик и сказал капитан-лейтенанту, что у электрика в голове шарики вертятся еще не в ту сторону, но что хода́ давать можно: он сам будет стоять рядом с электриком и посматривать, чтобы тот больше не чудил.

Лодка вновь попыталась сняться. Ошибка электрика поставила ее в худшее положение: главный балласт был

продут полностью, и уменьшить ее осадку было теперь уже нечем, а от рывка вперед она плотно засела в камнях. Время не терпело, рассвет приближался. Лодка рвалась назад, пока не разрядились аккумуляторы.

Но за это время воздух, гулявший внутри лодки, и вентиляция сделали свое дело. Краснофлотцы приходили в себя. Первыми очнулись те упорные подводники, которые потеряли сознание последними. За ними, один за другим, вставали остальные, и скоро во всех отсеках началось движение и забила жизнь. Мотористы стали к дизелям, электрики спустились в трюм к аккумуляторам, готовя их к зарядке. Держась за голову и шатаясь, прошел в центральный пост боцман. У колонки вертикального руля встал рулевой. Что-то зашипело на камбузе, и впервые за долгие часы подводники вспомнили, что, кроме необходимости дышать, человеку нужно еще и есть.

Среди этого множества людей, вернувших себе способность чувствовать, думать и действовать, совершенно затерялся тот, кто вернул им эту способность.

Сперва он что-то делал, помогал другим, но постепенно все больше и больше людей появлялось у механизмов, и он чувствовал, будто с него сваливается одна забота за другой. И когда наконец даже у трюмного поста появился краснофлотец (тот, кого он когда-то — казалось, так давно! — пытался разбудить) и официально, по уставу, попросил разрешения стать на вахту, старшина понял, что теперь можно поспать.

И он заснул у самых дизелей так крепко, что даже не слышал, как они загрохотали частыми взрывами. Лодка снова дала ход, на этот раз дизелями, и винты полными оборотами стащили ее с камней. Она развернулась и пошла к выходу из бухты. Дизеля стучали и гремели, но это не могло разбудить старшину. Когда же лодка повернула и ветер стал забивать через люк отработанные газы дизелей, старшина проснулся. Он потянул носом, выругался и, не в силах слышать запах, хоть в какой-нибудь мере напоминающий тот, который долгие шестнадцать часов валил его с ног, решительно вышел на мостик и попросил разрешения у командира остаться.

Тот узнал в темноте его голос и молча нашел его руку.

Долго, без слов, командир жал ее крепким пожатием, потом вдруг притянул старшину к себе и обнял. Они поцеловались мужским, строгим, клятвенным поцелуем, связывающим военных людей до смерти или победы.

И долго еще они стояли молча, слушая, как гудит и рокочет ожившая лодка, и подставляли лица свежему, вольному ветру. Черное море окружало лодку тьмой и вздыхающими волнами, оберегая ее от врагов.

Потом старшина смущенно сказал:

— Конечно, все хорошо получилось, товарищ капитан-лейтенант, только неприятность одна все же есть...

— Кончились неприятности, старшина,—сказал командир весело.— Кончились!

— Да уж не знаю,— ответил старшина и неловко протянул ему часы.— Часики ваши... Надо думать, не починить... Стоят...

1942

«2-У-2»

В коде дружеских позывных под этим наименованием числились в эскадрилье младшие сержанты Усков и Уткин. Прозвище это родилось под крылом самолета, в ожидании боевого вылета. Кто-то спросил:

— А вот еще загадка — как вернее говорить: «стрижка и брижка» или «стритье и бритье»?

— Старо! — закричали все.

— Тогда поновее: «Усков и Утков» или «Ускин и Уткин»?

— Проще: «два-У-два»,— густым басом сказал штурман эскадрильи, и всем это понравилось, даже самим сержантам.

До сих пор их звали «тиграми», что их сердило,— прозвище «тигры» имело свою историю, вспоминать которую они не любили. «Два-У-два» звучало несколько по-цирковому, но очень верно определяло их специальность, подчеркивало их неразрывную дружбу и не задевало самолюбия. Оба они были летчиками, настоящими боевыми летчиками, хотя каждому из них было неполных девятнадцать лет.

Девятнадцать лет... Удивительный возраст! Силы твои

еще незнакомы тебе самому, и ты уверен, что можешь совершить много, над чем человек постарше призадумается. Сердце еще горячо, как неостывшая сталь отливки, и силы вскипают, ища выхода в действии. И всё — наружу, всё — на воле: любовь, отвага, гнев, ненависть — все чувства видны в блистающих глазах и стремительных поступках.

До того как получить самолет, Павел Усков и Иннокентий Уткин два месяца томились в аэродромной команде, и два месяца подряд они ходили то к майору, то к военкому, говоря все одно и то же: оба пришли сюда добровольцами, до призыва, оба — комсомольцы, оба имеют диплом пилота, полученный в осоавиахимовском клубе, и за обоими уже по шесть самостоятельных вылетов. Следовательно, им надо немедленно дать по боевому самолету. И всякий раз военком терпеливо разъяснял им, что каждый должен воевать на своем посту, что «вывозить» их на боевом самолете сейчас не время и не место и что он с охотой пошлет их в школу. Майор же сухо и коротко отсылал их на аэродром и однажды, потеряв терпение, пообещал посадить их под арест за обращение к нему не по команде. Они вышли из землянки штаба строевым шагом, в ногу, молча. И только у самых мастерских Уткин мрачно сказал:

— Добились, пилот Усков... Люди воюют, а мы, того гляди, присядем.

— Вынужденная посадка,— бодро ответил тот.— Взлетим еще, пилот Уткин!

— Пожалуй, не взлетим, а вылетим: из эскадрильи в пехоту,— махнул рукой Уткин.

Однако, видимо несмотря на угрозу «вынужденной посадки», Ускову удалось поднять упавший дух друга, потому что, дав командованию недельку передышки, оба вновь предстали перед военкомом и майором. На этот раз они просили не два, а всего один самолет, и каждый из них просил его не для себя, а для друга. Это был тактический ход, придуманный Усковым, и оба сошлись на том, что ход этот гениален.

— Пилот Уткин, товарищ майор, в аэроклубе был отличником,— докладывал Усков.— У него в Симферополе мать и сестра остались... так что, понятно, драться он будет хорошо...

Уткин, наклонившись к военкому, между тем негромко говорил:

— Павка, то есть пилот Усков, товарищ батальонный комиссар, летает прямо классно... Два брата на фронте... танкисты... Мы хотели просто в окопы проситься, но какой же смысл? Усков один с воздуха больше набьет, верно же, товарищ батальонный комиссар? Это же простой расчет...

— Кого бы из нас вы ни выбрали, товарищ майор,— закончил Усков, выпрямляясь,— оба мы будем драться, не щадя жизни.

— Как тигры,— добавил Уткин.

— Какие тигры? — спросил майор сердито.

Уткин опешил:

— Обыкновенные, товарищ майор...

— А вы тигров в воздухе видали? Мелете, сами не знаете что...

Майору было не до юнцов с их просьбой. Утром со вторым звеном не вернулся Савельев, а Панкратов едва довел свой самолет, получив два ранения. Это было в дни первого натиска немцев на Севастополь, и самолеты эскадрильи день и ночь штурмовали на шоссе немецкие колонны, расстреливали врагов в окопах и возвращались на аэродром только за горючим и боеприпасами. Летчики вылетали на штурмовку по пять-шесть раз в день, сильно уставали, эскадрилья несла потери. Майор открыл уже рот, чтобы приказать не путаться тут под ногами, когда военком вдруг спросил Уткина:

— Так сколько у вас вылетов в клубе было?

— Шесть,— поспешно сказали оба враз.

— Шесть? — изумился военком.—Я думал, пять... Ну, коли шесть, ничего не поделаешь, придется подумать... Ну-ка, выйдите да обождите за дверью...

Он смотрел на них, хитро улыбаясь, и сердца комсомольцев дрогнули. Насмешка была очевидной. Они четко повернулись и вышли. Минут пять они стояли у землянки в страшном волнении, без слов, только вытирая со лба пот. Наконец их позвали.

— Дадим вам самолет, один на двоих,—сказал комиссар серьезно.—В очередь будете летать, понятно?

— Понятно,— ответили оба, не понимая, откуда привалило им счастье.

Но тотчас все стало ясно. Майор сказал, что он решил использовать для боевой службы учебный самолет «У-2», который был в эскадрилье для связи и полетов в тыл, как раз такой, на каком они учились в клубе. Им поручалось кидать по ночам на передний край немцев бомбы и гранаты. Военком подымется сейчас с каждым, проверит их летные качества, после чего им дадут минимальный срок на отработку ночных полетов и пошлют в боевой вылет.

— Только не деритесь вы там, как тигры,—хмуро закончил майор.— Тигр — животное трусливое. Он только голодный в атаку ходит, понятно?.. Сказали бы просто: будем драться, как комсомольцы, вот и было бы все ясно... Подумаешь — тигры!..

Друзья покраснели.

— Это они в газете вычитали,— пришел к ним на помощь военком.— Я и сам недавно где-то читал: «Наши крылатые соколы, как тигры, ринулись на фашистских гиен...» Прямо зоопарк, во как пишут!

Майор засмеялся — первый раз за день — и легонько подтолкнул военкома к двери:

— Ну, сажай своих тигров на самолет... Приду взглянуть...

Время было горячее, немцы окружали Севастополь, и дорог был каждый самолет, даже учебный. Мысль военкома понравилась майору, и он сам нашел время заняться с «тиграми» ночными полетами. Оба взялись за дело с удивившей его яростной страстностью, и скоро старенький учебный самолет, который в эскадрилье называли «телегой» или чаще «загробным рыданием», неторопливо пошел на свою первую ночную «штурмовку». Его вел Усков, а на пустом сиденье второго летчика стояла корзина с малыми бомбами, с гранатами, зажигалками и пачками листовок.

И каждую ночь «загробное рыдание» стало ныть мотором над передним краем немцев, методически, с большими промежутками, швыряя в окопы гранаты и бомбы. Это, конечно, никак нельзя было назвать «штурмовкой», как гордо именовали свои рейсы Уткин и Усков. Но, как известно, и одинокий комар может быть причиной бессонной ночи. И немцы не спали, тревожно прислушиваясь к гудению в темноте и время от времени по-

лучая на головы равномерно капающие с неба бомбы и связки гранат.

Оба «тигра» были теперь совершенно счастливы. На десятом боевом вылете им присвоили звание младших сержантов, и если бы не острое словечко, неизвестно как выпорхнувшее из землянки майора на простор аэродрома, все было бы отлично. Но это словечко — «тигры» — напоминало им о тех, казалось бы, далеких временах, когда оба они были желторотыми мальчишками.

Теперь они были взрослыми людьми, настоящими летчиками, делавшими суровое и серьезное дело длительной отваги, и романтическое представление о бое как о стремительном прыжке давно уже сменилось отчетливым пониманием, что война — это труд, постоянный, напряженный и опасный труд. Штурм захлебнулся, немцы закопались, не продвигаясь дальше, и каждую ночь, по очереди, один из друзей долгие часы гудел над немцами, дожидаясь неосторожно мелькнувшего в блиндаже огня, вспышки орудия, мерцающей очереди пулемета, чтобы кинуть туда с темной высоты небольшую, но злую бомбу.

Это была точная, снайперская ночная работа. Днем «загробное рыдание» появляться над фронтом не могло, его сбил бы первый же «мессершмитт». Но ночью старый учебный самолет, ведомый юношей с крепкими нервами и с горячим сердцем, полным ненависти, был хозяином темноты над немецкими окопами. Немцы, не смея открыть на переднем крае прожекторов, били по нему наугад, по звуку мотора, тратя огромное количество пуль и снарядов. Порой он попадался в эту светящуюся сеть и тогда привозил в крыльях дырки. Друзья латали их вместе, и ночью их самолет вновь швырял свои бомбы надоедливо и размеренно, доказывая, что в войне всякое оружие хорошо, если умно и смело его применять.

Но, несмотря на то что Усков и Уткин завоевали себе общее уважение, «тигры» продолжали красться за ними по пятам и предварять собой всякое появление двух друзей: летчики любят шутку, веселый розыгрыш, и не использовать столь выгодного прозвища было просто невозможно. На аэродроме, у самолета, в мастерской друзья кое-как это терпели. Но в столовой...

— Дуся, тигры пришли, голодные, как крылатые со-

колы! — возглашал кто-либо, завидев их в дверях.— Готовьте добавку, Дуся!

Это было хуже всего. Дуся была буфетчицей, комсомолкой — и необыкновенной, единственной, замечательной, умной, отзывчивой... впрочем, ни к чему перечислять: пусть каждый припомнит все те качества, какие он в свои девятнадцать лет видел в девушке, в которую был влюблен, но помножит все это на два. Ибо влюблены в нее были оба и в разговорах о ней между собой, естественно, находили вдвое больше определений. Поэтому, когда «тигры» наконец были сданы в архив и на аэродроме появилось новое прозвище, оба почувствовали необыкновенное облегчение: теперь и в глазах Дуси оба перестали быть мальчишками.

А это было очень важно. Дуся никак не хотела понять, что каждый из них давно (уже третий месяц!) видел, какой одинокой будет его дальнейшая жизнь, если Дуся не свяжет с его судьбой свою. Вопрос этот был глубоко прочувствован и решен каждым. Остановка была только за тем, с кем именно из системы «2-У-2» захочет она связать свою судьбу. Игра велась честно, без подсидки, оба провожали Дусю по очереди в свой «выходной день», и Дуся относилась и к тому и к другому одинаково дружески.

В этих прогулках получалось почему-то так, что каждый из друзей говорил не о себе, а об ушедшем на штурмовку друге, горячо расхваливая его. И Дуся, прислушиваясь к этому, очутилась перед железной необходимостью отдать свое сердце сразу всей системе «2-У-2» как неразрывному целому: выбора сделать не представлялось возможным. И может быть, бедное Дусино сердце не выдержало бы этого, если бы инстинкт самосохранения не подсказал ей спасительного выхода: Дуся влюбилась в третьего, и при этом — не в летчика, а в старшину второй статьи с крейсера, даже не очень часто заходившего в Севастополь. Таково девичье сердце в восемнадцать лет: дальнюю мечту оно предпочитает близкой реальности.

Первому узнать об этом привелось Павлу Ускову. Был тихий декабрьский вечер. Прозрачный и холодный воздух, странный для Крыма, был свеж, и Дусины щеки горели пленительным огнем. В первый раз Ускову захотелось говорить не об отваге и замечательных свойствах Кеши

Уткина, а о самом себе. Но за пропускным пунктом в сумерках показалась высокая фигура в бушлате, Дуся с легким вскриком кинулась к неизвестному краснофлотцу, и черные рукава бушлата, скрестившись на ее спине, почти закрыли всю Дусю в поле зрения ошеломленного сержанта.

Такая горячая встреча была вполне естественна, потому что крейсера не было больше двух недель и о нем поговаривали разное.

Усков кинулся на аэродром. Сумерки сгущались, но Уткин еще не взлетел. Однако Усков нашел в себе достаточно мужества, чтобы не испортить другу его боевой вылет, и на вопрос его, почему он так рано вернулся, сказал, что Дуся что-то устала и пристроилась на машину, идущую в город. Он проводил друга в воздух и остался ждать его на аэродроме.

Они провели бессонное утро во взаимных жалобах. К обеду оба уже удивлялись тому, что, собственно, они нашли в Дусе? Из обмена мнениями выяснилось с достаточной ясностью, что она всегда была девушкой бессердечной, пустой, лицемерной, жестокой, ничем не замечательной... впрочем, ни к чему перечислять: пусть каждый припомнит все те качества, какие он в свои девятнадцать лет обнаруживал в девушке, которая от него отвернулась, но помножит все это на четыре. Ибо оскорблены были двое, и каждый из них вдобавок был оскорблен за друга. Таково юношеское сердце в девятнадцать лет: с высот любви оно погружается в самые глубины презрения.

Но страдать было некогда: начался второй штурм Севастополя. Это не входило в планы друзей, потому что майор обещал как раз на этой неделе, пока в войне затишье, начать их тренировку на боевых самолетах. Теперь опять было не до того, и «2-У-2» продолжали по очереди вылетать на свои «штурмовки» переднего края, который они знали уже наизусть. И дружба, выдержавшая испытание любовью, крепла и закалялась в грозных испытаниях войны.

«2-У-2» стали символом неразрывной, верной, мужественной дружбы.

Кольцо осады сжималось, аэродром оказался у самого переднего края обороны, и эскадрилья перешла на новое место, к самому берегу моря.

Это был аэродром, построенный в дни осады руками севастопольских граждан. Под обстрелом тяжелой артиллерии врага севастопольцы давно уже расчищали на мысу, врезавшемся в море, каменное поле — последний приют для самолетов на случай, если враг придвинется к городу. Они растаскивали огромные глыбы. Они ровняли твердые пласты скалистого мыса. Они взваливали убранный с поля камень на бревенчатые срубы капониров — укрытий для самолетов.

И поле и камень были здесь странного — кровавого — цвета.

Когда эскадрилья садилась на аэродром, был ясный солнечный день. Тесное каменное поле нового аэродрома красным клином врезалось в яркую синеву зимнего моря, и красные каменные громады капониров высились на поле, подобные странным памятникам седой древности, похожие на первобытные храмы, сложенные руками великанов. Но сложили их не великаны; это сделали севастопольские мужчины и женщины, старики и подростки.

В чистом и прозрачном воздухе красный и синий цвета блистали всей ясностью тонов, и мужественное, строгое их различие было сурово, торжественно и напряженно. Ничто не унижало этой мужественной строгости картины, ни один невнятный, вялый полутон. Все было ясно и четко.

Тени были черны мрачной чернотой, напоминающей о грозной туче, нависшей над городом-воином. Камни были красны яркой алостью крови, как будто они впитали в себя благородную кровь его защитников. Море и небо синели пронзительной, освежающей душу, чистой, первозданной синевой, великим спокойствием простора, свободы и надежды. И солнце, вечное, бессмертное солнце сияло в небе, отражалось в море и освещало красный камень. Добродушное, горячее крымское солнце отдыха и здоровья было теперь строгим и холодным светилом мести.

Так виден был с воздуха этот удивительный аэродром, памятник, воздвигнутый севастопольцами самим себе,— памятник мужества и упорства советских людей, решившихся биться до конца за город доблести, верности и славы: траур, кровь, надежда и месть.

Едва эскадрилья села, над полем взвилась ракета.

В красных каменных ульях, раскиданных по нему, зажужжали потревоженные пчелы. Гудя, они высовывали из груды камней свои широкие серебряные головы, поблескивая стеклянными глазами и как бы озираясь. Потом они вытягивали все свое длинное крепкое тело, расправляя жесткие, сверкающие крылья, и с мстительным, злым гудением взвивались в синее небо. Бомбардировщики пошли на очередной бомбовый удар.

Друзья, первый раз летевшие вместе на своем «загробном рыдании», с завистью проводили их глазами и, вздохнув, повели своего «старичка» на край аэродрома. Укрытия для него не нашлось, и первое, чем занялись «2-У-2», была постройка капонира. Забота о своем самолете еще более сблизила их, но, как ни странно, именно здесь, на аэродроме славы, в тяжкие дни второго штурма, система «2-У-2» потерпела серьезную аварию.

Это была не ссора. Это был разрыв. И хуже всего было то, что это произошло на глазах большого начальника, прилетевшего из Москвы.

Генерал осматривал новый аэродром, обходя капониры. В эскадрилье майора он поинтересовался, где прославленное «загробное рыдание», слух о подвигах которого дошел и до него, и где эти «2-У-2», которых ставят в пример дружбы. Он наклонился к майору и сказал, что ребят пора представить к награде, и на нее не скупиться, и что им следует дать боевые самолеты.

В этом разговоре они дошли до укрытия. Здесь было тихо, гудение взлетающих самолетов доносилось едва слышно. И в этой тишине генерал услышал раздраженные голоса и брань.

— Ты подхалим, понимаешь? Подхалим и пролаза, понятно? — кричал один голос.—За такое дело тебе ряшку на сторону своротить не жалко, понятно?

— А ты завистливый дурак, понятно? — перекрикивал второй голос.— Подумаешь, крылатый тигр!.. Задаешься, а не с чего! Что я тебе — докладывать должен? Я летчик, меня и послали...

— Ты летчик? Ты черпало, а не летчик, вот ты кто!

— А из тебя и черпалы не выйдет! Тебе и на подхвате стоять ладно!

Генерал быстро зашел за угол капонира и во всей красе увидел знаменитую систему «2-У-2».

Система явно сломалась. Сержанты стояли красные, злые, смотря друг на друга бешеными глазами, сжимая кулаки. И драка, вероятно, состоялась бы, если бы майор (едва удержавшись, чтобы не схватиться в отчаянии за голову) не окликнул их по фамилиям. Они повернулись, тяжело дыша, с трудом скрывая ярость, и стали «смирно».

— Это и есть «два-У-два»? — спросил генерал, пряча улыбку.— Ничего себе дружба у вас в эскадрилье. А звону развели... До самой Москвы... Это петухи какие-то, а не летчики...

Все молчали, и только тяжело дышали оба «петуха».

— Объяснить можете, товарищ майор? Нет?.. Тогда вы, сержанты. В чем дело?

Вперед выступил Уткин, и, когда он, волнуясь, заговорил, майор с изумлением увидел перед собой не сержанта, отважного и спокойного летчика, а обыкновенного мальчишку-школьника, чем-то изобиженного до слез. Слезы и вправду стояли в его глазах. Он путанно рассказал, что в прошлую ночь была его очередь лететь на бомбежку, но Усков «забежал» к майору, наговорил тому, что нашел минометную батарею и что нынче лучше лететь ему, потому что рассказать, где она, трудно и Уткин ее не найдет,— словом, Усков полетел вчера не в очередь... Уткин стерпел, одна ночь не в счет. Но сегодня-то уж его очередь лететь! А Усков опять нахально говорит, что полетит снова он, потому что он, мол, не виноват, что его послали вместо Уткина... И вообще Усков подхалимничает перед командованием, выпрашивает себе поручения, и это не по-товарищески, не по-комсомольски, это...

— Довольно,— сказал генерал хмуро.— Что ж, товарищ майор, раз они самолет поделить не могут, снимите их с полетов совсем. Война идет, а они склоками занимаются...

Лица обоих вытянулись, и Уткин сделал еще шаг вперед.

— Это же не склока, товарищ генерал-майор,— сказал он в отчаянии.— Разрешите доложить.

— Ну, докладывайте,— по-прежнему хмуро сказал генерал.

Но это не был доклад. Это был страстный крик горячего юношеского сердца. Кипящее отвагой и стремлением в бой, полное ненависти к врагу, сжигаемое жаждой ме-

сти и уязвленное обидой, оно раскрылось перед командирами во всей своей пленительной, трогательной, несколько смешной, но покоряющей красоте. Оно было еще горячо, как неостывшая сталь отливки, силы в нем бурлили, ища выхода в действии, и все в нем было наружу, все на воле — отвага, гнев, обида и страсть... Девятнадцать лет! Удивительный возраст...

Генерал слушал его прерывистую речь, смотрел в его глаза, в которых читал больше, чем мог рассказать это Уткин, и всепобеждающая, огромная сила юности, в гневе схватившейся за оружие и не желающей уступать его никому, всколыхнула и его сердце. Он поймал себя на том, что хочет тут же обнять этого юношу, как сына, и негромко, в самое ухо сказать: «Хорошо, сынок, хорошо... Зубами держись за каждую возможность уйти в бой, никому не уступай права бить врага, никому... Сам бей, пока молодо сердце, пока руки крепки... Хорошо, сынок, хорошо!»

Но он опустил глаза, в которых Уткин, казалось, уже видел сочувствие и понимание, и сухо сказал:

— Понятно. А в драку младшим командирам лезть не годится.

Он помолчал и вдруг закончил:

— А теперь помиритесь. При мне.

«2-У-2» мрачно посмотрели друг на друга. Потом Усков, поколебавшись, первый протянул руку. Уткин, помедлив, взял ее. Но лица обоих были такие кислые, что командиры невольно отвернулись, чтобы скрыть улыбку, а генерал махнул рукой:

— Петухи!.. Ну что ж... Самолет мы у вас отнимем. Подумайте на досуге. Может, помиритесь...

И самолет у них, точно, отняли. Правда, вместо него каждый из них получил по штурмовику, а оба вместе — новое прозвище «петухи». Оно было вернее, ибо система «2-У-2» уже оказалась ненужной: каждый летал на своем самолете, рядом с другим, в одном звене.

Но все же, однако, «2-У-2» еще раз прозвучало на каменном аэродроме. Это случилось весной. На фронте опять было затишье, но «петухи» исправно вылетали всякий день на штурмовку немецких окопов — теперь уже днем, при солнце, поливая врагов из пушек и пулеметов. Из одной такой штурмовки Уткин не вернулся.



Усков, поколебавшись, первый протянул руку.

Усков доложил майору, что Уткина, очевидно, подбили снарядом, потому что он задымил и резко пошел к морю. Пойти за ним было нельзя — надо было еще поддерживать нашу контратаку. Удалось заметить, что он тянул к той косе, что слева за высотой 113,5 и где немцев нет. Если послать туда самолет, есть шанс поднять его раньше, чем туда доберутся немцы, которые, несомненно, кинутся за самолетом.

Усков доложил еще, что косу эту он знает. На ней нельзя сесть ни штурмовику, ни истребителю — мала площадка. Он попросил разрешения слетать за Уткиным на «У-2», которому места там хватит и для посадки, и для взлета. Майор разрешил.

И снова старый самолет почувствовал руку одного из своих прежних хозяев. Он послушно повернул к морю — Усков решил идти низко над водой, чтобы не быть замеченным истребителями. Над морем мотор начал фыркать, чего он никогда себе раньше не позволял, когда был в их руках и когда знал настоящий уход и заботу.

Скоро показалась коса. Самолета на ней не было, не было видно и людей.

Усков сел и остановил мотор, чтобы не привлечь немцев шумом, и прислушался. Сумерки сгущались, каменные скалы нависали над косой таинственно и мрачно.

Он негромко крикнул:

— Кеша! Живой?

И тогда из расщелины скалы вылез Уткин, в мокрой одежде, таща за собой резиновую камеру от колеса.

— Павка? — сказал он.— Я и то подумал: какой чудак тут на телеге садится? Спасибо.

— Потом спасибо скажешь, крутани винт, а то застукают,— торопливо сказал Усков.

— Никого тут нет. Были бы, убили бы. А я, видишь, живой. Только мокрый. Я, понимаешь, самолет в воду грохнул, чтоб не доставался.

Он повернул винт, но мотор не заводился.

Добрый час оба летчика бились с мотором, вспоминая его капризы. Но старый самолет, когда-то не знавший отказа, видимо, в чужих руках одряхлел. Мотор так и не заводился.

Они присели на берегу. Было почти темно. Уткин сказал:

— Значит, Павка, все одно придется вплавь.

— Далековато, пожалуй,— сказал Усков.— И вода холодная.

— В море подберут. И у меня камера есть.

— Нырял?

— Ага. Вспомнил, что запасная в кабинке была... На камере-то доплывем?

— Пожалуй, доплывем,— сказал Усков.— Ну, так поплыли!

Они надули камеру и вошли в воду. Вода была нестерпимо холодная, а раньше утра их вряд ли могли подобрать. Они плыли больше получаса, потом Усков выругался:

— Кеша, что же мы «загробное рыдание» не сожгли? Починят немцы. Что ни говори, машина боевая...

Уткин выругался тоже.

— Поплыли обратно,— сказал он.— До рассвета далеко, успеем отплыть еще.

И они повернули к берегу. Едва они вышли из воды, их сразу охватил озноб.

— Согреемся, как загорится, и поплывем,— сказал Уткин и собрался открыть бензокран.

Но Усков его остановил:

— Крутанем еще на счастье?

Уткин повернул винт, и по четвертому разу мотор загудел. Уткин быстро вскочил в кабину и крикнул в самое ухо Ускова:

— Да здравствует «два-У-два»!

— Долой «петухов»! — ответил Усков и дал полный газ.

«Загробное рыдание» затарахтело в темноте и покатилось к морю, но, чутьем угадав воду, Усков поднял в воздух старый самолет, свидетеля боевой славы, мальчишеской ссоры и новой — взрослой, крепкой, воинской дружбы двух морских летчиков, каждому из которых было девятнадцать лет.

Девятнадцать лет! Удивительный возраст...

1942

ОДНО ЖЕЛАНИЕ

I

Под Одессой у моряков, сошедших с кораблей на берег для смертного боя, я встретил восьмилетнего мальчика с синими глазами. Ясные и открытые, они смотрели на мир со всей чистотой младенчества — любопытно и жадно. Он был сыном морского полка. Его подобрали в той деревне, откуда недавно выгнал фашистов короткий и страшный матросский удар. Ему справили ладный бушлатик, подогнали бескозырку и дали трофейный кинжал. Он совался не в свои дела, шалил, бегал, подбирал гранаты и патроны — настоящий ребенок своего возраста.

Но порой он садился у орудия, охватывал колени и замирал. И синие его глаза останавливались, и смертный взрослый ужас стоял в них неподвижно и холодно. Так холодно, что в первый раз, когда я это увидел, дрожь пробежала у меня по спине. Тогда капитан тотчас подходил к нему и, нежно приподымая, прижимал его к себе. Мальчик всхлипывал и рыдал, и скоро детские слезы вымывали из синих глаз ужас.

Эти синие глаза видели, как люди в чужой форме привязали его отца, председателя колхоза, к двум танкам и разорвали пополам.

II

Горе стоит над миром. Огромное человеческое горе тяжкой пеленой обволакивает земной шар. Он в огне. Жадное пламя войны перебрасывает языки через океаны, лижет материки и острова, пылает на экваторе и бушует у полюса.

Горе стоит над миром. Пылающий, стонущий, перемазанный кровью и облитый слезами старый земной шар вкатывается в Новый год. Миллионы раз начинала Земля свой очередной оборот вокруг Солнца. Но с тех пор когда люди стали вести счет этим оборотам, назвав их годами, никогда еще не несла на себе Земля столько человеческого горя.

Были мировые катаклизмы. Сползали с гор ледниковые поля, раздавливая целые племена. Проваливались в

океаны материки, унося с собой целые народы. Но сама слепая стихия не причиняла человечеству столько страданий, сколько рождено их сейчас злой волей людей, стремящихся к мировому господству.

В день Нового года первым моим словом было проклятие. Проклятие тем, кто поджег земной шар, кто подготовил и начал эту войну, кто вселил ужас в синие детские глаза.

Если бы я мог собрать в один образ, в одно слово все человеческое горе, порожденное фашизмом, все стоны и вопли, все жалобы на сотне языков, все слезы, страдания и молчаливые безумные взгляды, все последние короткие вздохи предсмертья, всю горечь расставания с жизнью, весь ужас потери близкого человека, все разрушенные фашизмом мечты — от большого замысла ученого до обыкновенной человеческой тоски по любимым губам, по родному теплу, все уничтоженные войной плоды человеческого труда — от огромного Днепрогэса до наивной авиамодели, сделанной детскими руками и раздавленной сапогом фашистского солдата, если бы собрать все страшные уходы с родных полей, от хат, заводов, городов, все поруганные девичьи тела, разбитые головы младенцев, седые бороды, залитые кровью, и показать тем, кто облек земной шар в этот кровавый и слезный туман...

Но к чему?

Зверь и тот сошел бы от этого с ума. Эти люди не сойдут. Им не с чего сходить. В них нет ни человеческого ума, ни сердца. Сталь топора не чувствует, что она крушит живую ткань и обрывает человеческую жизнь.

Машина, сошедшая с ума, не была бы страшнее этих людей: у нее было бы меньше выдумки. Она бы просто убивала.

Оставим проклятия. Они бесполезны.

III

Группа больших советских военачальников пробиралась к осаждаемому фашистами городу. Рельсы оказались взорванными авиабомбой. Пришлось идти три километра, чтобы за мостом найти другой паровоз. Железнодорожная бригада отдала генералам свои пальто

и кепки. «Так будет получше,— сказали они,— того и гляди, из-за леса выскочит штурмовик, увидит форму...»

На мосту стоял часовой — обыкновенный русский старик с седой бородой, с нависшими лохматыми бровями. Винтовку он держал на ремне, словно собравшись на охоту. Разводящий, тоже партизан, в ватнике и в картузе, дал ему знак — пропустить. Старик молча сделал шаг влево. Старший из военачальников, проходя, обратился к нему:

— Мост охраняешь, дед?

Старик покосился на него.

— Стою.

— Как у вас тут фашисты — нагадили здорово?

— Порядочно.

— Что ж, дед, придется тряхнуть стариной, наказать их, как бывало, а?

Старик обвел всех взглядом. Узнал ли он под кепкой машиниста живые и веселые глаза нестареющего воина, которого знала вся страна,—понять было нельзя. Ничего не изменилось ни в его тоне, ни в позе, когда он ответил:

— Нет. Изничтожить придется.

И, опять помолчав, добавил:

— Раздать нам каждому по одному. Лют на них народ.

И он отступил еще шаг, открывая дорогу и давая понять, что высказался полностью.

IV

Кто хоть краем глаза видел сгоревшие города, взорванные заводы, гибнущие поля и виноградники, кому встречались на шоссе молчаливые волны беженцев, кто видел опозоренных тринадцатилетних девочек и повешенных стариков, кому хоть раз доводилось привозить известие о гибели сына, мужа, брата, кто опускал в могилу боевого товарища — смелого, веселого красавца, которому жить бы да жить, любить да трудиться,— тот всем сердцем поймет слова старика.

Синие детские глаза, расширенные ужасом, стоят передо мною, когда я подвожу итог кончившемуся году и думаю о том, что́ важнее всего пожелать на Новый год.

Было время — в этот новогодний вечер у миллионов

людей были миллионы пожеланий. Каждый искал свою заветную мечту, тайное желание, самое дорогое устремление. Нынче человеческие судьбы слились в одно. Одно горе, одна беда. И одна причина.

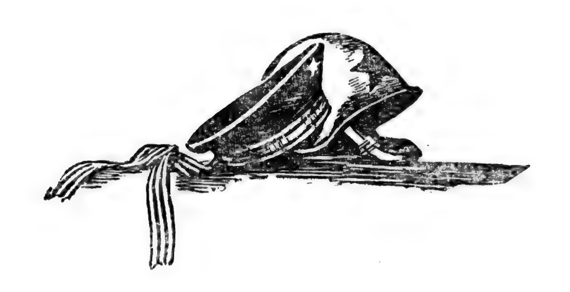
И одна ненависть. И одно желание: разгром врага.

Разгром фашистских полчищ — это облегченный вздох человечества. Это миллионы сохраненных жизней. Это конец кошмара, которым долгие годы мучается земной шар, не в силах проснуться.

Разгром врага — это соединение семей, это улыбки детей, свободный труд, восстановление ценностей, нужных человеку для жизни. Это свет, воздух, вода, счастье, это жизнь!

Не вернуть нам погибших братьев наших, отцов, сынов и мужей, отдавших жизнь в боях за родину, за свободу советских народов. Но если что-нибудь может смягчить тяжкое горе — это только разгром врага, с которым они бились: значит, недаром пролили они драгоценную для нас кровь — она смывает с земного шара ползучую паршу фашизма и очищает мир для новых поколений свободных людей.

31 декабря 1941 г.



Вс. Сурганов

ПУТЬ К ОКЕАНУ

(О книгах и героях Леонида Соболева)

Ровно в полдень грохает здесь сигнальная пушка. Словно гулкий огромный мяч прокатывается над гаванью, застревает в густой листве прибрежного парка. И когда стихнет его раскат, еще слышнее становится мерный плеск зеленоватой балтийской волны. День и ночь стучится она в стальные борта боевых кораблей, в мокрый гранит причалов. День и ночь, откинув голову, зорко вглядывается в туманный горизонт за фортами бронзовый Петр — основатель этой славной морской крепости и бессменный ее часовой. Название крепости — грозное и гордое — знает вся наша страна, весь мир. Со страхом и злобой произносят его враги, а друзья — с любовным уважением: К р о н ш т а д т!..

Но, конечно, ближе всего и дороже эта гавань, форты, город тем, кто с детства мечтает о море и верен ему на всю жизнь.

Сюда возвращались с победой петровские красавцы фрегаты — в громе и дыме орудийного салюта, в изодранных вражьими ядрами, продымленных парусах.

Отсюда уходили в безмерные дали отважные капитаны — открыватели, исследователи неведомых архипелагов, проливов, материков.

Отсюда, по условленному сигналу из Смольного, вышел на ленинский зов крейсер «Аврора», а следом за ним устремились к восставшему Питеру миноносцы с балтийским десантом на помощь рабочей Красной гвардии, штурмующей Зимний дворец. Холодным и ветреным был тот памятный октябрьский вечер, и волны казались чернее матросских бушлатов...

А в марте восемнадцатого года на Финском заливе и вовсе не было никаких волн. Тяжелый лед сковал море. Деревья в Петров-

ском парке звенели обледенелыми ветвями на резком ветру. Корабли, стоявшие в гавани, наглухо вмерзли в лед. Раньше об эту пору никто и не подумал бы разводить пары, поднимать якоря — какое уж тут плавание!.. Но теперь балтийцы тревожно толпились на берегу, следя, как ворочается в гавани, дробя льдины, тяжелая туша ледокола, как растут на горизонте дымы подходящей эскадры. Из Гельсингфорса, захваченного войсками германского кайзера и белофиннами, уходили в Кронштадт по приказу Ленина линкоры, эсминцы, крейсера, подлодки. Вершился легендарный Ледовый поход Балтийского флота — один из самых первых подвигов его в борьбе за Советскую власть. Трудно было, спасая корабли от врага, вести их через черные разводья, через узкий канал, пробитый ледоколом «Ермак». Зеленые острые глыбины царапали и давили борта, сминали винты... Но корабли прорывались в Кронштадт один за другим.

Последним втянулся в гавань искалеченный еще в осенних боях эсминец «Орфей» — весь в белых сосульках, в ледяных потеках. И когда его корма приткнулась к заиндевелой стенке, когда застучали, заскользили по трапу матросские башмаки, вместе с товарищами вступил на промерзший кронштадтский гранит двадцатилетний командир. Был он высокого роста, и глаза у него были веселые и смелые. И больше всего на свете он любил море и корабли.

Он мечтал о дальних плаваниях еще мальчишкой, когда рос на берегах холодной и быстрой реки Ангары, в древнем сибирском городе Иркутске. Тогда не было еще на Ангаре Братской ГЭС и не садились у городской окраины огромные самолеты, которые могут сейчас домчаться за несколько часов до любого моря или океана. В те годы вообще не придумали еще никаких самолетов!

Но у мальчика были другие чудесные крылья — серебристые, словно таежный туман, словно паруса кораблей, крылья его мечты. На этих крыльях, вслед за героями любимых книг о путешествиях, он уносился в удивительные страны, открывал новые земли и затаив дыхание смотрел, как вспыхивает над океанским простором редчайшее в мире чудо — зеленый луч. Он жадно читал письма, которые присылал ему с Балтики старший брат Александр, кончавший морское училище. И, как только стало возможным, он ринулся через всю страну на запад, туда, где плескалась у гранитных причалов Кронштадта, у мшистых валунов и песчаных дюн зеленоватая балтийская волна...

Однако время шло трудное, грозовое. Не в дальние мирные плавания уходили в те дни наши моряки, а на битвы с врагами Революции. И не волшебный зеленый луч вставал им навстречу

из-за горизонта, а военные прожекторы интервентов. И гремели над Финским заливом, над берегами Кронштадта разрывы снарядов, бомб и торпед.

И все-таки молодой командир не жаловался на свою судьбу. Наоборот — он гордился тем, что ему выпала завидная доля сражаться плечом к плечу со славными балтийцами — чернобушлатной гвардией Октября. Второй родиной стал для него Кронштадт — крепость флота и Революции, удивительный город-корабль, на котором прошел он через огненные штормы гражданской войны. Отсюда, из Кронштадта, он, первый штурман, вывел на крутую балтийскую волну учебное судно «Океан» — в первое мирное плавание к чужим берегам. Здесь он работал на тральщиках — маленьких отважных суденышках, очищавших пути кораблей от смертельно опасных мин. Он служил на миноносцах и пограничных катерах, прокладывал курсы могучего линейного корабля «Октябрьская революция». И здесь же, в Кронштадте, он стал писателем.

Он стал писателем, потому что должен был рассказать людям о подвигах своих товарищей, о том, как поднялся русский флот на революционную борьбу, как сражался он за свободу и счастье трудового народа. Об этом надо было знать всем, и прежде всего новому поколению моряков, которые приняли боевую вахту от старших братьев. Так появился роман «Капитальный ремонт» — веселая и гневная книга, в которой дышит ветер моря и революции и которую вам, ребята, еще предстоит прочитать. Она получилась такой интересной и яркой, что сразу разошлась по стране, перебросилась за ее пределы — во Францию, Польшу, Финляндию, Америку, Англию. И тогда, конечно же, все узнали имя ее автора — Леонида Сергеевича Соболева. И стали с тех пор с нетерпением ждать каждый новый его рассказ. А он по-прежнему больше всего писал о моряках.

Правда, ему по душе было не одно только море. Он начал много ездить и по сухопутным нашим краям, где развертывалась в те годы великая стройка, гремело трудовое эхо первых пятилеток. Особенно подружился Соболев с Казахстаном: с его смуглыми чабанами, пасущими овечьи отары, с рудокопами, добывающими в горах драгоценную свинцовую руду, с народными певцами-акынами, с молодыми казахскими писателями, с пионерами и пограничниками. Бескрайние степи Казахстана были похожи на морской простор. Здесь так же привольно дышалось и думалось, такие же огромные, во все небо, пылали закаты. И совсем не случайно, многие годы спустя, работая над повестью «Зеленый луч», Леонид Соболев поселил здесь своего юного героя мальчика Алешу — будущего командира-моряка.

Но точно так же, как и Алеша из своего детства, вновь и вновь вырывался писатель к соленой и синей морской волне. Он дружил с балтийцами и черноморскими моряками, уходил на подлодке в глубины, поднимался в небо на гидросамолетах, рассказывал молодым матросам и командирам о гражданской войне, о том, как строился Красный Флот в первые мирные годы, после того, когда прогнали беляков и интервентов. Как и все моряки, он всегда любил посмеяться от души, и потому его рассказы чаще всего получались веселыми — о разных невероятных и смешных случаях из флотской жизни. Однако мало кто замечал, что, шутя и смеясь, писатель умело учит молодых моряков отваге, верности и любви к кораблю, учит настоящей флотской дружбе и подвигу. И его смех — самое настоящее оружие.

Это стало гораздо понятней, когда началась война — сперва с белофиннами, потом с фашистами.

Леонид Соболев участвовал и в той и в другой войне. Он стал военным корреспондентом. Когда шли сражения с белофиннами, он находился на кораблях и в морской пехоте. Особенно полюбились ему подводники, летчики и балтийцы-лыжники — дерзкий, удалой, отчаянный народ. Великую Отечественную войну писатель тоже встретил на берегах Балтийского моря. Но потом командование направило его в осажденную фашистами Одессу.

Был ранний сентябрьский рассвет, когда впереди показались далекие одесские берега, послышался гул канонады. Вспомогательный крейсер «Микоян», на котором шел Соболев, приготовился к артиллерийской дуэли — нужно было во что бы то ни стало подавить тяжелые фашистские батареи, которые стреляли по городу. И вот уже развернулись тяжелые орудийные стволы, и корабль лег на боевой курс, и наблюдатель, засевший на берегу, передал по радио первые данные. Ударил залп, другой, третий...

Соболев на ходовом мостике быстро заполняет страницы записной книжки — ведет «стенограмму» боя. Вот заклубился на берегу черный дым — значит, наши снаряды ложатся точно. Вот начали вздыматься вокруг, то там, то здесь, белые столбы воды и пены — ага, противник огрызается, мы начали его донимать! А вот из-под солнца вынырнули два вражеских самолета-торпедоносца, пошли в атаку на корабль. Затрещали, захлопали корабельные зенитки — самолеты отвернули в сторону, торпеды тяжело плюхнулись в воду и пронеслись мимо крейсера... А на помощь уже поспевают наши «ястребки» — стремительный и яростный воздушный бой, завязавшись над кораблем, скоро удаляется, исчезает вдалеке. А пушки все бьют и бьют...

Так началась для Соболева Одесса — боем и мужеством. И так продолжалась на берегу, на улицах, вдоль которых то и дело попадались разрушенные дома, на позициях береговых батарей, на аэродромах, в траншеях Первого морского полка, на позициях моряков-десантников, которые дерзким и точным ударом отбросили врага от города. Здесь, в Одессе, а позднее на оборонительных рубежах Севастополя и нашел писатель новых своих героев, о которых поведал в книге «Морская душа».

Среди разведчиков-моряков, которые наводили ужас на фашистов, сражалась за Одессу молоденькая девушка — Аннушка Макушева. Она не однажды пробиралась вместе с товарищами во вражеский тыл, ползком, через камыши, с финкой в зубах, с гранатами на поясе. Она не знала усталости и страха и ни за что не хотела отстать от своих друзей. А друзья берегли ее и незаметно помогали в трудный час, да и врагу не давали в обиду. О подвигах этой юной разведчицы, о святом законе боевой дружбы говорится в рассказе Соболева «Разведчик Татьян». Писатель познакомился с Аннушкой и ее товарищами в те же сентябрьские дни сорок первого года, и они потом сразу узнали себя в людях, которых он изобразил, хотя имена здесь они получили другие. А героев рассказов «Батальон четверых» и «Поединок» — Негребу, Котикова, Перепелицу, Леонтьева, Королева — Соболев вообще не стал переименовывать. И о том, как высаживался их «воздушно-морской» десант, как бились моряки, сперва поодиночке, а потом локоть к локтю, он рассказал, почти ничего не меняя, прямо с их слов.

Самое интересное и дорогое, что отважные эти люди здравствуют и поныне. Анна Ивановна Макушева работает в одном из почтовых отделений Одессы, которую так отважно она защищала когда-то. Так же храбро потом сражалась она за Севастополь, была тяжело ранена, попала к фашистам в плен, вынесла много страшных испытаний, но не сломилась. Сейчас на ее груди — орден Ленина, о ней написана и поставлена пьеса. Ее хорошо знают и любят одесситы, особенно детвора, потому что Анну Ивановну очень часто приглашают в школы, чтобы она рассказала ребятам о том, как была разведчицей, о своих товарищах-моряках.

С таким же интересом и увлечением слушают школьники шахтерского города Червонограда, Львовской области, своего старшего земляка Михаила Макаровича Негребу. Михаил Макарович сейчас старший диспетчер на шахте. Это очень ответственная и нелегкая работа: словно дирижер оркестром, управляет он через пульт связи десятками людей, машин, вагонеток, подъемников, неостановимым движением черного и сырого угольного потока, который ползет по

лентам конвейеров, катится по рельсам, поднимается на поверхность. А до этого Негреба руководил участком проходки. Шахтеры-проходчики — те же самые разведчики. Они первыми врубаются в неподатливую породу, что лежит под землей на километр и глубже. Они должны проложить путь к угольным пластам, пробить под землей коридоры-штреки, подземные залы для установки машин, для отдыха людей. Им, проходчикам, раньше всех приходится встречаться с тайными и грозными опасностями подземного царства — их подстерегают обвалы, подземные реки, гремучий взрывчатый газ...

Но когда впереди бригады, направляя ее труд, шел Михаил Негреба, шахтеры — вообще отважный народ! — чувствовали себя особенно уверенно. И не только потому, что знали Михаила Макаровича как опытного горного мастера. Они знали еще, что их ведет командир «батальона четверых», который до конца оборонял Одессу и Севастополь и прошел, как говорит в этих случаях народ, огонь, воду и медные трубы. Нельзя сосчитать, сколько раз смотрел Негреба прямо в самое лицо смерти. Но такая воля собрана в этом человеке, подобно стальной пружине, такая светится в нем любовь к жизни, такое веселье и удаль, упрямство и озорство, такая преданность Родине, что смерть всегда и везде отступала перед морскою его душой!..

Вот каких героев умел найти среди многих Леонид Соболев. Вот о каких людях, о каких живых, невыдуманных судьбах написал он свои замечательные военно-морские рассказы! И конечно же, это удалось ему сделать потому, что и сам он сродни своим героям и характером и судьбой. И еще потому, что работал он над этими рассказами чаще всего там же, на фронте, под грохот обстрелов и бомбежек. А как только заканчивал очередную вещь, сразу же нес ее на суд фронтовиков — читал не раз и не два солдатам, матросам, летчикам, разведчикам, снайперам. Та же Аннушка Макушева была одной из самых первых читательниц рассказа «Разведчик Татьян». «Ой, если б я такая была!» — вздохнула она, возвращая Соболеву рукопись.

Но тут Аннушка по своей скромности была неправа — писатель угадал ее характер очень точно, и лучшей порукой тому — дальнейшая история ее тягот и подвигов. И рассказ о разведчице и ее друзьях, как и другие рассказы «Морской души», согревая бойцов своей задушевностью, делали их богаче и сильнее, умножали в их сердцах ненависть и любовь. Эти рассказы всегда читались нарасхват — они были нужны как боеприпас, потому что помогали громить врага.

А Соболев тем временем продолжал свой путь по фронтовым дорогам. То видели его рядом с собою моряки-минометчики, наступавшие через зимнее Подмосковье с дивизионами прославленных «катюш», то принимали у себя бойцы, сражавшиеся за Новороссийск. Кстати, именно там, на подступах к Новороссийску, подружился писатель с экипажами сторожевых катеров, которыми командовал капитан-лейтенант Николай Иванович Сипягин. Беседуя с ним, слушая рассказы катерников, наблюдая за боевой их работой, Соболев задумал и начал писать весной тысяча девятьсот сорок третьего года свою повесть «Зеленый луч» — о молодом командире и его замечательных товарищах, о том, как в сомнениях, поисках и борьбе осуществляет человек свою мечту о долге и счастье. Писатель щедро поделился со своим молодым героем Алешей Решетниковым собственными мыслями и переживаниями. Остальное Алеша — характер вымышленный, рожденный писательским воображением — получил от моряков-сипягинцев, от суровой правды военного моря. Вот почему так захватывает нас история его возмужания, история рождения боевого командира. Вот почему так близка нам его мечта о зеленом луче...

Писатель встретил победу на улицах поверженного Берлина, в коридорах гитлеровского рейхстага. Но конец войны еще не означал для него конца странствий. Даже наоборот — как раз теперь, когда отгремели бои и открылись мирные дали, Соболев смог наконец осуществить свой давний, еще детский порыв — вдаль, вперед, в океан!.. Он проехал на автомашине с севера на юг всю послевоенную Европу. Он пересек на самолете Атлантический океан, чтобы посетить Бразилию и Боливию. Он побывал на Цейлоне и в Японии. А летом 1968 года, когда ему исполнилось семьдесят лет, Леонид Сергеевич сделал себе настоящий «соболевский» подарок — на одном из наших грузовых транспортов, везущих продовольствие сражающемуся Вьетнаму, он прошел из Владивостока в Хайфон и обратно. Об огромной нашей стране не приходится и говорить — наверное, нет такого края, такого уголка, куда бы не залетел, не заплыл, не заехал писатель-моряк. И все это не просто туристские поездки — Леониду Сергеевичу Соболеву, члену Президиума Верховного Совета СССР, везде находится много работы — его помощь, совет, поддержка, огромный опыт очень нужны людям. Но, конечно, больше всего нужны им и всегда будут нужны его замечательные книги. Тем, кто подобно Соболеву прошел трудные и славные годы строительства и борьбы, они напоминают о подвигах во имя Родины, будят в сердцах бодрость и силу. Тем, кто лишь вступает в жизнь, они раскрывают секреты мужества и стойкости, учат верить в себя

и в свою большую мечту. А самому писателю, поседевшему в боях, как всегда, важно видеть труд и жизнь, важно участвовать в великой созидательной работе нашего народа, в борьбе за мир и счастье. Так жадно мечтает он по-прежнему повстречать зеленый луч, такая живет в нем и его книгах горячая, неугомонная, молодая, воистину морская душа.

СОДЕРЖАНИЕ

Для старшего возраста

Соболев Леонид Сергеевич

ЗЕЛЕНЫЙ ЛУЧ ⊙ МОРСКАЯ ДУША

Ответственный редактор *Г. В. Быстрова*. Художеств. редактор *А. В. Пацина*. Технич. редактор *С. Г. Маркович*. Корректоры *Л. И. Дмитрюк* и *Э. Н. Сизова*.

Сдано в набор 6/VII 1970 г. Подписано к печати 14/IX 1970 г. Формат 84×108 1/32. Печ. л. 12,5. Усл. печ. л. 21. (Уч.-изд. л. 20,94). Тираж 100 000 экз. ТП 1970 № 344. А10326. Цена 86 коп. на бум. № 1. Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Детская литература» Комитета по печати при Совете Министров РСФСР. Москва, Центр, М. Черкасский пер., 1.

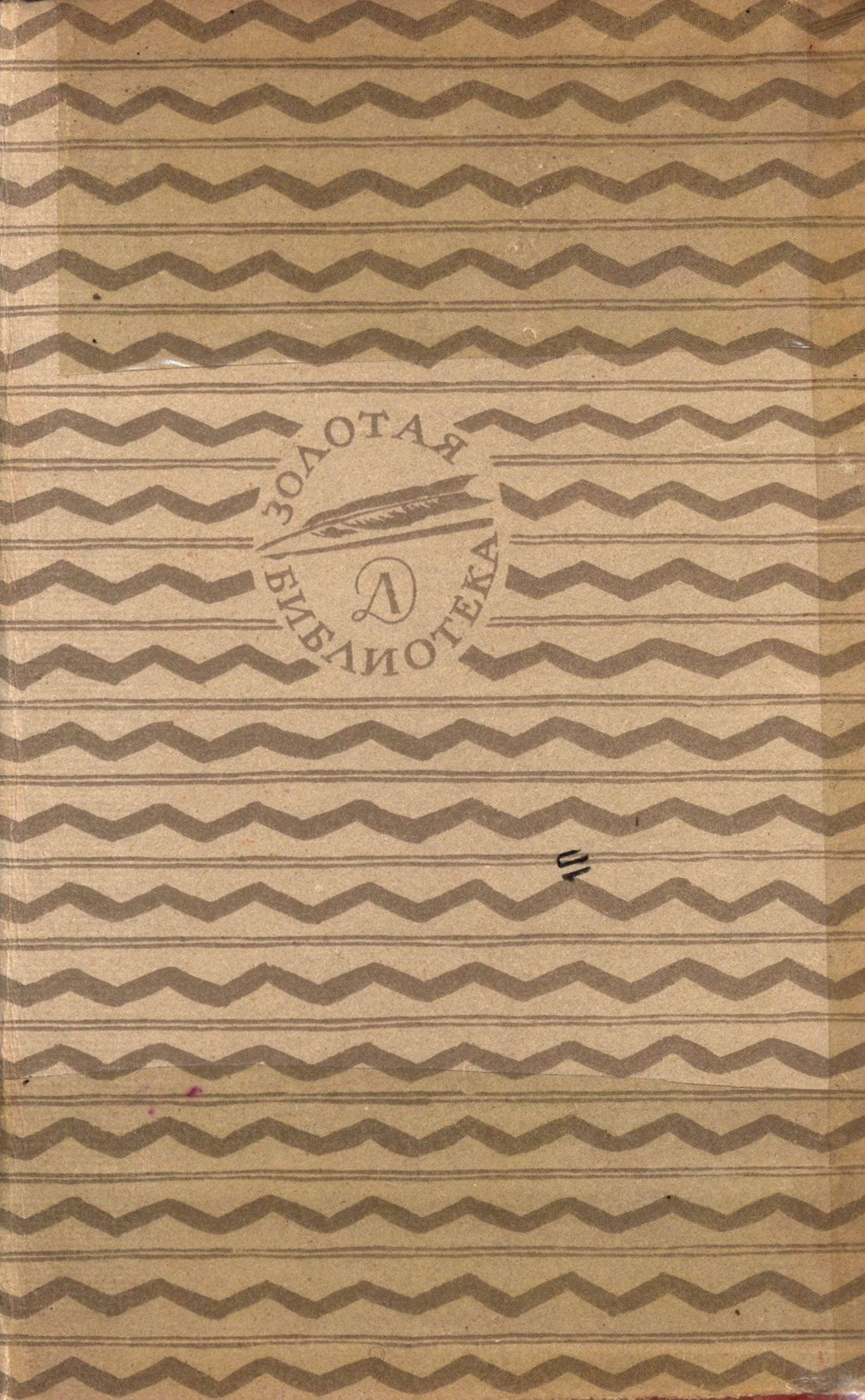
Ордена Трудового Красного Знамени фабрика «Детская книга» № 1 Росглавполиграфпрома Комитета по печати при Совете Министров РСФСР. Москва, Сущевский вал, 49. Заказ № 906.

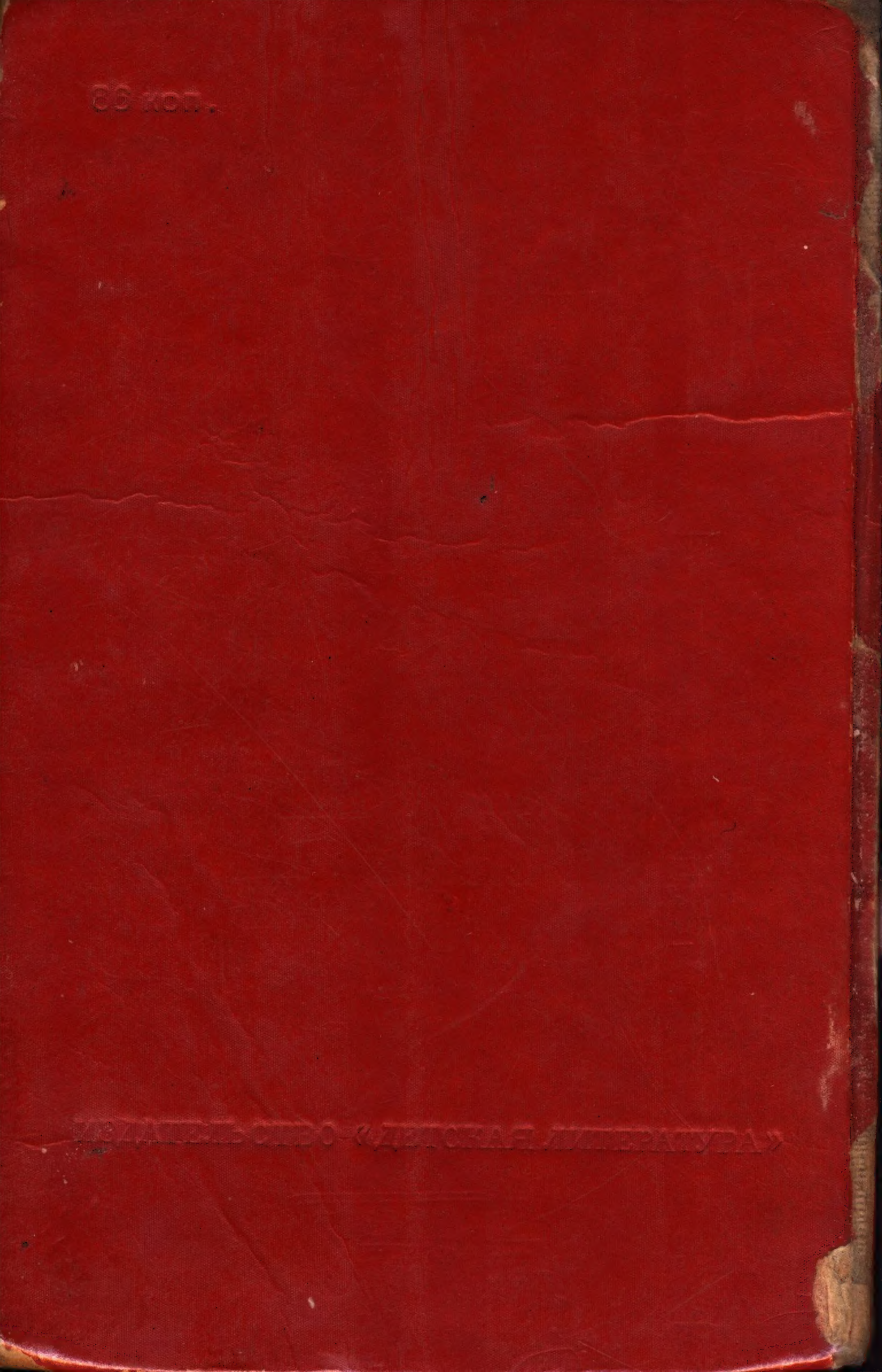
Лацина.
Сизова.

×108¹/₃₂.
П 1970
Знамени
Минист-

Росглав-
Москва,


ЗОЛОТАЯ
Д
БИБЛИОТЕКА


ЗОЛОТАЯ
БИБЛИОТЕКА
Д


85 коп.
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»


ЛЕОНИД СОБОЛЕВ
ЗЕЛЕНЫЙ ЛУ
МОРСКАЯ ДУШ